Станислав Малозёмов

ОТ ДОРОГИ И НАПРАВО

Документальная повесть

Приключения молодого журналиста в вынужденном путешествии по Волге и Оке

    ПРОЛОГ

      Любители и ценители забавных историй, не о своих злоключениях, приключениях и пёстрых похождениях с относительно безобидным концом, сейчас будет вам желаемое. Сядьте пока удобнее возле компьютера, лучше полулёжа, с подушкой под локтем. Мышку держите нежно как ложку и зафиксируйте расстояние 35,4 сантиметра от экрана до глаза, которым будете лениво читать. Так и пальцы целее будут, и история моя в голову вам проскочит без осложнений и отвращения.

      Будет сейчас почти мемуар, так как по возрасту я уже почти обязан его писать. А то когда дуба дам или сыграю в ящик, мировая общественность сурово заклеймит покойного:  – Где, мол, у бывшего писателя положенный мемуар? И это может бросить пыльную тень на всю мою семью, включая неповинных внуков.

                          Глава первая

      Злоключения мои древние. Образца 1977 года. И как раз именно тем они полезны для раздумий, что сейчас-то, всё уже очень совсем по-другому. И если, не дай Бог, с вами или со мной судьба решит станцевать ещё раз такой же краковяк вприсядку, то вряд ли мы потом будем историю эту вспоминать как забавную. А будем плеваться и, возможно, выражаться нецензурно. У кого это хоть и вопреки врожденной интеллигентности, но отлично получается.

      Короче, я оттянул свой срок от звонка до звонка в московской Высшей Комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, куда меня, не спрашивая, воткнул в 1975 году, уже после армии и института, могущественный тесть, секретарь Обкома партии г. Кустаная. Он отправлял свою дочь в Москву, в аспирантуру, а меня, зная мою фонтанирующую в разные стороны сущность, оставить одного в Кустанае не отважился. И снарядил меня в ВКШ, где готовили комсомольских вожаков, лидеров и руководителей горкомов, райкомов и прессы.

      Мне неожиданно принесли домой партбилет члена КПСС, куда я не вступал как положено, с клятвами и допросами комиссии о лояльности к святой партии, но без которого в ВКШ не брали даже по блату. Потом мы торжественно провели прощальный семейный ужин и отбыли с супругой в столицу нашей здоровенной тогда Родины.

      Ехать я не хотел. Потому как в 1949 году с радостью в Кустанае родился и разнообразно жил, неожиданно для всех, включая себя и жену, женился. Здесь я с 7 лет тренировался и часто выигрывал соревнования по легкой атлетике, и уже имел 1 взрослый разряд. В Кустанае я после армии поступил в институт на факультет иностранных языков и параллельно, выбив у ректора свободное посещение, штопором ввинчивался в работу областной газеты, где долго уже работал мой отец. А когда окончил институт, меня сразу приняли в штат редакции на смешную, но зато свою зарплату. Я очень сильно хотел стать журналистом. Писал и заметки о близлежащей действительности, а потом начал много ездить по городам и деревням, узнавать неизвестное и писать. Изучать, в общем, обыкновенную советскую действительность. И вот через год мой высокий скоростной журналистский полет подстрелили безжалостно и точно в сердце. Насильно обратили меня снова в студенты. В ВКШ я по новой наточил зубы и стал без энтузиазма отгрызать кусочки гранита совсем других наук.

      И вот что любопытно: в  Москве мы с женой так же легко и не горюя, совершенно без причин почти сразу разошлись. Получилось даже легче, чем поженились. Наверное, любви и не было, просто дома перед родителями надо было держать фасон и являть собой пример для подражания. Тогда было такое время и полу пуританские нравы в «порядочных» семьях.

      И когда я закончил отношения с женой и ВКШ, то на другой же день утром со спортивной сумкой, в которую влезла вся моя жизнь за последние 2 года, в последний раз вышел за трехметровый кованый забор элитнейшей политической школы. И перед носом сразу согнулся огромный вопросительный знак. Надо было куда-то переместиться, а там жить и работать журналистом.

      Меня направили в казахстанскую «Ленинскую смену», но мне она тогда не нравилась и я решил туда не ехать. Мой друг по ВКШ и до сих пор по жизни Сергей Петрович Рыбаков тогда сказал:

      -А поехали, Стас Борисыч, ко мне в Калинин (теперь снова Тверь). Там оба и приткнемся куда-нито. Батя поможет.

      Отец у него был полковник, обросший уважением за доблесть в заграничных секретных операциях. Потому имел хорошие связи с главными управляющими народом города Калинина. Ну, поехали в Калинин.

      Полковник кому-то позвонил, после чего мы неделю болтались по городу, катались на каруселях и качелях, ходили в какой-то угрюмый музей и липли к гуляющим девчонкам.

      Через неделю выяснилось, что в Калинине журналистов своих не знают куда сунуть, не то, что приезжих. Но зато совсем недалеко, в городе Горьком (сейчас опять – Нижний Новгород) есть замечательная комсомольская газета. Тоже, естественно, «Ленинская смена», а в ней главный редактор нас ждет с целью обнять, приласкать и погрузить в увлекательную репортерскую работу на территории Горьковской области.

      Друг в Горький ехать не захотел. Не любил он этот город. И я двинул туда один. Других вариантов не было.

      Главный редактор принял меня как брата, который откинулся с зоны. Он видел во мне мученика безбожной комсомольской дрессуры и будущую жертву номенклатуры КПСС. Он бегло и строго просмотрел мои публикации в «Комсомольской правде», где я два года был на практике, и сказал чётко, как печать шлёпнул:

      –  Москва, она журналиста не сготовит как надо. А мы тут на земле стоим. Знаем – когда вертеть нос по ветру и художественно отобразить окружающую темень.

        Говорил он это, усиленно напирая на букву «О». Было это крайне необычно и этим завораживало.

      Берем мы тебя. Пока на 80 рублей (это сейчас в переводе на тенге – тысяч 35) Давай мне паспорт. Пусть полежит у меня пока ты сгоняешь в установочную командировку. Пиши бегом заявление. Деньги я тебе даю из своего кармана на недельную поездку по городкам и сёлам вниз по Волге, да вверх по Оке. Напишешь пять-шесть репортажей. Дашь мне. Если всё будет путём, сразу оформляешься официально через отдел кадров. Паспорт вот тут заберешь, в сейфе. И работай тут хоть до пенсии.

      И вот я поехал. Еду, точнее плыву. Нет, неправильно. ИДУ на катере по мелкой волне большой реки Волги по правому берегу до первой своей пристани, где мне надо сойти и пёхом достичь города Чкаловска, посетить музей Чкалова и вынести из него 150 строк репортажа. Если успею, надо забежать на завод шампанских вин, снять пяток фотографий с производства.

      Я до этого ни по Волге, ни по Оке не сплавлялся ни на каком виде водного транспорта. Мало того, я в этих краях сроду никогда не был и две эти могучие реки видел только в киножурналах. А в них никогда не находилось места для городков, деревенек и обыкновенных людей, не героев прошлого или настоящего времени. Естественно, ни порядка тутошнего, ни уклада жизненного в местном провансе я не знал, да и не думал об этом. Мне и в голову прийти не могло, что русские в Москве или Владимире – это далеко не те русские, которые в волжской глубинке или в прибрежных дебрях Оки.

      Катер как-то боком, бурля потише винтом, подкрадывался к пристани. Она была вся сколочена из досок разной толщины и покрашена явно творцом импрессионистских иллюзий. Сама будочка дежурного по пристани была размером со спаренный туалет «М» и «Ж», но с окнами по всему периметру для обзора событий. И крашена будка была бело-синим колором. Под тельняшку. А тётка в будке сама сидела в маловатом для неё тельнике и в руке у неё был желтый мегафон, сквозь который она заунывно напоминала, что сейчас катер причалит.

      Получилось так, что на пристани вышел я один. Перед глазами слева от будки торчали прибитые к перилам рейки, задранные стрелками вверх, потому как берег нависал над пристанью примерно с высоты метров пятнадцати. Пристань с большой землей была скреплена тоже сине-белыми сходнями, лестницами с перилами и наклеенными на перила объявлениями. Я прочитал только одно. Городу Чкаловску требовался почтальон с собственным мотоциклом для развозки посылок по району. Больше про Чкаловск не было ни слова, ни стрелки-указателя.

      Путешествие по сходням вверх – это разговор отдельный и в моё описание не влезет ни по эмоциям, ни по размеру. Наверху не было никого и ничего кроме леса километров в трех, лога глубиной в рост дяди Стёпы-милиционера. Лог был цветаст настоящим разноцветочным благоухающим ковром. В него спускалась протоптанная тропинка, затушевывалась травами на дне и выныривала на поверхность, которую только сам Создатель мог так разрисовать колокольчиками, подсолнухами и похожими на летний снег густыми зарослями ромашки.

      Катер внизу свистнул как маленькая птичка, тетка что-то важное проорала в мегафон и стало тихо. Молчаливо, как на поминках, когда ещё никто не выпил за упокой души. Я огляделся и метрах в ста от себя засек пацана с велосипедом, у которого колёс не было либо натурально, либо они утонули в цветах. Пацан стоял не шевелясь и был похож на гипсовый памятник пацану с волжского берега.

      Я продрался сквозь живой букет колокольчиков и понял, что колеса у велосипеда есть, а пацан не гипсовый, а вполне живой, хоть и неподвижный.

      –  А где тут Чкаловск?  – дернул я за штанину велосипедиста.  – Может, подбросишь на велике?

      Мальчик повернул ко мне только лицо и, окая по-волжски, протяжно и лениво как гудок пароходика пропел:

      –  Чика-лооовск? Так он тута близехо-то, Чи-ка-лооовск! Он туда ты иди, ото ж и доо-йти-то пустяшно дело-о!

      И при этом он перехватил велосипед другой рукой, а свободную протянул, растопырив пальцы, прямо на лес.

      –  Он чего, в лесу стоит, Чкаловск?  – удивился я.

      –  Сам ты в лесу стоишь.  – обиделся пацан.  – Чи-ка-лооовск, он жо он оноо где, позалесо-оом зараз.. Я бы довез на рамке, да жду «ракету». Брат идет рыбу глушить. Не могу, стало-оо быть.

      И я пошел через ромашковое поле на лес, за которым сокрыт городок, родивший неповторимого летчика всех времен и народов.

      Добрел я до Чкаловска часов через семь, ближе к вечеру, поскольку юный велосипедист, видимо, пошутил. Или, может, я ему не понравился просьбой подбросить до города на рамке, а велосипед было жаль перегружать дополнительным туловищем.

      В городке я удачно переночевал в десятикомнатной гостинице всего за 50 копеек, а с утра до обеда с помощью чуть ли ни всего местного начальства, уважающего прессу по партийной установке, сделал всё, зачем приплыл. Надо было ехать дальше. В город Городец. Я специально сейчас ничего не рассказываю о городах и сёлах, куда меня заносила воля редактора молодежной газеты, потому, что это совсем другая тема. Да и рассказам этим размер – хоть и не сильно, но всё же толстенькая книжка.

      Я о приключениях и злоключениях пишу, из которых меня вытаскивали добрые люди.

      Городец стоял на левом волжском берегу. На 27 километров ниже. Я сполз по сходням, сделанным добротно для самоубийц. Делать самоубийце ничего не надо. Просто сойди на первую ступеньку сходней, а там, внизу, примут твой свежий труп. А совершенно безопасны сходни только для очень пьяных, которым и страхи неведомы, и травмы не болят при постоянной спиртовой анестезии.

      Тетка в будке была уже другая, но в том же тельнике, который её не так уродовал, как сменщицу. На левый берег отсюда заворачивала только одна «ракета» на подводных крыльях. Причаливала она сюда на пять минут вечером, в 19.00 московского времени. То есть, торчать возле полосатой будки с орущей временами тёткой мне было отведено расписанием движения плавсредств ещё часов пять. Я сел на нижнюю ступеньку сходней, достал ручку и лист бумаги, пристроил лист на портфель и начал в прямом смысле на коленке писать репортаж из музея Чкалова. К приходу «ракеты» я  его сочинил. Получилось вроде бы нормально. Билет до Городца я купил давно и он пять часов мялся в заднем кармане штанов вместе с деньгами и серьёзной редакционной бумагой, почти приказывающей всем оказывать мне всяческое содействие и везде пропускать. Сверху бумага имела солидный редакционный трафарет с адресом, но без телефонов, а внизу как синяк после отчаянной драки набухла от букв внушительная печать.

      В Городец почему-то население плыло с большой охотой. Человек двадцать с хозяйственными сумками и серыми мешками, чем-то набитыми под самую веревку. А, может, им куда-то ещё дальше надо было – я у них не спрашивал.

      Шли мы по центру Волги. Огромная, отливающая матовым пламенем заката река. Закат расползался по темно-серой плавной волне, под которой физически чувствовалась глубина и безумство течения.

      Я пошел на палубу, облокотился о низкий борт из толстой нержавейки и увлекся рассеченной крыльями водой. Она вылетала из-под крыла свистящим желтоватым пластом и через пять секунд рушилась позади кормы, будто её бросили прямо с неба. Рядом со мной примостилась парочка влюбленных. Девушка беспрерывно смеялась, а парень без перерывов шутил. Из-за шума движения слышны были жалкие огрызки фраз и смеха. Потом девчонка подошла ко мне слева и, надавив грудью на мою руку, закричала, побеждая все другие шумы:  – Ты в Гоороодец, ай куда дальше?

      Я еще не успел ничего мяукнуть, как с другой стороны парень обнял меня за плечо и тоже заорал как глухому:  – Городец ништяк деревня. Пряников там поопрообуй печатных. Таких бооольше во всём мире нет.

      Потом они снова засмеялись, он взял её за талию и они, подпрыгивая в такт «ракете» на волне, пошли на широкие сиденья из полированных реек. Я достоял у борта, ловил ртом брызги и вытирал слёзы от ветра.

      В Городце оказался очень цивильный причал. Ровные доски, красивая голубая краска без белых полос и пристань безо всяких архитектурных излишеств. На досках прочно стоял сборный из дюралюминия павильончик со стеклами, за которыми видно было кассу, буфет и штук пятьдесят стульев, аккуратно обтянутых рыжим дерматином. Я поднялся по удобным сходням на низкий берег, на котором стоял автобус ПАЗик и ждал пассажиров с «ракеты». А она уже отсвистела руладу и задним ходом, ныряя кормой в волну, разворачивалась от пирса в следующий путь.

      И вот как раз с этого места начались мои злоключения, приключения и неожиданности. Хорошие и не очень. Я полез в карман, чтобы заплатить кондуктору, но в кармане не было ничего, кроме разреза сверху донизу. Паренек на катере обнимал меня с пользой для себя и подруги. Видно, такая у них была работа. Сделали они работу красиво. Я остался без копейки и без волшебной бумаги от редакции, которая как ксива депутата Верховного Совета открывала все двери и помогала вершить дела с предельной скоростью, и исполняла любые желания. Очень чтили в то время прессу и в народе, и выше народа.

      Что и как теперь будет без денег, этой бумажки и паспорта – я даже не пытался представить. Потому как жуткая сразу же рисовалась жизнь рабочая и прочая.

      ГЛАВА 2

      Кондуктор, веселая смешная тётка лет пятидесяти, в темно-синей униформе, включающей в себя берет, из-под которого, как перепуганные колдобистой дорогой, торчали в разные стороны рыжие, похожие на пружины кудри. Она подошла ко мне и спросила громко хихикая:

      –  Чё-о, не зорооботал и пятака?

      Я встал, повернулся к ней карманом на глаза, сунул в карман руку и выставил руку в дырку.

      –  Вот. Вырезали недавно на «Ракете». И деньги, и бумагу – удостоверение личности. Незаметно.

      –  А то-о о-они у тебя роо- зрешение забыли поопроосить!  – заржал пискляво мужичок из конца салона.  – У нас тут с этим дело-ом, коорманы да сумки-то подрезать, ух какой поорядоок!! Не заскучаешь шибко-тоо!

      Кондукторша оценила дыру в кармане высоко.

      –  Оот же паразиты паразитские!  – с отвращением хмыкнула она и поправила берет. Рыжие пружинки тут же станцевали энергичный танец.  – Ладно, так ехай. Не проопадет автоопарк наш без твоего-о пятака-то-о. Ехай, ничего.

      –  Спасибо,  – сказал я.  – Мне теперь в Городце и делать-то без бумаги от редакции нечего. Кто со мной возиться будет без документа? На лбу же нет печати от редакции.

      –  А, так ты коорреспоондент?  – изумилась с переднего сиденья блондинистая дама в белой юбке и кедах на босу ногу. Рядом с юбкой стоял детский новенький самокат. Руль у него был обмотан толстой серой промасленной бумагой, стянутой бечёвкой.  – Такой моолооденькоой, а уже коореспоондент. С какой газеты будешь-тоо?

      -С «Ленинской смены»,  – сказал я грустно.  – После учебы первая командировка. Считай, завалил работу. Значит, можно обратно ехать, сдаваться и увольняться.

      –  Ты этоо, погоди увольняться-тоо,  – улыбнулась дама в кедах.  – Как приедем, ты пойди в исполком, он в центре города, не проомоохнешься. Найди там в шестом кабинете О-о-гороодникова. О-он там да полуночи сидит. Скажешь, что-о Марина Сергеевна, художница, просила поодмоогнуть. У тебя дело-ов- то-о на сколько дней?

      –  Да дня на два. Может, за день уложусь,  – мне стало неловко.  – А он кто, Огородников?

      –  О-он?  – художница взяла самокат и пошла к выходу,  – О-он там туз бубно-овый, в испо-олкооме, хоть и не председатель. Ты иди. И привет от меня передай.

      Водитель остановил ПАЗик у самых крайних домов и открыл дверь, хотя его и не просили. Марина, значит, ездит тут всегда.

      –  Я тебя к испоолкоому-то по-одброшу,  – шофер закурил короткую папироску и тихо засвистел какую-то незнакомую мелодию.  – О-они там все чоо-окнутые. Сидят до но-очи. Как сиротки. Вроде и семей у них нету.

      –  А зовут его как? Забыл спросить Марину Сергеевну,  – я оглянулся. Может, кто знает.

      –  Владимир Андреич,  – закончив затяжку, выдохнул водитель.  – Муж моей сестры дво-оюро-одной. Маринка ему сто-ол расписала в кабинете, да стулья. Хоть продавай. Красо-ота такая!

      Он открыл дверь прямо напротив двухэтажного дома, большого, но похожего на игрушечный. Весь он был в вензелях, с резьбой орнаментной, выточками стамеской вокруг окон. И покрашен был строгой тёмно-зеленой матовой краской.

      Я легко нашел Огородникова. Передал привет от Марины, про себя рассказал, про своё приключение. Огородников сказал, что фигня это всё. Деньги, пропали, бумага. Вот когда совесть пропадет и ум какой-никакой, это худо. Договорились завтра с утра везде объехать вместе с ним на его мотоцикле. Тогда за день управимся.

      –  А на работе вас хватятся?  – сказал я глупость, видно, несуразную.

      Огородников пожевал губами, матюгнулся вполсилы. В адрес работы, похоже. Потом показал мне стол свой и стулья с исключительно сказочными рисунками прямо по полировке, чего не могло быть в принципе. Никакая краска не ложится на полировку.

      –  Гениально сделано!  – искренне восхитился я, потому, что в жизни такой декоративной красоты не встречал.  – А что за краска? Как она на полировке улеглась?

      –  Маринка сама краски делает,  – засмеялся Владимир Андреич.  – Оона ими хоть во-оздух по-окрасит, хоть во-оду на Во-олге. Талант у бабы. Я ей говорил, что-об в Москву ехала. Там бы её с руками ото-орвали, миллиоонершей бы стала или каким-нито-о лауреато-ом. Нет же, не хоочет. Дура, в общем.

      Я вспомнил сразу же Москву, содрогнулся внутри от поднятого чувствами ощущения нелепой и чрезмерной людской мешанины и порадовался за Марину, которая туда не поехала. В Москве можно только раствориться как кофе в чашке. А вынырнуть из этого раствора на заметное место, где тебя обнимут, поцелуют и озолотят – очень проблематично. Нереально просто. Если, конечно, не произойдет чуда, которого, как все знают, в жизни для обычного, не наглого человека, не бывает.

      Потом мы с ним попили чай из термоса. Съели по паре бутербродов с пахучей местной колбасой, какую жена завернула ему в хозяйственную толстую бумагу. А потом он повел меня в клуб. Ночевать. До гостиницы далеко. Да и у него тоже денег с собой не было. В клубе сторож Витя, парень хромой и однорукий, взял раскладушку, мне всучил матрац и одеяло с маленькой подушкой. И отвел меня в биллиардную. Я разложил раскладушку между столами, кинул матрац, упал на него с высоты роста и каким день будет завтра просто не успел подумать. По-моему, уснул я ещё в полёте на раскладушку, так и не укрывшись одеялом. День прошел.

      С утра я голодным себя не чувствовал. До девяти часов оставалось ещё море времени. Надо был глянуть – что за городец – этот самый Городец. Получилось так что я сразу наугад двинул в старый город, где половина домов – или музеи какие-то, или сами – экспонаты древности. Я много не буду рассказывать про Городец. Потому, что получится отдельная не очень худенькая книжка. Это уже в следующий раз. Может, и напишу. Но если коротко, то таких милых, уютных и похожих на добротную декорацию для красивого мультика городков и деревенек я никогда не видел ни до, ни после. Город этот старинный, можно сказать – антикварный. Он практически ровесник Москвы. В 1152 году его основал сам Юрий Долгорукий. Потом его и палили, и разваливали разные монголоидные орды вроде воинов Батыя, и волжские булгары, и свои родимые, но завистливые русаки. Но Городец отстраивали таким же, каким он был до разорения, мастеровые мужики, которые умели всё. Как получилось, что в одно место на Волге судьба- индейка собрала, сгрудила и повязала общей любовью к Городцу великое множество талантливых мастеров – не могут объяснить и сейчас. А тогда об этом и не думал никто. Говорили практично, без щансов на возражения:  – Такова воля Божья.

      Скорее всего, так оно и было. Потом по дороге из Золотой орды в Городец привезли почти умирающего великого Александра Невского. Вскоре он совершил здесь все положенные церковные обряды и помер. А править городецким княжеством стал один из сыновей Невского – Андрей. Андрей Городецкий. Правил он долго, до самой смерти, и успел много хорошего сделать. Он и превратил простой забубенный городищко, каким по Руси и счёту нет, в единственный в своем роде Город Мастеров. Здесь родился и жил учитель и наставник самого Андрея Рублёва, иконописец старец Прохор. Это мне вчера, пока ели колбасу, Андреич быстренько рассказал.

      Потом Городец снова сожгли и он пропал из русской истории надолго. До тех пор, пока сам Иван Грозный не разделил Русь на опричнину и земщину. В земщину вошел и Городец. То есть он стал не целиком подневольным и некая свобода снова собрала в нём лучших из лучших мастеровых людей со всей Руси.

      А с конца XVIII века Городец счтался центром деревянного судостроения, хлебной торговли, выпечки печатных пряников, он был главным местом сбыта кустарных изделий из дерева – так называемого «щепного товара» Деревянной посуды, игрушек прялок, блочных резных узоров для подкрышников, окон и ставен, ворот и конька крыш. И постепенно одел в них все поволжские и приокские города и деревни, а потом и чуть ли не всю Россию. В общем – заметным на русской земле и цивильным стал многострадальный Городец. И таким же он был тогда, в 1977 году, когда моя раскидистая как береза жизнь мотала меня свежими ветрами великих рек по заповедным краям Руси.

      Я с горем пополам, с вопросами к ранним прохожим, пробился по узеньким улочкам мимо раскрашенных в разные веселые цвета домов и домишек к исполкому. Возле него стояло три грузовых машины, «волга» и  мотоцикл Владимира Андреича. Он, похоже, увидел меня из окна и тут же вышел с такой же коротенькой папироской в зубах, какую я уже видел у шофера автобуса.

      –  А что это за папиросы?  – спросил я, не поздоровавшись.– Странные. Не видел таких.

      –  Так «Север» же!– Андреич пожал мне руку.  – У нас все поочти его курят. Бело-омор хуже. Соолоомой отдаёт. А эти целиком из хо-орошего дуката, без примесей.

      Поехали. За два часа мы съездили на завод печатных пряников, похожих издали на книжки одного цвета. Собрался в цехе весь коллектив. Корреспонденты местные, видно, любили и завод, и пряники. Мне дали съесть один с тисненным поверху рисунком. На картине пряничной была церквушка небольшая в орнаменте из витых лент с надписями. Рисунок был рифленый и напоминал барельеф. Не читая надписи, я лихо сметал пряник, хотя размером он был с мой институтский диплом, но раз в пять толще. Глядя на мою довольную рожу, пряничных дел мастера дружно и громко засмеялись. И дали здоровенный стакан малинового компота. Запить пряник.

      –  Ну, как продукт?  – весело спросил Андреич, когда прянику пришел конец.

      Когда я промычал, дожевывая, что-то восторженное и поднял сразу два больших пальца вверх, все снова радостно заулыбались.

      –  Вся Россия ест наши пряники,  – похвастался директор заводика.  – Туляки ещё лепят да пекут. Но…

      Он сделал комичную гримасу, выражающую чуть ли не сарказм.

      –  Ну, правильно,  – подумал я цитатой из Ильфа и Петрова, и глотнул остаток компота.  – Разве «Нимфа» кисть даёт, туды её в качель.

      –  Пойдем, покажу как мы их печем-печатаем, да разные росписи по пряникам посмотришь. Заодно и технологию расскажу.

      За два часа я всё отснял, всё, что надо записал в блокнот, после чего мне пряниками забили весь портфель и дали ещё бумажную сумочку с веревочками. Внутри лежал толстый как «Война и мир» экземпляр, который я должен был поставить на видное место дома как скульптуру. Потом его можно было съесть хоть через год. Городецкие пряники не сохнут вообще.

      Не описываю нежное дружеское расставание с коллективом. Места мало.

      Потом по графику мы поехали на фабрику прялок. Надо было снять как можно больше красивых росписей по основанию прялки и записать беседу с главным инженером, который сам придумал лет двадцать назад какую-то хитрую и мощную технологию их изготовления без гвоздей и клея. На клиньях. Служить такая прялка должна была минимум пяти поколениям. Этим всем я насладился по уши за полтора часа. Роспись была не похожа ни на какую из известных мне до этого. Она имела золотисто-красно-желто- черный рисунок, напоминавший разные орнаменты на коврах. Одинаковых рисунков я не нашел даже двух.

      –  На выставке в Нижнем мы берем только первые места. Каждый год, -

      тихо сказала сзади Марина, знакомая из автобуса.

      Я всё-таки силился вспомнить, на что похожа роспись. На Палех, на Хохлому, на Жостово? И понял, что нет. Это была уникальная и неповторимая игра цвета, орнаментов, крепкая и логичная дружба красок и лакированного дерева.

      –  Надо поо-обедать,  – Владимир Андреич глянул на часы.  – Пельмени будешь? Нигде бо-ольше нет таких пельменей.

      Пряниками аппетит я перешиб как кувалдой напополам, но мысль о том, что в следующий раз поем нескоро, а то и вообще обойдусь без ужина волей непредсказуемой судьбы залётного чужака. Поэтому с оптимизмом согласился, хотя есть за чужой счёт было неловко и совестно. Андреич как вроде вычитал из моей головы эти мысли и сказал, что, во-первых, я гость, а во–вторых, в следующий свой приезд пельмени – с меня.

      Пельменная была в старом городе. По бокам от меня просвистели мимо кукольные дома, желтые и ярко-красные крохотные палисаднички с космеей и мальвой, серебристые колонки, подающие воду, и такие же разноцветные люди, которые одевались так пёстро, будто жили в Сочи или Анапе. Мне подумалось, что их провоцирует на такое буйство красочных одежд близость хоть и не морской, но большой воды. Пельмени были огромные. В порции – пятнадцать штук. Они были желтоватые от замеса на большом количестве яиц, тугие, как теннисный мяч и усиленно пахли мясом сквозь тесто.

      –  Это они только здесь такие огромные?  – спросил я робко.  – У нас манты такого размера. Это не манты, нет?

      –  Манты?  – переспросил Андреич, откусывая от пельменя.  – Ты не русский, что ли?

      Я минут пять рассказывал ему, что русский, но из Казахстана, сказал где учился, что устраиваюсь в нижегородскую газету.

      –  Ты ешь, а то остынут,  – посоветовал Андреич.  – Казахстан – хорошее место. Там, говорят, яблоки растут с голову размером. Манты едят, беспармак, что ли, конину. Как вы её едите – конину?

      Пока в процессе уничтожения гигантских пельменей я ему втолковал, что таких яблок больше нет, извели, повырубали яблони «апорт», что манты варят на пару и внутри кроме мяса – тыква и курдюк, что конина – замечательный дорогой деликатес, пельмени незаметно скончались. Мы запили их чаем и поехали дальше, в последнюю точку, нужную мне – на судоверфь.

      Но там нам не очень повезло. Добрались до затона, где судоремонтный завод. А дальше него, и выше и ниже было много разных отдельных предприятий. Андреич о чем-то долго говорил в проходной по внутреннему, размахивая при этом рукой и напрягая голос. Потом он пришел обратно к мотоциклу, закурил и добротно матюгнулся.

      –  Ну, короче, дальше не пускают. Дают посмотреть, как делают паромы, речные трамвайчики и баржи-сухогрузы. Всё, что из дерева и металла. А самое интересное у них вон там.

      Он протянул руку вперед, да так торжественно, как Владимир Ильич на памятниках показывает в сторону светлого будущего.

      –  Там рабоотают на во-оенных. Делают до-оки из железообетона, причалы для ко-ораблей и подво-одных лоодок. Вот, жмоооты, мля…

      –  Да мне хватит про паромы, да речные трамвайчики. Про военные тайны в редакции не упоминали. Ну, в смысле, чтобы я их раскрыл,  – легко успокоил я Андреича. И мы пощли на верфь. Через час репортажный материал, образно говоря, аж из сумки вываливался. Много было материала. Больше всего мне понравилось как строят паромы большие и крохотные, для малых переправ.

      Я сделал всё, что планировал ухватить в Городце и вяло доложил Андреичу:  – Теперь мне надо в обратный путь, в город Павлово-на-Оке.

      –  Это-о далеко-о,  – сказал он, доставая свою смешную папироску.  – Это теперь ты только вечером поздно туда дойдешь. Хотя «ракета», конечно, не трамвайчик речной. Ладноо, забежим на пять минут в музей самоваров и поехали на пристань.

      Музей, красивейшее здание из дерева, да всё в деревянной резьбе, да раскрашенное какой-то неожиданной бирюзово-голубой краской, оно само-собой уже просилось в анналы шедевров зодчества, но когда мы вошли внутрь, я натурально обомлел и минуту стоял с открытым ртом и, по-моему, даже не моргал. Вокруг нас на витринах пузато и гордо, в ряд по одному красовались самые разные самовары. Там были экземпляры старые и современные, маленькие и огромные, медные простые, красно-медные, никелированные, а ещё сделанные из заменителя серебра, отполированные до блеска золота самовары из тонкой, почти желтой меди. Всё это великолепие сделано было в разное время разными городецкими умельцами не для музея или выставок, а на каждый день. Я бы, конечно, проторчал у самоваров ещё пару часиков, но надо было торопиться в Павлово-на-Оке. И мы, оглядываясь, вышли из музея и синхронно вздохнули:  – Вот дан же людям Божий дар руками творить такую красоту!

      Опять вернулись на пристань.

      Там он купил мне билет до Павлово, но времени оставалось ещё сорок минут и он предложил подняться на берег, посмотреть издали на хозяйственную окраину, где разверстались на большом куске земли всякие мастерские, фабрики и заводики. Там делали всё. От художественной резьбы по дереву, игрушек и запчастей к судам и машинам до вкусного Городецкого хлеба.

      Он показывал пальцем на какое-нибудь здание, хотя я и не мог бы угадать – на какое. Далеко было. Но он рассказывал про эту фабрику, мастерскую, заводик или цех так самозабвенно и азартно, что прерывать его и переспрашивать не было подходящего момента.

      Когда он закончил торжественную свою речь и вытер пот со лба, махнул рукой: всего, мол, не расскажешь. И мы стали спускаться на пристань, от которой как раз отчаливала моя «ракета».

      -Воот этоо бо-олезнь моя, большоой моой недо-остаток – много трепать языком…

      Андреич пошел в павильон и быстро поменял билет на следующую «ракету».

      Ему нигде и никто в Городце ни в чем никогда не отказывал. Так мне говорила Марина, художница.

      –  А Вы в исполкоме кем служите?  – спросил я, чтобы хоть что-то спросить. Больно уж расстроенный вид был у моего помощника.

      –  Я-тоо? Я то-о там заместитель председателя. Рабо-оты – в-оо!  – Он провел ребром ладони поперек горла.

      Мне стало так неловко, даже нехорошо. Зампред горисполкома мотается со мной, пацаном, весь день. Кормит, ухаживает как за большой шишкой. Билет вон купил. Не за рубль, понятное дело. Муторно стало на душе и стыдно.

      –  Ты, Стасик, во-от чего… – тихо проговорил Андреич, устал, видно.  – Ты когда в Павло-овоо придёшь – сразу езжай на четвертоом автообусе доо остановки «третья больница». Там сразу налево улица Гагарина. Найдешь тридцать четвертый доом, седьмую в нём квартиру. Тебя там будет ждать Яша. Моой друг по институту. У него и по-оживешь пока работать будешь.

      –  А как же? У меня ведь… Неудобно на халяву везде,  – я отвернулся и от неловкости ситуации закашлялся.

      –  А я бы к тебе приехал – ты бы меня поопроосил на во-окзале пожить?  – захохотал Андреич.  – Вон, иди. Твоя пришла посудина. Мы обнялись и я пошел к «ракете», закинув на спину тяжеленный портфель со сладкими завтраками, обедами, и ужинами.

      Через пять минут берег стал терять четкие очертания и вода из серо-голубой стала почти черной. К ночи меня поджидал знаменитый город Павлово-на-Оке и один только человек, Яша, которого я не знал. Приключение стало реально разворачиваться ко мне лицом и уже готовилось обнять и понести – куда нас обоих понесет неведомая власть солнца, ветра и огромной реки.

      Глава третья

      Ну, оно сразу же и понесло. Правда, похоже было на то, что в очередное приключение меня окунуло моё врожденное раздолбайство и, конечно, высокоскоростной Владимир Андреич. Иначе я не забыл бы, что плыть мне сейчас как раз никуда и не надо. А надо было достать в портфеле из-под неувядающих пряников бумажку, на которой был по-военному внятно и поэтапно расписан мой путь и темы репортажей. Когда я отщипнул приличный кусок от пряника и уже размахнулся, чтобы закинуть его внутрь себя, я вспомнил, что бумажка-расписание лежит, придавленная кондитерским шедевром. Я выгреб её со дна портфеля, мятую, как невеста после первой брачной ночи. Прочитав заново редакционный приказ, я в прямом смысле слова схватился за голову. Пряник затрещал, распался на детали и сильно засорил палубу. Я подошвой удалил развалины пряника в великую реку Волгу и внутренне взвыл.

      Потому как из Городца мне было рядом почти, раз плюнуть – съездить хоть на попутке в село Сёмино, потом чуть-чуть подальше – в город Семенов. Проще говоря – в Хохлому. Сама деревня Хохлома, от которой и пошел бренд хохломской мне не нужна была. Там ложки делали и расписывали пару веков назад. А потом Хохлома стала просто местом продаж. А делалось всё, от баклушей до росписи великой, признанной всем миром неповторимой, шедевральной и уникальной, в маленьком селе Сёмино, да ещё в городе Семенове, тоже маленьком. В котором, кстати, был ещё и музей творений великих хохломских мастеров-деревянщиков и художников.

      А я плыл, нет, не плыл, а если правильно говорить, «шел» уже километров пять, удаляясь от Городца и от шанса исполнить честно редакционный приказ.

      Я забил пряники обратно, придавил портфель к рейкам кресла и пошел искать капитана «ракеты». Он сидел в маленьком камбузе и ел яичницу с котлетой. Моё появление на аппетите не отразилось. Он дожевал всё до последней крошки, вытер руки и рот белой салфеткой и только очистившись от следов скромного ужина спросил лаконично : -А?

      Через десять минут моей страстной речи, в течение которой я стучал себя по лбу, легко бил стенку камбуза головой и изображал мимикой трагедию перелома жизни напополам, капитан выпил из скорлупы ещё два сырых яйца и сказал:  –  Любоой дурак имеет право-о на оошибку. Я воон по-озавчера забыл причалить на оодноой бо-ольшой пристани. На скооро-ости мимо-о проошел. По-отому, чтоо за обедо-ом выпил пооллитру и уснул. А выпил из-за Варвары, жены. О-она мне перед рейсоом закатила истерику. Вро-оде как я в про-ошлую суббооту но-очевал у Ирки, ты её не знаешь. Я ей то-олкую, чтоо в рейсе был внепланово-ом. А она гооворит, что у шалавы я неплано-овоой был, все знают. И чемоодан мне мо-ой выдаёт с трусами и но-осками, да тремя рубашками. Воон о-он, чемодан.

      Я посмотрел в угол. Там красивый стоял чемодан. Из кожи.

      –  Воот этоо про-облема. Ирка же говорила, чтооб по-ока не светает ухоодил, так я ж должен был чаю поопить, по-обриться. Дуроопляс. Кто-о-тоо и срисо-овал меня. А у тебя разве прооблема? По-оно-с детский. По-ощли наверх.

      Поднялись на палубу. Я взял портфель, достал из него целый пряник и дал капитану.

      –  На фабрике рабо-отаешь?

      –  Не, не работаю!  – крикнул я, чтоб забить словами встречный ветер,  – Корреспондентом работаю, я ж только что рассказывал. Угостили.

      –  А, ну да!  – капитан отвернулся и крикнул рулевому:  – Эй! Про-ожектоор налево-о десять градусоов сделай.

      Голубовато-желтый пронзительный луч, мощный как солнечный причесал волны слева направо, вперед по ходу «ракеты». Слева по борту навстречу нам, километра за два шла моторная лодка, гордо задрав нос, как девушка, обновляющая импортный батик.

      –  Мо-оргни ему «стооп машина, причаль к боорту», и свистни трелью. Сам тоже тормо-ози.

      Лодка опустила нос на волну и медленно пришвартовалась к «ракете».

      –  Эй, Во-ова, здооров был!  – заорал капитан и помахал фуражкой.

      –  Здооро-овей видали!  – заорал с лодки Вова и три раза мигнул фарой.– Чегоо из графика вышибаешь?

      –  Воот у меня пацан тут. Сво-ой. В Гооро-одце забыл паспоорт в го-остинице забрать. Сделай добро-о. Подкинь парнишку доо Го-ороодца.

      –  А нехай прыгает!  – Вова что-то подвинул в сторону на заднем сиденье.– Давай. Первый – по-ошел! Десантируйся.

      Я напряг все свои спортивные данные и с портфелем наперевес переполз в скользкую лодку со скользкой «ракеты». Сел на заднее сиденье и понял, что Вова убирал. Двустволку. А на дне лодки лежала рация пехотная, резиновый костюм и полный набор профессионального ныряльщика плюс подводное охотничье ружьё.

      –  Вы тут спасателем работаете?  – крикнул я.

      Вова два раза кивнул лысой головой, но разговаривать не стал.

      Только перед Городцом он сбавил ход и пошел к берегу, потом выключил огромный двигатель, тянувший корму вниз как якорь.

      –  Тут слезай,  – скомандовал загадочный Вова.  – Я мимо-о пристани доолжен на скоро-ости проойти. До Го-ороодца тут кило-ометр. Иди по хооду. Упрешься в пристань. Давай. Гуд бай. То-олкни меня назад.

      Я оттолкнул лодку, мотор страшно зарычал, фара зажглась и пробила дырку во тьме метров на триста. После чего Вова исчез буквально за минуту. В абсолютной темноте можно было двигаться только по кромке берега, чувствуя сквозь туфли воду. Через час тихого осторожного хода я уткнулся в пристань. Подниматься на неё было незачем, в Городец идти некуда. Я пошел от берега к откосу, нашел кусок земли с травой, бросил портфель, достал пряник, поужинал сидя. Потом лег головой на портфель, посмотрел минут десять на ослепительные звезды и потерялся в мире волн, звёзд, шелеста каких-то листьев над головой, шепота легкого ночного бриза. Потерялся до утра, уснув тяжким сном великомученика.

      В июле рассвет выпрыгивает с Востока мгновенно и рано. В половине пятого утра въедливый как комар луч поднял меня, довел до воды и окунул в Волгу лицом. Стало ясно, что я проснулся и во время сна вполне созрел для новых славных дел. Мимо городка я пронесся чуть ли не аллюром «три креста» и  от скорости захотел есть. Сунул руку в портфель и отломил от пряника. Весь целиком брать удержался, поскольку не знал ближайшего своего будущего и не чуял подсознательно очередной дармовой кормежки. Ел медленно, проникая рецепторами в потрясающий вкус пряника. Чувствовались и ваниль, и мёд, и корица с шафраном, ещё какие-то неразгаданные наполнители. Всё это делало пряник самостоятельным блюдом. Для меня так сразу и первым, и вторым, и десертом. Дорога, по которой я шел мимо Городца, была классически русской. Ямы перемежались с буграми, колдобины – с островками глубоких впадин, доверху наполненных желтой пылью. Дождя, видно, не было с месяц. Сзади меня вдруг прорезался скрип с подвыванием, шаги тяжелые и два голоса – мужской и женский. Я сошел с дороги и остановился.

      Ко мне приближалась большая толстая лошадь с мохнатыми ногами и никогда не стриженной гривой. Лошадь была серой и практически сливалась цветом с дорогой. Она тащила огромную телегу, заваленную в два человеческих роста бочкообразными мотками разных тканей. Перед тканями, свесив ноги в разные стороны телеги, спинами друг к другу сидели работники. Маленький мужик в серой соломенной шляпе и зеленой рубахе, ну и дама в брезентовых штанах да в ярко-розовой кофте.

      Лошадь прошла мимо меня как мимо призрака, не скосив и глаза, а с моей стороны телеги болтались ноги мужичка. Ноги были обуты в кеды, надетые на шерстяные носки.

      –  Тпру!  – приказал мужик лошади, которая тормознулась как вкопанная, разметав пыль из под копыт в свежий воздух, на возниц и, ясное дело, на меня.

      –  Эй, мо-олоодо-ой!– как бы поздоровался мужичок и опустил вожжи.  – Ты кудоой-то-о так налегке? В гости к кому, ай как?

      -В Сёмино мне,  – я закинул за спину портфель.  – Корреспондент я из Горького, из газеты.

      –  Нету такоогоо города,– встряла в разговор дама в розовом.  – Нижний Но-овгороод есть. А что-о о-он теперь Гоорький – так то-о бесы придумали. Нельзя гороода по-друго-ому переназывать. Оодна беда от это-ого. Даже лоодки нельзя. Назвал её – «Ласто-очка»  – значит «Ласто-очка», поока не рассыплется оот старо-ости. А закрасишь и напишешь там – ЛЮБИМАЯ ЛЮДКА, так и врежешься скоро-о или в друго-огоо дурака, или, не дай Бо-ог – в баржу насмерть. Нельзя с именами шалить. Имя вроде ты придумываешь. А егоо-то-о сам Боог даёт – по-одсказывает. Боога гневить – гадк-о-ое дело-о..

      –  Да ты садись, мо-олоодой!  – крикнул тихо мужик и подвинулся.  – Тут ещё не одна верста. Доедем, чай. А, Леший?!

      Конь услышал своё имя и загрёб копытом ведро пыли. Мужик легко стегнул Лешего вожжей, натянул слегка и мы поехали.

      -Тоолько-о мы мимоо Сёмина про-ойдем. А о-оноо от до-орооги с версту, не дальше. Там уж пёхом.

      Всю дорогу мужичок вправлял, я так понял, жене, мозги.

      –  Ты, дура,– говорил он почти ласково,  – ты пойми. Нету у американцев никакоой сво-ободы. Жратвы у них много-о любоой. Нам до них тут далекоо. О-одёжки всякой – завались, хооть по тро-ое штаноов сразу надевай. Но это ж не свообоода! А свообоода – это коогда кругоом тебе вооля-во-ольная и никоому не до-олжен ничегоо.А о-они все, я слышал, в долг живут. Где тут свообоода от банкиро-ов? А негры!! У-у! Оони ж их пооедо-ом едят,черно-омазых.Трамваи воон о-отдельноо для белых, а по-охуже – для черных…Свообоода, ядрён пим..

      Жена оскорблено сопела и только временами вставляла невпопад:– « Ну, прямоо-так.. Тьфу! Ну, скажешь, как в лужу…»

      Так и доехали. Показалось из-за бугра село. Длиной в пару километров. Слева в селе дома были белёные и похожие на кубики. Справа стояло четыре длинных барака, тоже белые, но низкие и чуть ли не через каждый метр в каждом вставлено было большое окно.

      -Сёмино-о этоо и есть,  – показала пальцем женщина.  – Раз ты коорреспо-ондент, тоо тебе прямико-ом в цеха надо. Вот в эти длинные.

      Мы попрощались. С мужиком поручкались, а жена его меня приобняла и перекрестила:  – Ну, дай тебе Го-осподь делоо сделать поо-людски.

      И лошадь пошла дальше, увозя куда-то запыленные, неизвестного уже цвета тюки с кримпленом и трикотином, и моих незнакомых (потому, что так и не познакомились), попутчиков. А через полчаса я уже подходил к крайнему справа бараку-цеху.

      Остолбенел я ещё на пороге, не успев шагнуть в «светлицу». Не знаю точно как должна выглядеть светлица, но, наверное, именно так. Светом, белым и нежным, было залито всё. Он не лез, как лучи, в глаза, а плавал по огромной, квадратов в 100 комнате, ласково облизывая всё и всех. Плыл свет и из окон, и от огромного количества люминесцентных ламп. И всё было устроено так, что ничто ни на что не роняло даже намёка на тень. Теней не было вообще, а я такого никогда не видел. Даже не представлял, что такое вообще возможно. Потому и застыл колом в низких дверях. При росте почти 180 сантиметров пришлось изобразить гусиную шею, что насмешило всех, кто сидел в комнате за своими столиками и станочками.

      Встала из-за столика, отложив в сторону почти расписанный поднос, и подошла ко мне красивая девушка с белой от света кожей и блестящим русым волосом.

      –  Я старшая смены. Зо-овут меня Алла. А Вы ктоо будете?

      После всех моих объяснений она улыбнулась и сказала, что всё покажет и расскажет, и фотографировать разрешает всё, что захочу. Я походил между художницами, разглядывая орнаменты и поражаясь тому, как можно без помарок вести длинные, тончайшие разноцветные фигурные линии. Как можно укладывать обычными беличьими и колонковыми кистями гладкие, сочные, равномерно залитые одним цветом фоны. Мне, честно говоря, как-то даже не верилось, что я тут присутствую при рождении настоящей хохломской росписи, которую потом как шедевр национального русского творчества расхватают, развезут по разным странам, да и по своей, родимой и неохватной Родине. Видно было, что чужие здесь не ходят. Или настолько редко, что к посторонним тут не привыкли вообще. В комнате работали только женщины. От 18 до 60 с хвостом.

      –  У меня только два вопроса,  – сказал я Алле через час прогулки по цеху. -Почему мужиков нет с кисточками? И почему художница не ставит свою подпись в уголке шикарной сюжетной картинки или классической, привычной нам росписи? Ведь это же адский труд. И сверхталантливый результат.

      Оказалось, что на заказных, сложнейших по теме и исполнению работах, мастерица свою подпись всё же оставляет. Остальное – рутина, конвейер.

      Ничего особенного. Чего подписываться под стандартной, хоть и сногсшибательной росписью? А мужчины попросту не высижывают этот труд. Физически. Монотонную, долгую и кропотливую тонкую работу в состоянии перенести только прекрасный пол.

      Я сделал кучу снимков, поговорил со всеми, кто не отказался, обошел все цеха, после чего получил отчетливое ощущение, будто слетал в космос. С этим смутным чувством я, обалдевший окончательно, вывалился на улицу и закурил. Слева от меня разлеглась сама деревня Сёмино. В меру бедная, в меру аккуратная, в деревьях и цветах даже вдоль дороги. Вышла старшая по смене, села рядом.

      –  Мужчины у нас самую трудную рабо-оту делают,  – чуть-ли не извиняясь мягко произнесла она.  – Мужики баклуши бьют. То есть, заготовки вытесывают. Мы бы не смоогли. О-они же и оосновной лес пилят, сушку делают, о-окончательное проокаливание гоо-отовых вещей, чтообы краска и лак лучше взялись.. Так что, вы не по-одумайте чегоо пло-охого про наших.. Мы без них что? Задницу о-отсиживаем, да руки от судооро-ог разминаем…

      Да Вам, ко-онечноо, в Семёнове всё уже рассказали. Там оодни экскурсо-оводы п-оо музею хо-охлоомы – как то-олстые книжки по истоории и специализации. Хоохлоомская ро-оспись в мире оодна. А началась с самой деревеньки Хоохлоомы, по-отом там базар сделали, наши вещи продавали, а цех оттуда переехал в Сёмино-о к нам. Вдо-обавоок. Хотя многим внушили уже, что центр и колыбель хоохлоомы – это горо-од Семёноов… А Семёноов-то-о поозже нас начал хоохлоому делать.

      –  А я не был ещё в Семёнове.

      Тут Алла посмотрела на меня хитро и недоверчиво.

      –  Ну да? Все ведь с него-о начинают, а там, если повезет, к нам забегают на пять минут.

      –  А я вот про вас больше слышал. И что ваши мастера покрепче будут, чем семеновские. Потому с вас и начал. Но в Семеново надо забежать. Музей снять надо, в редакции сказали.

      –  Ой!  – вспомнила Алла.– Через поолчаса туда же наш авто-обус пойдет с баклушами. Сами-тоо о-они не бьют. Поойдемте в третий цех, я там вас на дооро-ожку моолоочко-ом напо-ою с булоочками сво-оими. Доома девки пекут, да с мо-олоком их! А чё! Моолоока-то нам дают – хооть плавай в нём. За вредно-о-сть. Краскоой же дышим да лакоом. Пло-охоо. Н-оо жизнь не пооменяешь тут. Работа о-одна. Хо-охлоому писать…

      И мы пошли пить молоко с деревенскими булочками. Одолел три больших кружки и три больших ванильных булочки. Даже в сон потянуло. А тут подоспел и автобус. И я, прыгая в резонанс с ПАЗиком по колдобинам и отрываясь от сиденья, поехал в Семёновский музей…

      Там не было как раз никаких экскурсий. Директор музея Валерий Игнатьевич сам лично водил меня часа полтора вдоль и поперек стендов. Советовал с какого ракурса лучше будет выглядеть на фото огромная шкатулка, рядом с которой в ряд стояли ещё пять. Все они как матрёшки каким-то образом помещались в основную. Я снял две пленки самых интересных экспонатов, записал всё в блокнот, потом мы с директором походили вокруг музея. Он рассказал о том, когда и кто его построил, что собираются они поставить вокруг музея. Ну, кафе всякие, маленький кинозал, где туристам будут крутить документальное кино про чудо Хохломы. Вот здесь будет магазин, где на выбор можно взять хоть выставочный поднос, хоть набор ложек или деревянных тарелок-суповниц шесть штук. В самую большую складываются остальные пять. В цеха пройти он мне не предложил, да я и не напоминал о них. Материала было больше, чем надо в газету.

      Мы попрощались и я пошел к дороге, а он к себе в кабинет.

      –  Эй, корреспондент!– крикнул кто-то невидимый из деревянного сарая с огромными дверьми. Рядом с сараем стоял ПАЗик, на котором я приехал в Семеново.  – Если ты обратно, то я сейчас тоже поеду. Пять минут посиди на травке. Я сел, открыл портфель, достал и полистал блокнот, съел немного пряника. Глаза слипались. А спал вроде неплохо. Наверное, устал слегка. А, может, и не выспался. Рассвет уж очень рано поднял на ноги. Тут подошел шофер автобуса. Мы наконец с ним познакомились. Его звали дядя Ваня Куренцов.

      –  Тебя в Сёмино обратно закинуть?  – без волжского оканья спросил дядя Ваня.

      –  Мне сейчас в Городец надо.  – Я закурил и стал крутить пальцами зажигалку.  – На пристань. Оттуда в Павлово-на-Оке.

      Дядя Ваня сел рядом и стал разглядывать окружающие дома. Он то цокал языком, то шепотом матерился, потом вообще плюнул себе под ноги и встал, потянулся, поправил кепку и заткнул поглубже в брюки рубаху.

      –  Изуродовали, мля, город с этими туристами. Современный дух, мля, сюда примеряют. Как-то он у них там… А! Мля! Модерн. Вот тут, на месте пятиэтажек панельных, да тех вон, мать иху, дурацких ёлок, которые в три ряда по пять метров друг от друга как, мля, с чертежа перенесённые, тут дома стояли из дерева. Как у нас под Новосибирском. Лет 200 точно было домам. И ещё бы, мать-перемать, четыреста простояли. Все дома с узорами были, с выточками. Крыши из черепицы глиняной. Палисадники, мля, с мальвой. Вот здесь колодец был рукояточный с цепью. Выкопали, говорят, в 18 веке аж. Вода там была как в роднике. Твою мать! Не поверишь – ветром пахла. А вокруг росли всё липы да березы. На хрена спилили?! Высоченные, пышные, с запахом солнца и земли этой. Тьфу! Мать иху! Споганили природу. Город делают. На все города похожий, мля… Ладно, поехали.

      Ну, поехали. Дорога отвратная. В рытвинах вся, да ещё извилистая. Сплошные мелкие повороты туда-сюда. Дядя Ваня привыкший, у него и подушка под задницей, и подлокотники сиденья мягким ватином обмотаны аккуратно.

      –  А ты чего на полдня приезжал-то всего?  – дядя Ваня закурил папиросу, по-моему, ещё более короткую, чем я видел у других.

      –  Это я по Волге мотаюсь за репортажами. Уже в четырех местах был. Теперь на Оку пойду из Городца. В Павлово. А если время останется, забегу в Муром.

      -Так это ж уже Владимирская, мля, область,– он затёр окурок о ботинок, плюнул на него и швырнул в окно.

      –  Да я просто посмотреть. Легендарный же город. Дом Ильи Муромца посмотрю. Говорят, там экскурсии делают к дереву, где Соловей-разбойник буянил. Я-то сам из Казахстана. В этих краях не был. Только в книжках читал. После учебы в Москве поехал в Горький устраиваться в газету. А они мне вот этот испытательный заезд придумали. Проверяют на выносливость.

      А вы, дядь Вань, с какой беды сюда перебрались? В Новосибирске-то у вас не хуже. А может и лучше. Сибирь ведь. Я там тоже неподалеку живу. В Кустанае.

      –  Точно, с беды. Угадал,  – дядя Ваня выматерился от души минуты за две.  – Развелся с женой. Работал инженером в Научном городке. Радиотехник я. Говорят, не самый последний. А развёлся чего? Жена гульнула, да не раз. С одним кандидатом наук. Ну, развелся я с ней, а жить мне там нельзя. Её родни много. Уговаривать начали. Вроде «с кем не бывает, ты уж её прости» Да и моя родня как, мля, сдурела.  – Ну, ты ж, говорят, сам ходок. Сколько, мать твою, сам шалав перебрал! Да, перебрал! Так я, мать вашу, мужик! Мужик я! Есть такой мужик, какой не перепробовал с десяток их, порядочных, мужьям верных раза по три в неделю? Нету таких. Или он не мужик, а…

      Он долго искал слово, покраснел, лоб вспотел под кепкой, с дороги стал соскакивать иногда. Но не нашел слова. Ни приличного, ни матюга подходящего. И так незаметно, хотя на хорошей для ПАЗика скорости, мы подъехали к Городцу.

      –  Ладно, удач тебе,  – дядь Ваня пожал мне руку.– Ты молодой, так лучше вообще не женись. Суки они все!

      Я не стал ему рассказывать, что сам только что разошелся, попросил у него его смешную папиросу. Оказалось, это «Байкал». Никогда не пробовал. Всё время «Приму» курил.

      Он поехал в город, а я двинул на пристань. Близко, метров двести. Подошел к кассирше и понял, что сказать мне ей нечего. Хотел спросить, когда тот капитан на своей «ракете» подойдет. Но только тут допёр, что не знаю, как его зовут. Стал вспоминать номер катера. Походил по пристани, поглядел на другой берег, где ничего не было кроме ржавых кустов и камней, упавших с откоса. И вдруг вспомнил. На борту стояла цифра 16. Точно 16! Голубой краской.

      Пошел снова к кассе.

      –  А шестнадцатый борт когда подойдет? Там ещё капитан такой. Высокий. Такой красавец с усами.

      –  А это Колядин Сергей,  – ответила кассирша без выражения.  – И какой с него красавец? Тьфу. В 18.40 швартуется. Билет нужен?

      Но я уже шел на пристань, попутно доставая из портфеля огрызок пряника. Ждать оставалось недолго. Полтора часа всего.

      Капитан Колядин встретил меня как родного брата. Обхватил, от досок оторвал и поставил обратно, слегка придавив мне жестким портфелем бок.

      -Всё сделал?  – спросил он на ходу и достал путевой, видимо, лист.  – Тогда жди. Я оотмечусь и через двадцать минут по-ойдем в Павлоово-о. Ты же в Павлоово-о?

      –  Очень бы хотелось,  – пытался засмеяться я. Вышло довольно жалобно.  – Ты свои-то проблемы дома утряс?

      -А куда они денутся!  – воскликнул театрально Колядин. И мы надолго замолчали.

      Но зато через двадцать минут я рядом с капитаном наблюдал, как поднимается нос «ракеты» и  подводные крылья режут Волгу, как плуг пашню, как вырастаем мы над волнами и рубим течение напополам.

      Идем в Павлово-на-Оке. И снова я не знаю, чем закончится визит в этот милый, почти сказочный городок.

                          Глава четвертая

      Капитан Сергей Колядин, как только отошли от пристани километров на десять, позвал меня в капитанскую каюту, достал из шкафчика бутылку водки, банку с солеными грибами и два граненых стакана.

      –  Мы с жено-ой помирились,  – тускло сказал он и налил по сто пятьдесят.  – А Ирку, ты её не знаешь, я поослал. Другую заведу. Эта бо-олтливая шибкоо. Всём соседям доложилась, что со мной крутит. Оони жене и рассказали. А я то-о сперва думал, что-о ктоо-то с утра меня в оокн-оо видел, коогда я-тоо от неё вышел. У нас тут все всех знают. Гороодец маленький же. Дерёвня. Эх, давай! И с радости, и с горя зараз.

        Ирка – воот такая баба! Была теперь уже. Ну, а жена есть жена. У нас два  пацана с ней. Пять лет о-одному и три гоодика по-оследышу. Надо с жено-ой в первую о-очередь жить, а с оостальными просто-о якшаться временно-о для усмирения буйной плоти.

      -Я пить не буду,  – кивая головой в такт разнообразным интонациям речи капитана Колядина, сказал я.  – Мне сейчас в Павлово к незнакомому мужику ночевать идти. Зампред Городецкого исполкома к нему меня определил. Как-то будет некрасиво поддатым завалиться. Зампреда подведу. А мужик он хороший.

      –  Ну, правильно. Хороших мужиков нельзя подводить,  – Колядин, не касаясь стакана губами, закинул в глотку все сто пятьдесят и съел гриб.  – Ты давай грибы ешь. Жена солила. Грузди. Колбасы дать? Ел давно?

      На лице у  меня крупным шрифтом было напечатано, что давно ел. Он это прочитал, достал из маленького, замурованного в стенку холодильника толстую докторскую колбасу, из нижнего шкафчика вынул  порезанный на тонкие кусочки хлеб, потом снова нырнул рукой в холодильник и  вытащил желтый перламутровый сыр, после чего приступил к нарезке, предварительно с размаху закинув в рот всё из моего стакана.

      –  Гадкая жизнь у вас, у корреспондентов. Как у броодяг каких, -капитан смотрел, как я ем, и зевал.  – Но бро-одягам воо-обще не платят, поото-ому они всю жизнь жрать хотят. А у вас и зарплаты смешные, и гооняют вас по-о белу свету, как рабо-ов, и на дороогу дают роовноо сто-олькоо, чтобы не издоох и не кинул черную тень на редакцию. Но воот от жадно-ости гоосударства и ваших редакцио-онных начальнико-ов вы как все броодяги тоже пло-охо кушаете. Мало-о и нерегулярноо. Во-от какая у тебя зарплата?

      Я поперхнулся при упоминании зарплаты, жить на которую мог бы только святой дух. И то только потому, что ему не надо есть и одеваться.

      Капитан по моему страдальческому лицу определил, что зарплата у меня 80-90 рублей и произнес придуманный, похоже, только что афоризм:  – «Чем меньше денег, тем чище совесть». Но когда я поперхнулся повторно, он понял, что загнул лишку и разъяснил, что мало или много денег – это всё очень и очень относительно. Вот он получает 300 рублей чистыми в руки и имеет при этом вполне приличную совесть. Знает одного министра (на рыбалку его возит), так тот вообще имеет зарплату 1200 рублей. Но, несмотря на сумасшедшие деньги, какие и девать-то не понимаешь куда, он прекрасный человек с почти незамутненной совестью. Ну, в пятнышках, конечно, но самую малую малость. А ведь на такой должности иметь кристальную совесть – вообще фантастика.

      Он ещё раз из-под козырька фуражки глянул на меня жалостливо, после чего почти убедительно и быстро проговорил:  –  Хоотя, с друго-ой  стооро-оны – твооя проофессия сама ладная. Видите мног-оо.  Поостареешь, так оопыта будет сто-олько, что-о моожешь стать мудрецо-ом и мемуары писать проо впечатления о-от житухи нашей.

        А она  впоолне бессмысленная, жисть у всех. Крутимся во-округ своей о-оси, хотим многого, а не получаем ско-олько хотим. Это я воо-обще не проо деньги, а в принципе. Но не в принципе же смысл! Чего живем? На кой черт я каждый день туда-сюда по волнам прыгаю? Людей перевожу туда-сюда. Ну а оони чего-о мо-отаются с места на местоо? Нужда? Так нужда всегда о-одна: не проопасть, пережить, перетерпеть, до-остать, выкрутиться, доождаться лучших времён, а в пло-охие времена не сгинуть, тянуть жизнь за хвоост, удерживать, что-об не ускакала. И что-о? Воот  для эт-оого меня мама роодила? Или во-от их!?  – Он мотнул головой в сторону пассажирского салона.  – Их тоже роодили, что-обы доо грооба  боро-оться с убого-остью свооей жизни в это-ой дыре и ждать светлогоо будущего-о, про котооро-ое в «Правде» пишут?

      Я смотрел в иллюминатор, молча ел хлеб с колбасой, сыр, и думал о том, что капитан в чём-то прав. Но никак не мог сформулировать для себя – в чем именно. Да, мы все постоянно что-то преодолеваем. Кругом сплошные трудности и проблемы. Но, с другой стороны, нам ведь никто и не обещал, что будем кататься как сыр в масле. Ну, деликатесов нет. А еда-то везде есть. Крупы, картошка, сахар, соль. Хлеб есть. Мясо бывает почти через день в магазинах. Одежда, правда, плохая, некрасивая. Не модная. Но, главное, есть уверенность в будущем своем. Уверенность и ясность. Наметишь план и выполняй себе, не спеша. Никто мешать не будет, а только помогут, направят, подправят, подскажут. Ты уверен, что дети твои пойдут на сохранение в детсад, потом в обязательную школу-десятилетку, где действительно дают знания, потом институт, дальше – свадьба, потом любимая работа, которую сам выбираешь. И в конце – пенсии приличные. Можно даже откладывать от пенсии в запас. И всё это гарантировано и не нарушается. Я вон два института бесплатно окончил, медицина тоже бесплатная, работа гарантирована. Тут мысль оборвалась. Гарантированной работы как раз ещё не было.

      –  Так мы что, отсталая страна, плохо живём?  – спросил я капитана.  – А космос? А угля у нас сколько, а нефти! А атомная бомба, а водородная?

      –  Ну, ладно-о,  – Колядин налил себе сто граммов и процедил их в организм мелкими глотками.  – Ты поосле института тоолько чт-оо. Ты воот тут по-окрутись, по-осмотри как и чтоо. На людей поосмо-отри. Глянь, чему оони радуются, чему печалятся. И чего в их жизни больше – надежды на лучшее или безнадеги на сегоодняшний день. Живем-тоо сего-одня, не через сто-о лет, А оно, видноо, там, в других веках и прячется, светло-ое будущее. В следующем стоолетии. В конце. Не дотяну до него, точно. И ты не дотянешь..

      В-оо! Смоотри. По лево-ому боорту Нижний Ноовгооро-од. Или, черт с ним, Го-орький. Мы на Стрелке сейчас. На месте, где Оока впадает в Воолгу. Или, моожет, нао-обооро-от. Тут все спорят: чтоо в-оо что-о впадает. И никтоо ничегоо еще то-олкоом не выспоорил. Я воот думаю – Оока мощнее. Во-олга в неё сливается. Но это я так считаю. Многие за Во-олгу. Эх!!!

        Через час я уже был в Павлово-на-Оке и стоял возле двухэтажного дома, который был составлен из такого доисторического кирпича, который  давно уже изъеден и источен ветром, солнцем и дождем почти до конца и, кажется, рухнуть должен с минуты на минуту. Но тут жил дядя Яша, да и не первый год жил. Он и сейчас сидит в квартире, меня ждет. Он не боится, что дом развалится. Я поднялся на второй этаж по прогнившей и трескучей деревянной лестнице, постоял, выдохнул и позвонил в квартиру, дверь  которой была обита траурным старинным черным дерматином,  простроченным  свежими гвоздиками с выпуклой золотистой шляпкой.

      На эти шляпки я любовался минут двадцать. Звонил периодически.

      Длинными, короткими, потом вперемежку, даже азбукой Морзе звонил через точку, тире, точку наугад. Азбуку я не знал совсем. Дядя Яша или проверял меня на стойкость и настырность, то есть, на популярные мужские качества, либо мылся в ванной и голым выйти не спешил. То, что он спал, исключалось, поскольку звонок был настолько громким, что мог разбудить не только одного мёртвого. Всё кладбище мог поднять.

      Идти мне было всё равно некуда и я решил стоять и звонить. Всё-таки это было каким-никаким, но занятием. Примерно через полчаса дверь неожиданно распахнулась так быстро, что если с той стороны меня хотели бы застрелить, то мгновенно застрелили бы. За ручку двери держался толстый как сеньор Помидор дядька лет пятидесяти, обросший серо-белым волосом  до упора. Похожий на него мужик изображен на фото в учебнике по физиологии как пример повышенной волосатости. Живого голого места не было на книжном мужике. А дядя Яша всего-то имел кудрявую хиповую гриву до плеч, бороду почти до пупа и усы, растекающиеся по бороде. Они завивались под молодого барашка в дебрях бороды. И оттого дядя Яша  напоминал лицом Робинзона Крузо при теле сеньора Помидора. Мало того: он был в майке и трико, поэтому волосатость свирепствовала и на руках, и на груди. Да, похоже, по всему телу завивались всякие седые с прожилками бывшего цвета волосяные кренделя. Дядя Яша улыбнулся так широко, что я даже испугался. Вполне мог порваться рот или выпасть зубы.

      -Захо-оди !  – воскликнул он так, будто  стоял на столичной  сцене и должен были докричаться до задних рядов.

      –  Если разбудил – извините!– заорал я погромче, потому как дядя Яша вполне мог плохо слышать из-за обилия волос в ушах и над ними.– Извините, говорю!

      –  Да ну тебя. Чего го-орланишь? Разбудил о-он, как же!  – дядя Яша нежно взял меня за ворот рубахи и двумя пальцами  аккуратно втянул в квартиру.– Я тут как раз киноо смо-отрел п-оо телеку. Не помню как называется. Ноо про-о разведчика  нашегоо, кото-роогоо ну просто-о чудоом не раскрыли. Оой, что о-он там тво-орил! На грани хоодил. По-о лезвию… Так чтоо – не оото-орвешься. Извиняй уж, чтоо пришло-ось ждать..

      В квартире у дяди Яши было две комнаты и, само собой, игрушечная вполне кухонька. Одна из комнат  использовалась как жильё, другая как склад всего, что можно складывать, вешать, и просто зашвыривать поверх уже наваленного. В жилой комнате стоял дореволюционный кожаный диван с прямой высокой спинкой и пухлыми валиками по бокам. Кожа была прошита ромбиками мягкой проволокой. Раньше он, наверное, стоял в кабинете у какого-нибудь статского советника нижегородской губернии.

        В угол дядя Яша поставил такой же старорежимный секретер. Крышка его была откинута и внутри проглядывались несколько книжек, скульптура матроса из чугуна по пояс, круглые часы с римскими цифрами и витыми металлическими стрелками. На крышке лежала книга «Водные пути российских рек» и  вразброс располагалась всякая посуда. Тарелки, фарфоровые чашки, серебряные ножи и вилки с ложками. Сбоку от секретера находилась крашеная суриком табуретка. На ней как-то поместился огромный и дорогущий по тем временам цветной телевизор «Рубин», а завершала композицию двурогая антенна с толстым как швартовочный канат шнуром. Больше в квартире не было ничего. На кухне одиноко тосковала газовая плита, украшенная сверху кастрюлей и чайником, закопченным до цвета земли, на которой выжгли всю траву.

      Я только начал думать о том, каким образом и в каком положении буду спать, но дядя Яша, похоже, мог считывать чужие мысли. Он сунул руку влево от двери комнаты-склада и вынул по очереди толстый стёганный матрац, простыню желтого цвета, подушку и лоскутовое теплое одеяло.

      –  А воот по-од телевизооро-ом и стели,  – он обозначил пальцем место для матраца.  – Через тебя мне экран спооко-ойноо видно-о. И ты будешь всё видеть если подушку по-оставишь ребром. Времени уже 22 часа. Надо полягать уже. Вставать раноо.  На заре прямоо-таки схо-одим на рыбалку. Рыбо-ой и поозавтракаем. А к девяти по-ойдем к учителю Шапо-ошникоову. О-он тут всё про-о всё знает и поото-ому везде тебя прооведет, по всем музеям и с кем надо по-ознакомит. Считай за день мо-ожешь на целую книжку фактоов нако-овырять.

      –  Нормально,  – согласился я,  кинул матрац под табуретку, потом уложил простыню, подушку ребром, бросил тяжелое как гиря одеяло, снял штаны и кофту-лапшу и залез внутрь этой конструкции, над которой что-то ворковал телевизор. Дядя Яша раза в два быстрее постелил себе на диване, скинул на крышку секретера майку и снял трико, после чего я сел и дурными глазами вперился в его ноги. Точнее – в ногу. Вместо второй ноги у дяди Яши  почти от бедра был пристёгнут коричневый протез из кожи, дерева, пружинок и ремней с застёжками. Он отстегнул протез любовно, быстро и ловко. Так раздевают женщину крупные специалисты по охмурению этих самых женщин.

      –  А-а!  – перехватил мой безумный взгляд дядя Яша.  – Этоо я по пьяне на причале как-тоо по-сво-оему перелезал через перила баржи воо время шварто-овки. Там и к причалу, и к барже шины от грузоовиков крепят, что-обы смягчать касание боорта с причало-ом. Ну, у меня но-ога между шинами и поопала. А баржа ещё двигалась. Врачи поодержали меня три дня на койке. Уко-олы колооли, ноогу щупали. На четвертый день пришли они аж вчетвероом, ещё по-о-о-очереди ноогу потискали и главный ихний сказал, чтоо надо-о резать. Кооро-оче – удалять надо ногу. Там все кости перемололо-о. Ничегоо не сделаешь. Ну и оотпилили на друго-ой день. А ты видел, чтооб я хро-омал? Хожу как все. Как ты. Протез мне тут делали, в Павлоовоо. По-отому и хооро-оший протез.

        Он  мало того, что не хромал. Утром, когда щли на рыбалку на  Оку, он меня опережал. И шли мы почти бегом. У нас было 2 удочки, вареная кукуруза и банка с червями, которой дома у дяди Яши не было точно. Зацепил он её по дороге в глубине какого-то куста. Заранее припас. Идти нам надо было километра три. Здоровый человек с двумя полноценными ногами добирался бы примерно полчаса. Мы , по моему, дошли быстрее. А может так показалось мне, потому, что дядя Яша всю дорогу беспрестанно нёс всякую ахинею в основном про хреновую местную навигацию, особенно зимнюю. Но внутри этой темы смог-таки разместить несколькими фрагментами  легенду, а, может, правду о том, что он на павловском стадионе 2 раза в неделю гоняет футбольный мяч с докерами. Хотя те пьют водяру похлеще него, но бегают. Потому, наверное, и живые ещё. Набирается три команды и играют навылет. А зимой он с ними же играет в хоккей с мячом на том же поле, которое сами и заливают, сами же и гладят-ровняют в сильные морозы.

      Судя по тому, что за разговором мы спустились от его дома к берегу минут за двадцать – не врал дядя Яша. Да и лишнего про себя не выдумывал. И мне это понравилось. Как, собственно, и он сам лично.

      Устроились мы на утоптанном  песке с галькой вперемежку. Место, значит, популярное было. Закинули удочки и уперлись взглядами в поплавки.

      –  Во-от тут,  – прошипел как змей дядя Яша, наклонясь корпусом ко мне под очень острым углом,  – прямо здесь водится  лещ, плоотва, язь, о-окунь, со-ом, щука и .эта ещё…как её… Забыл. Вспоомню, скажу.

      За час мы поймали три леща, четыре плотвы и одного окуня. Вот окуня как раз поймал я. А он всё остальное. Смотали удочки, поскольку дядя Яша плюнул в воду и сказал рыбе, что мы уходим, а она чтобы, наоборот, сидела тут, ждала и никуда не сплывала. Потому как мы ещё придем. И мы пошли обратно в гору. Уже помедленнее и молча. Дома, пока жарилась рыба, дядя Яша короткими бросками взгляда смотрел на меня угрюмо, отрывая глаз от сковороды на пару секунд. Видно было, что он хочет что-то произнести, но обдумывает – как это получше сделать. Наконец, когда рыба была готова, он принес её на крышку секретера, перекрестился, взял себе леща покрупнее и сказал:  – Ты, Стасик, жить хо-очешь оостаться в Нижнем?

      –  Если возьмут на работу в редакцию,  – я взял плотву и начал её обгладывать, выплёвывая кости в кулак.

      –  Ну, как возьмут, так и выживут. Мо-олча. Примерно через пару-тройку месяцев..

      –  Да я нормально пишу. От работы не шарахаюсь. На людей вроде не кидаюсь. За что выживут-то? И кто?  Редактору я, похоже, понравился. А только он и может уволить без повода.

      –  Поово-од есть.Там, в редакции, челоовек двадцать, небо-ось, трудяг. А ты писать умеешь не хуже их, так? Так. Воот за это-о тебя и скушают,  – он выложил все кости от леща на край крышки секретера, подгреб туда же останки моего окуня и левой ладонью спихнул объедки в правую.

      –  У нас тут куча таких примероов наберется. Из Сибири народ приезжал к нам в Павлово-о, в Нижний так во-ообще со всей страны нароод прётся. Как в Мооскву по-очти. А через поолгодика – но-оги в руки и давай тикать оотсюда! Вон из Таджикистана Коля Каплин приезжал слесарить в Павлово. Домик купил. Жену привёз с дочкой. Золотые руки оказались у мужика. Лучше наших детали для замков делал. Так сожгли дом через три месяца. Он ещё по-омыкался поо квартирам сто-олько же. По-отоом ему случайно голову пробила железяка в цехе. Проосто мимо-о пролетала. О-он семью в о-охапку, да и хо-оду оотсюда. И таких случаев – воо ско-олькоо!

      Дядя Яша провел ребром ладони поперек горла и пошел к окну смотреть на то, что тысячу раз уже видел.

      –  Не, не понял,  – я тоже подошел к окну.  – Смысл-то в чем? Зачем выгонять хороших работников и вообще нормальных людей? Что, руки да головы нормальные не нравятся? Дурь какая-то…

      –  Ты русский?  – спросил дядя Яша.  – Вижу, чтоо русский. Н-оо ты чей русский? Ты казахский русский. Чужоой ты у нас. Вы, казахские, татарские, узбекские русские – не такие, как рассейские русичи. Никто-о не знает и не по-онимает, чем именноо вы не такие. Ноо всё о-одноо – чужаки. И жизни тебе тут, Стасик, не будет. О-одни неприятноости будут. По-ока сам не уедешь.

      Потом мы пошли с ним к учителю Шапошникову и с его помощью я побывал и с кем надо поговорил в музеях, где выставлены сотни вариантов замков. Снял царь замок, у которого один ключ полтора килограмма весит, а сам замок почти десять. Мне бы в жизни в голову не пришло, что может существовать замок, которым можно запереть иголку. Просто просунуть дужку замка в игольное ушко и под лупой пинцетом повернуть ключ. Потом мы пошли в музей ножей, где мне прямо-таки нехорошо стало. Там я увидел и огромнейший  неподъемный царь-топор и сотни всяких ножей, обычных, складных, кнопочных и многоприборных. Это когда в одном ноже спрятаны кроме разных лезвий ещё масса всяких приборов. От расчёски, к примеру, до зеркальца или зубной щётки. Мастерству изготовителей даже оценку невозможно было определить.  Просто нет такой высочайшей оценки. После музеев поехали на присланном за нами специально ПАЗике на Павловский автозавод, где делали тогда, да и сейчас делают незаменимые универсальные автобусы. Там есть даже полноприводной автобус для гор и специальный туристический автобус, который продумали со всех позиций так здорово, что он завоевал приз на международной выставке. Но в массовое производство дорогую штуковину, ясное дело, не пустили. И стоял он, красивый и уникальный, на невысоком постаменте одиноко и грустно. Как натужный комплимент от мирового сообщества павловским мастерам.

      Домой к дяде Яше я попал уже к вечеру, часам к семи. У порога уже стоял мой портфель с вечными пряниками.

      -Коо мне тут сейчас женщина придет,  – оповестил дядя Яша, воткнув взгляд в пол.  – Ну, сам по-онимаешь… И воо-обще – тебе мой пооследний со-овет. По-ока не пооздно – езжай в Казахстан. На роодину. Лучше роодины не бывает места.

      Я кивнул головой, взял портфель, с трудом обхватил дядю Яшу, потом пожал ему руку. приобнял, сказал за всё «спасибо», развернулся и вышел, не прощаясь. По-мужски или по-английски. Короче, и так, и так.

      Вышел я из подъезда и оглянулся в последний раз на кривой, косой, несуразный древний полураспавшийся дом, где жил и где когда-то умрет хороший человек дядя Яша.

        Отошел от дома метров на сто. Сел на корточки, закурил, задумался. Потом посмотрел вверх на чистое ночное небо. Звезды на небе были другие, а какие нашлись те же самые, то светили они всё равно по-другому. Совсем. В это мгновение я и понял, что уже почти еду домой. На родину. В Кустанай. Без копейки денег, с портфелем, набитым блокнотами со статьями и репортажами, и нескончаемыми печатными пряниками. И, конечно, не понимал я в тот момент, что самые замысловатые приключения мои  начались только сейчас.

                          Глава  пятая

      То, что я еду домой, было решено с помощью одного пристального взгляда на звёзды. А, возможно, там, на какой-нибудь тусклой, самой далёкой звезде как раз и жил Вселенский разум. И я-то его не разглядел, потому как возможности ума и проницательности у меня земные, скудные. А он, Разум, всеобщий. Всех вразумляет, кого успеет заметить. Вот меня, видно, засёк. Вовремя, значит, я наверх глянул. Хотя ещё только смеркалось и отсюда звёзды только проклевывались в темнеющей синеве. А оттуда, наверное, всегда всё видно, слышно и ощутимо.

        В Бога я не верил. Верил в прозаическое земное электричество и в неземную могучую всесильную и всемогущую вечную Энергию, сплетенную из тысяч разных всяких энергий. В Сверхсилу, управляющую жизнью всех Вселенных и всем, что в них крутится-вертится. Верил я в него как в собственное отражение в зеркале.

      Ну, это был как бы рупор судьбы, фатум и руководство к действию. Фатум был за немедленное возвращение в Кустанай, на родину. Минус был только один: вершитель судьбы моей никак не посоветовал сверху: что конкретно я смогу такое совершить волшебное или колдовское, чтобы добраться до дома без копейки денег, документов и приличного внешнего вида, утерянного в пыли дорог, чужих постелей и ночевок под прибрежными кустами. Не сделав ещё ни одного движения в сторону, подсказанную судьбой, я понял главное. Оно заключалось в проблеме, скинуть которую с горба могло помочь только чудо. А поскольку других вариантов Вселенский Разум не подсказал, я нагло наметил себе совершить чудо самолично, без помощи и поддержки фатума, рока и судьбы-индейки.

      Вечером в чужом и непонятном городе, если ты не турист, (который тщательно изображает страсть к узнаванию неизвестного), чувствуешь  себя в меру паршиво. Особенно, когда не знаешь, где поесть и без приключений поспать. Я пошел прямо от дома, где жил дядя Яша, у которого на единственном колене уже, наверное,  терпеливо отсиживала положенный предварительный срок желанная на всю ночь женщина. Прямо – это неизвестно куда. Я и днем-то по городу не успел побродить, поэтому в память не упал никакой конкретный путь. Шел просто по улице, на которой фонарей, естественно, не было задумано.  Поэтому маяками для меня работали мутноватые от торчащих на каждом окне лимонных кустиков огни лампочек ватт по шестьдесят. Я знал уже от учителя Шапошникова, что город стоит на семи довольно крутых холмах и улицы поэтому с холмов бросались вниз как потенциальные утопленники, с отчаянием от безвыходности. Они падали до конца одного холма и оказывались прямо у похожего подножья холма следующего.

        Если сверху улицы смотреть вдаль, то кажется, будто соседний домик стоит километрах в трёх от предыдущего. Все остальные утонули в глубине впадины. Знать, что они там есть, могли только местные, свои. Со всех сторон, на спуске и подъеме с улицы и во дворах павловские жилища заросли большими и маленькими деревьями, какими-то незнакомыми мне кустарниками с голубыми и желтыми ягодами. Они  прятали аккуратные, увитые разномастной резьбой домики. Город был, но его как бы и не было. Он хранился от чужих завистливых глаз в глубинах и на высотах холмов, почти незаметный в полутьме. И от этого над всеми семью холмами  города    Павлово-на-Оке кружилась замаскированная под облака добрая сказочная тайна древнего поселения. Но тогда какая-такая нелегкая случайно занесла городок чьей-то шальной волей на бугры да в ямы?

      С этими философскими упражнениями в уме я и спустился с холма, и поднялся на холм. По дороге, конечно, возникало неосмысленное желание постучаться в какой-нибудь забор архитектурой попроще и попроситься переночевать. Но мешала пословица или,  может, поговорка о том, что не зная броду нет смысла лезть в воду. Может быть тут не принято пускать на ночь в дом приблудного юношу. Хотя, по сказкам помню, Русь славилась вот как раз таким спонтанным гостеприимством. Заходи, поживи любой, коли крова нет. Но то, однако ж, сказки, хоть и народные.

      По другой стороне улицы шла молодая мама с пятилетним дитём, орущим типичную для малолетних попрошаек невнятность.

      –  Девушка, добрый вечер!  – крикнул я, хотя улица была узкая. Можно было и шепотом спросить.  – Скажите, а где я сейчас, на какой улице и где центр города?

      –  Здравствуйте!  – женщина подтянула поближе к бедру горластого сына и он заглох мгновенно, как машина, у которой кончилась последняя капля бензина.  – Так Вы уже фактически в центре. Сейчас вверх метроов сто-о, по-отоом на углу увидите статую кузнеца с мооло-отоом. Воот перед ней по-оворачивайте налево. Про-ойдете квартал и поовернете направо-о, на Нижегороодскую. Самый центр. Магазины ещё рабо-отают. А музеи уже закрылись. Надоо было-о по-ораньше вам.

      –  Нижегородская – это бывшая Торговая?  – я уже пошел вверх.  – Спасибо!

      –  Торговая, да!  – крикнула вслед женщина, после чего, видно, отторгнула пацана от бедра и он снова заорал что-то типа « А Ваньке мамка купила, а ты мне не купила!»

      По Торговой улице идти стало легче. Она бежала ровно, не подпрыгивая и не ныряя в темень. Да и темени на ней не было. Фонари,  подсвеченные витрины магазинов, неоновые названия столовой, музеев и дома культуры «В свободный час» успокаивали светом и устраняли чрезмерную таинственность темноты. Плюс два каких-то административных солидных здания, швыряющие на брусчатку площади щедрую порцию света почти  из каждого своего окна, делали город похожим на город. Маленький, но симпатичный своим странным сочетанием домов девятнадцатого и начала  двадцатого  веков с неоновыми,  разноцветными, небрежно танцующими  буквами и люминесцентными фонарями, которые превращали начинающуюся ночь в день. Пусть хотя бы на одном, но довольно сильно расплющенном пятаке центральной площади.

      Я сел на скамейку возле музея замков, в котором был днём  и достал из кармана «Приму». В пачке вольно болталась последняя сигарета. Я сунул руку по локоть в свой могучий портфель и, не заглядывая, разводил в стороны вечные пряники, блокноты и ручки, бритвенный прибор с кисточкой и московским одеколоном «Арамис». Сигарет в портфеле не было. Незаметно выкурил все пять пачек за три дня. Это означало, что дальше все события будут  выглядеть более нервными потому, что без курева я становился суетливым и злым.

      Вспомнил дядю Яшу и его папиросы «Байкал», издающие терпимое курильщиками зловоние табачных отходов. Ну, это когда в папиросу суют табак чуть ли ни от самого корня до макушки, включая сюда стволик растения и исключая листочки. В народе такой убогий табак называют – «филич». Я  сейчас с радостью подымил бы сразу парочкой байкальского «филича». Но в моей пачке ждала своего часа последняя сигаретка, а впереди маячила ночь без сна под крышей и хотя бы на раскладушке.

        Спать было негде. Ну, я вспомнил Городец, ночевку в доме культуры меж бильярдных монстров-столов, вполне годный для мирного сна матрац и решил трюк с очередным очагом культуры повторить. По пути выкурил треть «примы», аккуратно примял  «охнарик», бережно поместил его в пачку, свернул пачку почти в рулон и опустил драгоценность между двумя блокнотами. Для надежности. Дом культуры «В свободный час» светился мягким приглушенным светом в большом вестибюле. Я постучал кулаком в стеклянную дверь. Ничто в вестибюле не изменилось. Не мелькнула в недрах холла тень бдительного сторожа, не завыла охранная сирена, не зазвенел чуткий к проникновению без разрешения звонок. Я колотил дверь еще минут десять, пинал её ногой. Очаг культуры безмолвствовал. Тогда я пошел вдоль здания и стучал во все темные и освещенные окна, попутно выкрикивая одно  почти волшебное слово «Эй!» Через полчаса  я натурально подустал, посидел на гранитных ступеньках Дома культуры еще немного и дошло до меня, что его просто никто не сторожит, поскольку содержимое дома не привлекает даже мелких форточников. Взял портфель, сделал круг почета по периметру площади и стал ждать хоть какой-нибудь автомобиль, в котором точно будет хоть один живой  человек.

      Автобус, видимо последний, приехал на площадь к музею самоваров минут через двадцать. Я подбежал к нему как собака к ноге хозяина и, заглядывая в глаза водителя, спросил, не довезет ли он меня до набережной Оки?

      Шофер заулыбался, как будто ночью в родном городе напоролся на звезду экрана первой величины.

      –  А то как же не довезти!  – еще мощнее заулыбался он – Я зараз туда и еду. Давай, хлопчик, с той стороны уже дверь открылась. Полезай давай!

      –  Только мне платить нечем, у меня деньги украли.  – Почти жалобно сказал я. Чисто жалобно не получилось.

      –  У меня, хлопче, тожить стибрили тугрики. Давно, правда. В армии ещё. Батько прислал на именины. С Полтавщины. А ночью из-под подушки кто-то тиснул деньжата. А как лихо зробив!  Я чуткий, и то не проснулся… Давай, седай! Не деньги красют человека, а человек сам по себе прибавочная стоимость.

      Под эту оглушительно умную фразу я запрыгнул в ПАЗик и через пятнадцать минут беспрерывных взлетов на холмы и контролируемых падений с них  шофер остановил автобус и торжественно объявил:  – Це вона и буде! Ока.

      Поблагодарил я водителя, руку пожал и спросил:

      –  А вы чего сюда с Украины-то? Там же хорошо. Благодать.

      –  Где нас нет, там и хорошо. А так если, по правде, то за жинкой поехал. Она местная. К нам приезжала на практику из Горьковского института. Позвала меня сюды. Тут и поженились. Гарна, скажу, дивчина. Пять лет живем, а как один день. Хороша, зараза!

      Он радостно шлёпнул обеими руками по рулю, мы еще раз попрощались, я пожелал ему, чтобы они с жинкой жили долго и в один день померли. И мы расстались. Он поехал быстро и красные фонари габаритные вскоре канули в темноту.

      Я пошел на плеск воды и довольно быстро оказался на высоком склоне. Ока несла свои знаменитые воды где-то далеко внизу. В темноте спускаться туда я побоялся. Сел на край склона, похожего на обрыв, достал пряник, отломил от него немного и машинально сунул в рот. Ни о чем не думалось. Ничто не вспоминалось. Устал. И вот когда пряник уже почти рассосался, сбоку от меня послышался разговор двух мужчин. Голоса приближались, скрипела под четырьмя ботинками трава и вдруг из непроглядной темноты один из них сказал:

      –  Эй, орел! Ты чего тут завис? Пошли с нами.

      Как они меня увидели с такого расстояния? Я вытянул руку и концов пальцев не разглядел.

      –  Да ничего. Я пока тут прилягу. Устал немного. Вы куревом не богаты, случайно? А то уши пухнут, честно говоря.

      –  Не богаты – сказал низкий бархатистый голос.  – Тут богатых не бывает. Но папироски пока имеются.

      Неожиданно прямо перед моим лицом появилась огромная ладонь. На ней лежали три папиросы. Я сгрёб их в кулак и стал вглядываться туда, откуда появилась здоровенная, как саперная лопатка, ладонь. Но никого так и не увидел.

      –  Ну ладно,  – сказал голос тембром без бархата и погрубее.  – Кури тут тогда. Спать лучше назад отойди. Там трава мягче и ветра нет. А мы пошли. Захочешь – утром спускайся. Нам люди всегда нужны.

      И они, сбивая на спуске мелкие камешки и создавая движение песку, пропали внизу.

      –  В Москве при той же ситуации пришибли бы простой палкой,  – подумал я без эмоций, закурил. Оказалось, дали мне «Север». Потом поплевал на окурок, затер его до мундштука туфлей. Потом в полусне нащупал позади портфель,  уронил на него буйную свою головушку и перед тем как отключиться успел подумать о том, что с завтрашнего утра у меня больше не будет и этой жизни. Начнется какая-то другая. Совсем другая. Какая?

      Но этот вопрос я задал себе уже в неровном, тревожном, прерывистом сне.

      До утра ещё была целая вечность и шесть часов…

                          Глава шестая

      Утро я сначала услышал, а увидел на три секунды позже, когда подпрыгнул и понял, что стою на траве. Разбудил меня шипящий и подвывающий треск тормозов чего-то большого, которое теоретически уже меня переехало, но практически остановилось в полуметре от ног. Потрясло меня то, что я не просто перешел из лежачего положения в стоячее.  Вроде как подо мной из  дряхлого матраца прорвались сквозь парусину все пружины сразу и катапультировали спящее моё тело. Я обалдел от того, что под мышкой у меня был зажат мой толстый от пряников, бумаг и бритвенного набора портфель. Если бы это происходило в армии, то оделся бы я, набросил бы берет свой голубой, навернул портянки и защёлкнул ремень не за сорок пять секунд, а за пять. И мог бы получить благодарность от сержанта.

      Передо мной стоял огромный как три слона, поставленные друг на друга, трактор «Кировец», а сверху, с высоты второго этажа, как курица с насеста, спорхнул худой, похожий на колос овса сивый паренёк.

      –  Мать твою распратак,  да в рот тебе компот!!  – верещал во время полёта тракторист, а когда спланировал на твердь, сразу протянул руку и назвался: -Лёха Николин я. А ты чего тут раскудрявился? Тут махонькие машинки, вишь ты, катаются. На метр в землю тебя вдавит и не заметит.  – Лёха сделал уважительное выражение тощего лица и показал его трактору.

      –  Я думал, что ты или помер, или пьяный в полную негодность,  – Лёха мгновенно поменял выражение лица на умное и три раза, прислушиваясь к звуку, пнул колесо ногой в армейском ботинке. Колесо мягко зашумело внутри, а ботинок затрещал, но сохранил прежнее целое состояние.  – А ты чего тут ночью делал? Да ещё один, без девахи? Только не говори, что от стада отстал на ночь глядя. Я вижу. Ты ж не турист. Ты кто вообще?

      Я подумал, что если сейчас начну рассказывать всё с начала до текущего момента, то Лёха не осилит весь текст, поскольку явно торопится. Возможно, завтракать. Тогда он и половины исповеди не выдержит. В связи с этим предположением я в пять минут втиснул весь свой путь от редакции до ночевки на этом откосе, где он меня почти переехал, и стал ждать реакции. Но Лёха, уяснив, что я не турист, а тоже на работе, вообще не стал реагировать никак.

      –  Так ты хочешь вниз спуститься?  – спросил он, продолжая аккуратно пинать все колеса.

      –  Ну да, хотелось бы искупаться сейчас и посмотреть, что там мужики делают. Вечером вчера двое туда спускались, дали мне закурить и с собой звали. Люди, говорят, нам нужны. А там что?

      Лёха тщательно  осмотрел свои ботинки и, прихрамывая от усердного избиения колес, пошел к ступенькам, ползущим к кабине.

      –  Там ватага,  – он криво ухмыльнулся и поставил ботинок на нижнюю ступеньку.  – Вроде как артель рыболовная. А так-то – никакой артели. На бумаге только. Там типа мастерских что-то такое. Лодки смолят. Моторы чинят от катеров, да от лодок. А, так красят же их ещё! И лодки, и моторы. Да и катера облезлые подкрашивают. А там кто ни попадя вкалывает. Беглые в основном. Кто от тюрьмы, кто от жены, от алиментов ховаются, другие просто приключений ищут на свою задницу. Скучно им дома. Но больше всех там бичей. Пацанов без паспорта, без хаты своей, без семьи и без родины.

        Куда чего дели – и сами не помнят. Дует им какой-то дикий ветер в спину и гоняет по русским землям. Документов нет – не сиди долго на одном месте. Бегай, да тырься по глубинкам, где власть не ходит. Тогда поживешь на воле, сколько повезёт. И татары там, и корейцы, с Украины хлопчиков полно, молдаване есть.  – Лёха протер зеркало рукавом рубахи со второй ступеньки и подтянулся на поручнях сразу до четвертой.  – А тебе там чего делать? Про них писать? Так нечего писать. Кто ж напечатает, что у нас в  СССР неучтенные, лишние для жизни людишки прозябают, жизнь свою морят? Не напечатают. То-то. Потому, что у нас в СССР всем всё уже дано по потребностям и обеспечено равенство, а к нему выдано каждому  счастье социалистических преимуществ.

      Я прикинул – смог бы я на одном дыхании  протарахтеть целиком и без сбоев эту же речь и решил, что вряд ли. Лёха, видно, был тут краснобаем и считался, наверняка, умным.

      –  Это на курсах трактористов учат так складно говорить?  – я закурил «бычок» своей глубоко заныканной сигареты и держал её за самый кончик, чтобы не искать потом бесплатную мазь от ожогов.

      –  Это в Томском политехе  учат,  – серое тощее его лицо озарилось на миг каким-то светлым воспоминанием. Из тех, которые любую минуту делают маленьким праздником  души.  – Я этот политех закончил два года назад. А мне распределение дали в Туркмению. На завод по ремонту передвижных электростанций. А мне батя сказал, что я последний придурок буду, если после Томского политехнического поеду в Туркмению. Ну, я и не поехал. Два года уже  тут на тракторе плуг таскаю. Ещё год покручусь здесь, потом посмотрим. Батя обещал  в Новосибирске помочь устроиться. В Академгородок. Через три года все в институте про меня совсем забудут. Точно говорю.

      Он забрался, наконец, в кабину и зевнул.

      –  Не выспался ночью. Читал Библию. Ветхий завет. Мудрая книжка, скажу тебе. Зря у нас религию пригнули-придавили. В ней какая-то сила спрятана. Вот дочитаю, тогда её пойму, силу эту. А ты давай, лезь ко мне, поедем в Павлово. Позавтракаем. У тётки Наташки. Комнату у неё снимаю. А потом ты до вечера погуляй по городу. Тебе на ватаге бугор нужен. Старшой. Сам ватаг. Татарин там один.  Музафаров . Он только после шести вечера приходит. А без него там с кем говорить по делу? Не с кем. Поехали.

      Я отряхнул брюки от травы и пыли, закинул в левую дверь портфель, который плюхнулся на сиденье и скрылся с  глаз моих в разбуженной пыли.

      Запрыгнул в кабину, поставил изменившийся цветом портфель на колени. Пыль с него быстро ссыпалась на брюки, а сам я сидел, погрузившись на сантиметр в толстый как общая тетрадь слой серого, перетертого в порошок  разными колесами, грязного грунта. Трактор дернулся как трусливый больной от укола толстой иглой.  И мы поехали к тётке Наташке на завтрак.

      –  А что, посолиднее работы для инженера из Томска нет в Павлово? С высшим образованием плуг таскать – большая роскошь для этого образования.

        Я разговаривал  и  попутно подпрыгивал на ухабах вместе с портфелем, и каждый такой прыжок извергал килограмма по три пыли с сиденья. Она оседала медленно и какие-то мгновения не видно было ни дороги, ни Лёхи. Сам он не подпрыгивал, потому, что как клещ намертво впился в огромный руль. Я только теперь понял, почему лицо у него серое. Умывался он, похоже, только после работы. А пока  скакал по просёлочным дорогам целый день, мыться смысла не имелось никакого.

      –  Я  сюда не вслепую приехал,  – заорал Лёха  громче мотора,  – А у моего кореша из Томска тут сестра с мужем. Муж здесь небольшой начальник на заводе ПАЗ. Вот кореш-то им письмо написал, что меня надо куда-нибудь трудоустроить. Через две недели ответ пришел. Пусть, мол, едет. Ну, приехал я, диплом показал мужу Веркиному. Он предложил его спрятать, но запомнить куда спрятал. Не нужен тут диплом.  Иди, мол, в райсельхозуправление к Никитину Иван Иванычу. Он тебя пошлёт на месячные курсы трактористов. Погоняешь три года «Кировец» по полям, землю полюбишь. В соцсоревновании всех победишь. Ты ж инженер! У тебя получится. А чё! Я тут не последний на пахоте. Сейчас вон целину подымаю за городом. Новые поля будут. Под  ячмень и просо.

      Внезапно пыль осела и мотор выключился. Я глянул сверху в сторону. Мы стояли возле деревянного, крашеного темно-синим цветом дома с палисадником, вокруг которого как заводные игрушки вразвалку, но шустро бродили куры, кланяясь без остановки всему, что можно было клюнуть. Это мы приехали к тётке Наташке завтракать.

      Сама тётка как раз поливала лимоны, которых на каждом окне было по два. Лимоны в маленьких кадках стояли на столе, на тумбочках, на комоде и даже на полу. Кроме лимонов в комнате сразу, как только мы в неё вошли,  полоснули по глазам пестрые, яркие, абстрактные вышивки какими-то необычными петлями. Они были толще и тоньше, уже и шире, длиннее и короче. И всё это составляло не рисунок, не орнамент или узор, а именно картину без сюжета, но с претензией на кубизм. Он уже был в моде. Всё, что в доме состояло из ткани, тётка Наташка расшила петлями. Подушки, салфетки, одеяла, занавески, хозяйственные полотенца и тёткин фартук были вышиты живописными квадратами, ромбами, кругами, треугольниками не сочетаемых цветов. Даже три иконы в красном углу были  прикрыты с боков белыми  полотнищами из блестящего белого плиса, расшитого  нитками скромных, но всё же броских тонов. Такого я не видел больше нигде и никогда.

      Сама тётка Наташка, пухлая краснощёкая, рыжая как лиса дама, которой, по внешнему виду судя, жутко не желалось выглядеть на свои сорок с  хвостом. А хвост рос безжалостно быстро.  Поэтому она была в блузке с серьёзным декольте. Блузка имела сумасшедший  оранжевый цвет, и категорически противоречила узкой зеленой юбке с вышивками в неожиданных местах. Под глазами она нарисовала жуткие синие тени, похожие на фингалы  после большой драки, а также  покрыла надутые здоровьем губы перламутровой  фиолетовой помадой. В целом она была похожа на клоунессу из безвылазно гастролирующего  цирка шапито.

        Какая-то идиотка, скорее всего подружка, насоветовала ей вот этот способ удержать сбегающую молодость. И сама, наверное, выглядела ещё страшнее. Но во всём остальном тётка Наташка никому не подражала и оказалась отличной  собеседницей, прекрасным поваром и человеком с тонким чувством юмора. Я провел у неё замечательных два часа, наелся дня на три вперед и нахохотался от её добродушных и действительно смешных шуток так плотно, что на время даже забыл, что я не долгожданный гость, а человек без паспорта, по горло увязший в проблеме скитальческого бытия.

      –  Спасибочки за хлеб да соль, Наталья Викторовна!  – Лёха полез в карман рубахи,  достал три рубля, пришлепнул их к столу и поднялся, потянулся.  -Сейчас бы прикорнуть часика на полтора, но не поймут на работе. Поехали мы.

      –  А ты что-о, тооже на тракто-ориста учишься?  – фиолетовые теткины губы растянулись аж до красных щёк, когда она перевела взгляд с трёх рублей на меня.  – Чтоо-то-о не поохо-оже.

      –  Стасик- корреспондент из Нижнего, из «Ленинской смены». Командирован на неделю по райцентрам со спец.заданиями. Хошь, он возьмет, да и про тебя напишет!  – Леха захихикал, прикрыв рот ладошкой, и мне с чертенком в глазу подмигнул.

      –  Ехай, давай!  – тетка Наташка невесело усмехнулась и развернула Лёху к двери передом, к себе задом. Подтолкнула его в спину и закашлялась.  – Проо меня не напечатают. У нас в стране таких по-оганых жизней, как у меня была ишшо-о пять лет назад, не должноо быть, не бывает и нету! У нас все счастливы, живём все радостно-о и идем к светло-ому будущему, аж  бегоом ноги лоомаем!

      Вышли во двор. Ехать с Лёхой на поле мне не  хотелось. Он это тоже понял и дал руку.

      –  Ну, давай. Вечером приходи. У  нас заночуешь.  Ты куда сейчас?

      –  Да не знаю. Пойду просто похожу, посмотрю.

      Следом вышла тётка Наташка, остановилась на крыльце и от её клоунского наряда и двор, и  утро стали смешными и яркими.

      –  Ты во-он поойди вниз по-о улице, раз время надоо убить, спустись доо ко-онца . Там поово-ороот направоо. Иди, гляди на правую стооро-ону. Увидишь красный до-ом из кирпича. Крыша синяя, забоор и палисадник ещё краснее доома. Во-от туда, в во-ороота по-остучи. Выйдет мужик лысый. Звать его Максим Михалыч. Поопро-осись к нему двоор и доом внутри по-осмоотреть. Скажи, коорреспондент ты. Пустит. Оон  хо-орооший. А ты такоого нигде бо-ольше не увидишь. И но-очевать приходи, если не найдешь- где ещё.

      Она развернулась и, крутнув молодецки бедрами, скрылась во тьме сеней.

      –  Она раньше пила по черному.  –  прошептал Лёха.– Начала после одной беды. То есть, с горя что ли. Она на молочном заводе работала. А там все приворовывают, молоко таскают, да продают подешевле. Ну и она туда же. Вырыли они с бабами дыру под забором подальше от окон. Ну и каждый вечер по фляге туда проталкивали. А там ждал механик заводской на «Иже» с  люлькой. Ну, на пятой  фляге их отловили сторожа. Наташку уволили и ещё одну.

      А Павлово – деревня. С виду только –  вроде городка. На работу её уже никто не берёт. Никуда. Наташка, значит, помыкалась с полгода, искала куда пристроиться. А потом где-то познакомилась с дурой одной. Померла она в том году. И та её пристрастила хлебать пойло разное. Муж Натахин, тёзка мой, смотрел на это, оттягивал её как мог, уговаривал бросить. Она вроде пообещает ему, что всё, конец. Потом по новой. Ну, он через полгода и уехал из Павлово. Куда – неизвестно. И с концами. А ей тогда 35 годков было-то всего.

        Вот после  Лёшкиного побега она совсем с башкой рассталась. Так наедалась самогоном, что в чужих дворах спала, до дому не доползала. У неё дом стал как притон. Мне тут местные рассказывали. Жрали с толпой доходяг эту пакость ведрами, песни орали, морды квасили  друг другу и как-то сарай подожгли по беспамятству. Ну, приехали пожарные, милиция. На Наташку протокол написали. А через неделю к ней  скорая помощь подогнали, милиционеры, наверное, да отвезли её в Нижний, в спецбольницу для алкашей. Месяц чего-то ей кололи и потом вшили «торпеду» в  спину и сказали: капля в рот – ты сразу в гроб.

        И ты представляешь – дошли слова-то. С того дня – ни капли. Дом по новой отскоблила-покрасила-помыла, лимоны завела, вышивать стала, петь ходит в клуб, в кружок вокала. Замуж пытается выскочить, молодость тужится вернуть. Сам же видел? А ей уже  сорок шесть в ноябре щёлкнет. И пока не получается ни замуж, ни помолодеть. Краской  на волосах да на морде, ну и кофтами попугайскими, из которых титьки высовываются, молодость обратно не заманишь. И мужика нормального не затянешь. Да нормальные,  они все с женами да детишками. Несчастная баба. Жалко её. Летом огурцы и морковку вырастит и продает. А чего с них, с огурцов, деньги что ли? Ну, вот я ей плачу за квартиру и за еду. Ничего. Уже полегче ей…

      –  Так это ты и за меня заплатил сейчас?  – перебил я.

      –  Ну, а как? Нас же двое.  – Лёха посмотрел на часы.  – Ехать надо. Пора.

      –  А мне тебе отдать нечего. Ни копейки нет. Карман подрезали на катере в первый же день.

      Лёха покрутил пальцем у виска

        -Лучше бы я тебя утром переехал.  –  он  уже шел к трактору и почти  правильно свистел мелодию Битлов «Yesterday».

      Красный дом с синей крышей я нашел, считай, мгновенно в связи с ускоренным спуском с холма. Во время которого, между прочим, успевал замечать удивительные, аккуратные домики с точеными орнаментами и резными инкрустациями в ставни и  под крыши. И в каждом окне росли лимоны, лимоны и лимоны, от которых к концу пробега в глазах моих прыгали ещё минут пять золотисто-желтые круги.

      Лысый Максим Михайлович в майке цвета сочинского загара и в голубых парусиновых штанах сидел на лавочке у ворот и  читал газету «Труд» с  удивленным выражением на довольно красивом  суровым мужском лице.

      Я поздоровался, сказал кто я, откуда и зачем пришел к нему в гости. Не отрывая глаз от удивившего его текста, Максим Михалыч подвинулся на скамейке, что означало: садись, подожди. Сейчас дочитаю. Я сел и тоже заглянул в газету. Там выделялся  крупный заголовок «Французские фермеры хотят купить пятьсот гектаров земли в Вологодской области». Статья под этим заголовком  удивила Михалыча так сильно, что он уже и не читал, а просто  уставился в то место, где была статья и, похоже, пытался избавиться от удивления.

      –  Да ктоо ж им про-одаст землю, дуракам!  – подвел он итог чтения.– У нас не проодается земля. Оона го-осударственная. Воот дураки-тоо. Землю вздумали по-окупать. Билеты воон по-окупай и чеши обратно-о. К женам французкам. И делай там сыр, лягушек вари, виноо делай. Тьфу ты.  – Михалыч отложил газету и протянул мне руку:  – Максим Михалыч я. А ты?

      –  Я Станислав. Из Нижегородской газеты корреспондент. Хочу вот посмотреть ваш дом и двор.

      –  Этоо запросто-о!  – с пафосом сказал Максим Михалыч и здоровенной  рукой, не отрывая зад от скамейки, распахнул калитку.– Воон дво-ор. Иди смоотри по-ока. А я тут до-очитаю и тооже приду.

      Я переступил порожек калитки и замер от фантастического видения.

      С левой руки по кругу в правую сторону  двор был заселён кадушками и кадушечками с лимонами и юными лимончиками. Стоял этот почетный караул в три яруса. Самые большие укрепились на земле. За ними на скамейках невысоких были  кусты не такие могучие, а ещё дальше ряд – на скамейках с длинными ножками  –  уплотнен  был начинающими лимонами. Пацанами.  Нет, с почетным караулом я погорячился. Лимоны, стоящие в три ряда друг за другом были больше похожи на хор. Церковный, или имени Пятницкого, а может самодеятельный из клуба, но напоминали они стройный хор. И на мгновение я даже с испугом представил, что сейчас они запоют. Ну, там, скажем, приблатненную песенку «Лимончики». Но, слава богу, они мирно паслись прямо  под тёплым небом, раскинувшись в разные стороны ветками, усыпанными желтыми, похожими формой на куриные и утиные яйца, лимонами. Они честно тянули срок отсидки под голубым небом, впитывали в себя солнце, толстели и  усердно вырабатывали  хлорофилл.

      Сзади, сворачивая на ходу газету вчетверо и тяжело топая по земле отечественными страшными плетенками, подкрался Максим Михалыч.

      –  Такоое  видал ко-огда нибудь где-нибудь?  – засмеялся он хрипло и громко. Слова, смех и хрипотца от беспрерывного, видимо, курения, все вместе произвели над моим ухом эффект громового раската. Голос у Михалыча был на два тона ниже, чем обычный мужской,  и он вполне мог бы петь басовые партии в опере или в церкви. Но он разводил лимоны. Причем во дворе купалась в солнечной погоде всего, наверное, треть его  богатства. Потому как в доме все два этажа были забиты этими замечательными растениями от пола до потолка. Ходить там было негде. Просто невозможно. Мебели никакой Михалыч не держал. За лесом раскидистых кустов с плодами и без них фрагментами проглядывалось что-то, напоминающее кровать. Не было даже стола. Вернее стол был, но на нем по всей площади росли в горшках молодые лимоны.

      -Ну?– прогромыхал Михалыч.– Чего не фо-отоографируешь, ко-орреспоондент? Давай по шустрому. Я тебе потом ещё два чуда покажу!

      –  Вон там что, кровать?  – Я достал свой «Зенит TTL» из портфеля. С футляра на пол ссыпалась почти горсть  мельчайших крошек от пряника.

      –  А мне на по-олу надо-о спать?  – страшным басом заржал Михалыч.– Кровать, а то что же ещё. Спать хоожу по-олзкоом по-од нижними ветками. Поока про-олезаю. Хотя, гадость такая, уже стоо десять кило-о воо мне. Старею по-отому чтоо. Споорт бро-осил десять лет тоому назад. Гиревик я был уважаемый тут. О-область выигрывал раз пятнадцать. На Со-оюзных выступал. Где-тоо есть по-од крооватью в чемо-одане медаль броонзо-овая.

      -У меня тоже есть шесть штук медалей за областные и республиканские соревнования. Одна золотая, остальные серебряные. Я легкоатлет. Первый разряд А уже семь лет карате ещё занимаюсь. В армии начал.

        Я так увлеченно расхвастался, что перестал фотографировать.

      Михалыч посмотрел на меня как на любимый куст лимона и прогудел что-то про то, как он уважает спортсменов, спорт вообще и меня в частности за мои успехи, а ещё минут десять его могучий голос произносил оды всем видам спорта. Не назвал  он только шахматы.

      На этой теме мы с ним душевно срослись и укрепились в добрых чувствах друг к другу. И он повел меня в другую комнату, в свою святая-святых: в  лабораторию селекционера, показывать первое чудо. В светлой комнате на окнах, на полу и на стенах располагались разнокалиберные аквариумы, на четверть заполненные цветной желто-зеленой жидкостью. Как он прикрепил аквариумы к стене, я даже спрашивать не стал, поскольку после часа, проведенного в его доме, я понимал уже, что Михалыч может всё. Как старик Хоттабыч.

      Аквариумы были забиты под завязку веточками лимонов с маленькими, только просыпающимися листиками.

      –  Ни фига себе!  – выскочили из меня восторженные слова, которые на практике обозначают сразу много чувств: удивления, восхищения, потрясения и похожих других.

      –  Воот моя жизнь. Оона тут. В о-одну коомнату вмещается вместе с черенками.

      –  Зачем черенки, когда готовых лимонов девать некуда?  – Я вытащил осторожно, как живое, хрупкое маленькое существо, тонкий прутик с десятью крошечными листиками, только что проломившими почку.

      –  Воот о-они меня коормят. О-они мне дают деньги на эксперименты и выведение ноовых со-ортов. У которых и здоровье получше и урожаи побольше.  – Михалыч бережно забрал у меня черенок и аккуратно вставил его обратно в общую массу.  – Я проодаю их туристам со-о всей страны, зарубежным гоостям и целым о-организациям. В Сибири моои лимоны о-от этих черенков живут. На Кавказе, где и сво-оих полноо, мои лимо-ончики боольше любят. В Туркмении мо-оих мно-огоо, у узбеков, да воон в Мо-оскве самоой поочти миллио-он черенкоов мо-оих лимо-онами стали, а в Нижнем во-ообще не соосчитать.

      Потом он рассказывал громко, сотрясая голосом жидкость-подкормку в аквариумах о том, что мечтает по всему миру павловские лимоны распустить, потому как они несравненны с любыми другими и расти будут везде. Хоть за полярным кругом. Он размахивал руками, бегал от аквариума к аквариуму, доставал и показывал разные черенки от разных сортов лимонов. Попутно он очень радовался тому, что Павлово уже стал лимонным брендом в СССР, а не только кузнечным и самоварным, ножевым и замковым. И очень благодарил того неизвестного, забытого теперь по имени купца-турка, который  ещё в 1860 году привез и подарил павловцам каких -то пять-десять черенков. С них и началось всеобщее помешательство всех без исключения павловцев на этих экзотических фруктах.

      Выдохнув после изматывающей энергичной речи, Михалыч вытер рукавом вспотевшую лысину, закурил, закашлялся, сел на корточки и сказал, гулко и сипло:

      –  Ну, тут всё! Этоо ты увидел, поонял и запо-омнил. А теперь поойдем во-о дво-ор сноова. По-окажу чудоо но-омер два.

      За хоровым строем дворовых лимонов он установил синий забор из штакетника. Забор тянулся от калитки метров на тридцать влево и вправо на пятьдесят примерно. Через дырки в штакетнике были видны низкие кусты синего же цвета. Как сам забор. Когда мы зашли в калитку, я остановился, будто меня прибили к земле большими гвоздями. Я увидел реальное чудо. Примерно тысяча кустов были синими от продолговатых небольших ягод. Точнее даже – сами ягоды были  не синими, а тёмно-голубыми с сизым  налётом. Они облепили кусты как маленькие летучие мыши любимую стенку в пещере. Руку невозможно было просунуть до главного  ствола, чтобы не задеть десятка три ягод.

      –  Что это?  – проглотив слюну, выдавленную вкусным  видом всего ягодного изобилия, сказал я чужим, по-моему, голосом.

      –  Татарская жимо-олость!  – Максим Михалыч гордо поднял к небу указательный палец.  – Местноое чудо-о-ягоода. Нет боольше ни у ко-ого. Тоолько-о у меня. Проодаю даже за границу. Ну и своои разбирают по-о десятку килоограммов. По-о ведру минимум. Нижего-ороодские берут, моосквичи приезжают с десятко-ом ящикоов в багажниках. Поойди, со-орви, попро-обуй. Рассказывать потом будешь народу. Про меня гоово-ори: где живу, как найти. Пропаганду делай мне.

      Я забылся в кустах минут на двадцать. Съел килограмма два, не меньше. И оторваться сил не было. И совесть куда-то канула, как и не было её никогда.

      Вышел я из зарослей  жимолости татарской с голубыми губами и пальцами.

      Михалыч ещё полчаса рассказывал о том, как выгодно выращивать сразу илимоны, и черенки, и жимолость. Мы в конце встречи долго прощались, трясли по-мужски мощно руки, похлопывали друг друга по плечу и обнимались.

      –  Воозьмешь черенка три?– спросил он – Я тебе так дам, бесплатноо. По-одарю.

      Я, конечно, вежливо отказался. Куда мне с черенками деваться? Как их сохранить? Где я буду завтра и что подкинет мне новый виток забега по замкнутому пока  кругу, не было ясности и даже расплывчатых предположений.

      Через час я, пахнущий ароматом ягоды и цитрусами, уже сидел на обрыве выше Оки, на том же месте, где вчера лег спать. Я бросил портфель рядом на траву, свесил ноги с обрыва и разглядывал мелких человечков, копавшихся на берегу возле лодок, изучал хлипкие строения из досок и фанеры, поставленные чуть выше, воды и ждал. Чего ждал, не знаю. Сидел я так минут десять, не больше. До тех пор, пока один из плохо различимых человечков не замахал руками, не засвистел и не закричал, перешибая голосом громкий шелест бегущей большой воды:  – Эй! Там, наверху! Чего сидишь? Спускайся!

      Я стал спускаться, потом вернулся, взял забытый портфель и побежал в то место, откуда меня позвали.

      Кто позвал, зачем и что будет дальше знал, видно, один только Господь Бог, в которого я тогда еще не верил, но чьей воле не имел сил сопротивляться. Оставляя за собой шлейф песка и пыли я бежал в объятья новых неизвестных и бесконечных приключений человека без денег и паспорта.

                          Глава седьмая

      Пыль с мелкими камушками и влажным песком долетели до встречающих меня внизу рабочих намного раньше, чем из порошка пыли и песчаного занавеса обозначился я сам. Поэтому на подлете к мужикам я с минуту слушал однотипные, чтимые в народе матюги, общий смысл которых означал:  – Ну, ты, парень, почему так неаккуратно спускаешься!? Вон, полные рты и глаза у нас пыли твоей. Маме твоей мы бы передали, что у неё не в ту сторону воспитанный сын! Ради какого удовольствия ты несёшься, словно дикий мустанг?

      Реальный текст я передать здесь не могу. Мама всё же воспитала меня правильно и научила  фольклорную мужскую лексику прилюдно не использовать и, тем более, не оскорблять ею речь письменную, литературную. Когда на берег упала последняя песчинка и сдуло вбок навязчивую пыль, я увидел  шестерых мужиков, которые протягивали мне  черные от какого-то дела ладони. Я интуитивно ждал летящих в лицо кулаков и держал руки с портфелем перед собой. Портфель закрывал лицо и пробить его через пряники двухнедельной спелости было пустой тратой времени и сил.

      –  А человек-то где?  – заржали все шестеро и пригнули портфель с моими напряженными руками ниже пупа – А туточки! А вот, ядрена мать,  человек-то! Ты кто, красавец? И чего второй день торчишь тут  наверху как хрен в огороде? Не шпион? Не из ОБХСС, нет?

      –  Наиль,  – первым подал ладонь огромный молодой парень, похожий на метателя молота и Илью Муромца одновременно.– Из Казани.

      –  Грыцько я,  – длинный жилистый мужик лет сорока пожал мне руку напоказ крепко. Если бы я закрыл глаза, то мне показалось бы, что на руку наступил слон. Я глаз не закрыл, а тоже  сдавил его пальцы и ладонь всей моей силой, вынутой на мгновение из прошлых девятнадцати лет занятий спортом. Грыцько слегка побледнел, после чего сбросил хватку и потряс руку аккуратно, дружески.  – Ото ж ты к нам на хвылину прийшов, чи шо? Мову-то разумеешь?

      –  Да, всё понимаю.  – Я поставил портфель рядом и  поздоровался за руку с остальными. Один был плотный, маленький, мощный, с выпуклой грудью и квадратным лицом. Назвался Евгением из Ярославля.

      Четвертый, с желтоватым лицом больного желтухой был из Таджикистана. Имя он носил, противоречащее внешности – Пахлавон. Богатырь, значит. У нас в ВКШ был Пахлавон. Худой, маленький, с редкими как у кота, усами и такой же бородкой. Этот Пахлавон был практически такой же, только без усов, но с плотной, великоватой для его лица черно-рыжей бородой. Видно, родились недоношенными оба и родители вложили через имя в них свою мечту – вырастить своего сына богатырём.

      Пятого мужичка, которому уже явно было даже не пятьдесят, звали Анатолием. Он попросил, чтобы я называл его Толяном, как все здесь. Наверное, через  имя Толян, он ощущал растрепавшуюся о жизнь, но не забытую пока молодость. Рукопожатие у него было быстрым, твердым и коротким.

        Последний, шестой работяга выглядел приятно, даже аристократизмом веяло от него. Тонкие пальцы, тонкий рот, изящные движения, как у танцора -примы из Большого. Руку он подал так, как дают подержать драгоценный камень карат в пять минимум. Он раскрыл её от локтя и свесил плетью, распустив подрагивающие пальцы. Я осторожно и бережно поздоровался с ним и спросил как его зовут.

        -Дмитрий Алексеевич, композитор крупных форм. Симфоний и многих вариационных опусов. Сейчас пока прозябаю в творческом застое. Так сказать, в кризисе вдохновения.

      Я уважительно слегка поклонился, отпустил его руку и сделал шаг назад. От Дмитрия Алексеевича несло стремительно развивающимся перегаром  какого-то ядовитого напитка типа тормозной жидкости. Глаза его, потушенные похмельем, были печальны и тусклы. Понятно было, что муза, как и жена, развелась с ним минимум десяток лет назад. Наверняка он помнил нотный стан и скрипичный ключ, но что с ними надо делать, беспрерывное общение с разнообразной бормотухой помогло забыть насовсем уже давно, безнадёжно и безвозвратно.

      Ну, поздоровались. Надо же было что-то и дальше делать. Говорить, например. Они молчали и глядели на меня одинаково. Вопросительно глядели. То есть от меня автоматически должно было прозвучать обоснование моего настырного двухдневного желания спуститься к ним.

      Я опустился на корточки. Открыл портфель, достал сначала пряник, большой как книжка, и подал его Евгению, мощному коротышу. Он стоял ко мне ближе. Евгений за пять секунд разделил пальцами толстый и поживший в портфеле неделю пряник на семь одинаковых фрагментов. Сделал он это без малейших усилий и раздумий. Просто порвал пряник как лист папиросной бумаги, да такими одинаковыми кусочками, что я просто оторопел. Никогда такого не видел. Сила – силой, это одно.  Понятное дело – сила. А как получились равные куски?

      Пока я стирал с лица своего глуповатое выражение, Евгений раздал  разорванные дольки всем. И мне тоже.

      -Нет, мне-то зачем?  – я улыбнулся и протянул свой кусочек обратно.  – Я их уже четыре штуки съел. Целых.

      –  Брат, не знаю пока как тебя зовут,  – Евгений прихватил мою ладонь и мягко вложил в неё мою долю,  – но ты имей для себя в памяти. Тут всё у нас одно на всех и всегда всем выпадает поровну. Ты ж теперь, если я не путаю, с нами? Ты ж здесь не за тем, чтобы спросить про наше здоровье? Потому, что ты не доктор. Докторов я много видел всяких. Ты, наверное, спортсмен, судя по виду. Получил травму. Выступать и даже тренироваться тоже не можешь, а больше, как почти все спортсмены, делать ничего не умеешь. Теперь ищешь работу временную. Перебиться в тяжелое время. А искать попутно будешь постоянную. Так?

      Ну, тогда я стал рассказывать им всю мою историю,  начиная с окончания Высшей Комсомольской Школы и кончая трактористом Лёхой, который и посоветовал мне попроситься в команду ватага Музафарова. Слушали мужики меня без эмоций, молча, не перебивая. Наиль сел на нос одной из лодок, привязанных своими цепями и толстыми веревками к одному швартовочному канату. Канат был петлей накинут на железный кол, вбитый в берег.

      В конце моего душещипательного, как я считал, повествования, Наиль зевнул и достал из-под лавки свернутый матрац, раскинул его через две скамейки от носа к корме и каким-то хитрым способом, не проваливаясь, лег на него и закрыл глаза. Грыцько снял брюки, рубаху, кеды, расстелил брюки на песке, сверху уложил рубашку и на неё кеды. Потом свернул всё это в рулон. Получилась подушка. Её он аккуратно пристроил к большому камню  метрах в двух от воды и уложил на неё голову. Туловище, на котором остались только майка, длинные черные трусы и носки, Грыцько бережно уронил на песок и повернулся на бок лицом ко мне.

        Композитор Дмитрий Алексеевич слушал мою навороченную событиями историю с приоткрытым ртом и нервно тер тремя пальцами отворот своего старого, бесцветного от постоянно жгущего солнца пиджака. Толян, единственный, задумчиво слушал, но глядел мимо меня на темнеющую воду Оки и жевал губами в моменты самых печальных моих интонаций. Евгений лег на живот, локоть воткнул в песок, а на кулак поставил подбородок. Он глядел на меня так, будто смотрел фантастический фильм про инопланетян, изредка вставляя между моими словами тихий многозначительный комментарий:  – «Во, мля!»

      Но по выражению лица его было понятно, что похождения мои его не потрясли. Скорее, он комментировал их из вежливости. И только таджик Пахлавон ловил каждое слово, из которых понимал, может, половину. Но слушал он, кивая невпопад головой и потирая ладони, чем и обозначал свой интерес к моему забавному отрезку жизни.

        Когда я закончил, богатырь Наиль уже давно храпел в лодке громче, чем волна, бившая гребнем борт. Композитор сказал многозначительное: «Бывает так. А бывает и хуже». И пошел подальше от берега. В кусты.

      –  Тебе надо бугра дождаться. Он подъедет скоро. Зови его только Ватаг. И всё вот это же повтори, что нам сейчас говорил.  – Евгений поднялся, сделал несколько приседаний, разделся догола, заскочил с разбега в пустую лодку и прыгнул вниз головой под волну.

      –  Всегда купается на ночь – засмеялся Толян.  – Я ему сколько уже талдычил, что потонет когда-нибудь. Всё равно ныряет. Здоровье, говорит, требует воды. А вода несет его, здоровье хорошее, вон оттуда. Толян показал влево, откуда  лилась Ока, в  наступающую темноту.

      Наверху, на дороге, ведущей к мастерским на берегу, заскрипел, затрещал всеми деталями, явно не новый мотоцикл. Он протарахтел над нашими головами и звуки скрипа и щелчки  выхлопной трубы стали глуше и дальше.

      –  Бугор едет.– Евгений начал сложными телодвижениями вынимать себя из воды. По опробованной, видно, не раз дуге, навстречу волне и одновременно навстречу берегу он легко вышел из течения на берег и, ничем не вытершись, оделся.  – Да, Музафаров едет. Чего привезет, интересно? А ты, Станислав, всё ему повтори, но скажи, что просишься на месяц. Чтобы взять денег тут. На дорогу до… Как его? А, до Кустаная. И не забудь, зови его только ватагом. Понял?

      –  Спасибо, понял.  – Я почему-то взял машинально портфель.  – А он сам подойдет, или мне идти?

      –  Подойдет, конечно,  – снова засмеялся Грыцько.  – Он же папиросы привез. Тушенку. Хлеб. Бугор же он! Значит должен рабсилу кормить и травить никотином.

      –  А водку он вам тоже возит?  – Я поправил на себе майку-лапшу и брюки, пятернёй пригладил волосы, но вечерний бриз вернул прическу в привычное уже неказистое состояние.

      –  Водку, кто хочет, сам ходит брать. В Павлово. Да у нас тут и не пьет никто. Некогда, да и работать потом замучаешься. Ну, а  ещё просто денег жалко. И так копейки  дают.  – Толян заправил рубаху в штаны, равномерно распушил её вокруг талии и  ехидно  глянул в сторону удалившегося в кусты надолго композитора.  – Ему одному не жалко. Ни денег, ни себя. Иногда так колотит его, бедолагу, с бодуна, что ползком ползает или лежит и зовет Господа Бога, чтобы прибрал его к себе. Не слышит, видать, его Боженька. А и слышит, так не берет. На хрена ему такой доходяга? Он там весь ад заблюёт и всех чертей споит, прости господи  за упоминание чёрта.

      Тут из сумерек как привидение во всем белом и с белым мешком прорисовался сквозь мрак и вскоре истинно не пришел, а именно предстал пред нами, заблудшими, бугор. Ватаг. Начальник и наместник Бога на этом участке Оки. Камиль Музафаров. Однако, никто из бригады в строй не построился, честь не отдал бугру и оду ему не спел. Все как валялись на песке, так и остались. Один Пахлавон мелким шагом, слегка согнувшись, прислонил ладони к груди и просеменил до подножия начальства. Музафаров,  не глядя на таджика, разжал руку и мешок полетел в песок. Но со стороны мне казалось, что действие шло в рапиде, то есть в замедленном режиме. И мешок падал как  большой кусок тополиного пуха, невесомо и долго. А Пахлавон без особых усилий, так же протяжно отправил к вершине мешка свою слабую руку и не дал мешку коснуться песка. Это всколыхнуло во мне приступ тайного восторга, которого, естественно, никто не заметил.

      Таджик, семеня пореже, приволок на весу мешок к Евгению и аккуратно поставил его рядом.

      –  Там двадцать пачек «Севера», десять пачек чая, хлеба шесть буханок, тушенки двенадцать штук, лимонад «Крем-сода», бумага, конверты, три ручки, две колоды карт и брезентовых перчаток шесть пар.  – Бугор достал из кармана белого пиджака свернутый в четыре раза белый шелковый платок,

      Развернул его и аккуратно разместил на песке. Сел на платок и спросил с улыбкой:  – Как, доходяги, дела? Смертельные случаи есть? Нету. Хорошо.  Лодки Петровского и Моторина просмолили? Катер с того берега    «Быстрый» покрасили выше ватерлинии? Гудрона девять бочек спустили сверху, которые асфальтный цех привез? Ну и последнее. Моторку егеря покрасили желтым нитролаком?

      –  Всё как по заказу, ватаг,  – встал с песка Толян.  – В лучшем виде  заделали всё задание. И к тому вдобавок ещё один нужник поставили из тех досок, какими катер с того берега расплатился за покраску.

      –  Нужник – оно надо всем,  – похвалил ватаг, закуривая.  – Ну, а, скажем, лодку Петровского на два раза прошли гудроном, как я просил?

      –  Она у Петровского из бумаги что ли сделана?  – с вопросительной интонацией сказал Евгений, но получилось утвердительно. Мы её четыре раза прошли, Последний раз не факелом, а по холодному шпателем. Года три он на ней теперь походит. Но потом она у него сдохнет все равно. Дай бог, чтоб не на середине реки.

      Доклад Музафарова удовлетворил. Он докурил папиросу. Замял её каблуком бежевой сандалеты между камешками в песке, поднялся со скрипом. Остеохондроз, похоже, в коленях имел. Потянулся, подняв руки, прогнулся назад поясницей и выпрямился. Меня он увидел сразу, когда пришел, но вел себя так, будто меня не было. Он отряхнул брюки, хотя на них и пылинки не висело, постучал одной сандалетой о другую, ту же не существующую пыль сбивал, и сказал задумчиво:  – На эту неделю вам почетное задание вышло. Подгонят вам послезавтра речной трамвайчик. Это машина председателя профкома с «ПАЗика». У посуды этой  трещина  по левому борту. Зацепил под берегом свежую корягу. А шел под десять узлов. Продрал как щеку бритвой. Надо по уму сделать, со шпаклей, потом клеем яхтовым, потом грунтанёте и краску такую же, как на всем трамвайчике – на два слоя валиком. Краску завезут они сами. А яхтовый клей Морозов  завтра закинет. Четыре трехлитровых бадейки.

      И он уже повернул половину себя в обратную сторону, туда, откуда возник. В темноту. И вот только тогда Евгений равнодушным тоном, нехотя так,  как будто  только что вспомнил, лениво произнёс:

      –  Ватаг, у нас тут новенький приблудился. На месяц – поработать. Копейку сбить у нас по-трудовому. Паспорта нет. Домой добирается. В Казахстан. После учёбы он. Поехал из Москвы в Нижний устраиваться в редакцию.  Он корреспондент. Ну, а по дорогам тут помотался и передумал в Нижнем работать. Домой хочет. А денег нет. Подмогнем парню? Месяц повкалывает – так всем и легче будет.

      Ватаг  повернулся спиной, пошел тихо в темноту и спросил по пути:– Звать как?

      –  Станислав.

      -Поляк, что ли?

      –  Поляк. По матери.

      –  Ну, пойди ко мне, поляк по матери. Станислав.

      И он утонул, растворился в густой темной прохладе позднего вечера. Я поднялся и быстро пошел на шорох сандалет и удалявшееся шумное дыхание полного, большого ранга человека, Предводителя биндюжников, бурлаков и беглых нарушителей советских законов и коммунистической морали. Метров через тридцать я его догнал. Музафаров остановился и, не поворачивая головы, спросил тихо:  – Грехи есть за тобой? Украл чего или пришлёпнул кого? Паспорт, конечно, украли? Напился, а паспорт выдернули вместе с лопатником?

      Пришлось опять всё рассказывать .Коротко и схематично. Без эмоций.

      –  Не врешь. Слышу.  – Ватаг посопел с минутку и так же тихо, едва слышно  сделал заключение:  – Много тебе не заплачу. Паспорта нет, значит, и денег меньше будет. Но доехать до какого города, говоришь?

      –  До Кустаная, ватаг.

      Доехать денег дам в обрез. Но дам. Через месяц. А пока иди к пацанам. Скажи, ватаг тебя принял. Ну, давай, спать иди. Отдохни. Завтра краску будете спускать в бочках с берега. Женьке, заму моему, скажи, что пайки пока на тебя нет. Кто ж знал? Пусть со своих кормят.

      И он ушел, не попрощавшись.

      –  Наверное, родственники есть в Англии,  – хмыкнул я и счастливый пошел назад, на шесть мерцающих папиросных огоньков. В новую пошел жизнь.

                          Глава восьмая

      Пока в гулких от близких волн сумерках я вымаливал у бугра хоть какую, но таки зарплату за неведомый пока труд, пока мы таинственно, не видя толком друг друга, обозначали и утверждали громким шепотом мою судьбу на ближайший месяц, прошло минут десять от силы. И когда, одухотворенный живой надеждой, я  шустро шел обратно на папиросные маячки, как раз посредине тускло тлеющих огарков «Севера» вспыхнул внезапно большой огонь. С пламенным гребнем и треском торопливо горящих досок от ящиков и сухих веток прибрежного кустарника. Тут же долетел до носа и  удушливый запах солярки, с помощью которой  мужики, по-моему, втрое ускоряли процесс приготовления лучшего и полезного за весь вечер мероприятия – ужина.

      Я сел у костра рядом с композитором, который в связи с былой интеллигентностью и прошлым общением с высоким, изящным, а потому недоступным простым обывателям искусством, не допускался ватагой до такой банальщины, как смешивание тушенки с макаронами в копченом солярой  чане.

        Ему позволялось опуститься только до нарезки ломтей черного хлеба, но не более. Композитор пилил хлеб  увесистым точёным тесаком как струны скрипки смычком – нежно, но со страстью. При этом глаза его уже освободились от печали и руки не подрагивали похмельным тремором. Пахло от него и хлебом, и сладковатым едким спиртным. Наверное, национальным русским пойлом – бражкой. Он был в приподнятом настроении и напевал что-то такое, чего не повторишь. Видимо, кусок арии из какой-нибудь недоступной простолюдинам оперы. Нож в его руке двигался не как попало, а строго в ритме напева. Хлеб он пилил самозабвенно и, вероятно, искромсал бы его весь, какой был в мешке. Но Грыцько его притормозил протяжным, как удар плетки, приказом:  – Геть витсиля! Годi! Богато годувати…

      Дмитрий Алексеевич, судя по выражению лица, украинского не знал. Но как музыкант прекрасно улавливал все варианты интонаций. Поэтому он мгновенно перестал и петь, и хлеб пилить. Наиль размешивал в чане тушенку и макароны огромной как-то отполированной палкой, похожей на обломок весла. Пахлавон на сером куске бархатистой, но твердой ткани аккуратно и медленно делил на одинаковые дольки помидоры и огурцы. Толян тонкой жердью ворошил угли под чаном, а Евгений на добротно сколоченном из свежих досок столе расставлял алюминиевые миски, деревянные ложки, фаянсовые блюдца для овощей и эмалированные кружки под чай.

      –  Я что могу поделать?  – спросил я у всех. И все по очереди сказали:  – Сиди пока. Успеешь ещё.

      Тогда я тихонько ткнул локтем в бок Дмитрия Алексеевича и спросил его о том, чего именно о нем не мог толком понять. Про остальных в общих чертах, без деталей, было всё почти ясно. А про него никак не мог догадаться: что могло забросить человека из мук творчества в муки рядового чернорабочего.

      –  Дмитрий Алексеевич, а вас-то какая беда на берег Оки заслала? Лодки латать, да весла чинить. Вы, по-моему, член Союза композиторов СССР, автор многих солидных произведений. Мне тут шепнули, что вы заслуженный деятель  искусств РСФСР. Вы что, убили какого-нибудь лажового валторниста из оркестра и теперь прячетесь?

      Композитор засмеялся. Он похлопал меня по плечу. Поднялся и, слегка виляя, пошел к столу, понес хлеб. Но перед этим постоял надо мной, глядя мне в глаза. Похоже, что в глазах моих он не увидел ничего плохого и прошептал.

      –  Давай поедим, потом отойдем в сторонку, постелим себе там, ляжем и я тебе, ладно, расскажу, что, как и почему. Пойдет?

      Я кивнул и задумался о том, из чего делать себе постель. Кроме портфеля, который годится только как подушка, у меня ничего не было. Ладно, лягу в брюках, да в майке. Тепло ночью пока.

      В этом месте я мысль развивать прекратил. Потому как Евгений позвал всех садиться ужинать. Сели. На меня была готова порция. Рядом с миской, из которой неповторимо пахло хорошей тушенкой, стояло блюдце с огурцами и помидорами, а рядом – хорошо заваренный чай в большой кружке. Посреди стола в  пустых банках от тушенки белели соль и сахар.  Ели молча и быстро. И после чая, когда Пахлавон с Толяном пошли мыть посуду в реке, композитор подошел, взял меня как ребенка за руку и повел вверх, к откосу. Под мышкой он держал два белых толстых свертка.

      –  Это постели. Тебе и мне,  – объяснил он.

      Не доходя до кручи, я почувствовал, что идем мы уже по траве.

      –  Тут и прикорнем,– композитор постелил себе, вместо подушки свернул в круглый комок простынь, лег и ещё одной простыней укрылся.  – Стели себе, чего ждешь?

      Я тоже разложил всё из второго свертка, под голову бросил портфель и лёг рядом с Дмитрием Алексеевичем.

      Тот молчал минут десять. Я уже начал дремать. И тогда композитор повернулся ко мне, поставил локоть в траву, а щёку на ладонь и выдохнул:                  – Ну, давай, слушай.

          Рассказ  Дмитрия Алексеевича, композитора, о своей судьбе-индейке.

      –  Вот чем от меня пахнет сейчас?  – композитор почесал ладонью щёку, после чего напрягся и выдохнул в мою сторону полкубометра аромата тушенки, огурцов и браги.  – Правильно, бражкой. Причем паршивой. Плохо делает бражку тётка Катерина. Хорошую изготавливает тётка Тимофеевна. Зовут как – не знаю. Но к ней далеко ходить. Причём, со своей посудой. А живет она аж за седьмым холмом. В яме. А к Катерине – тут рядом. Поднялся на откос – шестой дом направо. Через дорогу, считай. И бутылки дает полные.

      Потом сложу пустые-то вон под те кусты и обратно ей сдаю. Хорошо. Удобно. Но брага кислая, недодержанная. Спешит тётка, больше хочет денежек взять, причем поскорее. Жадная она. Иногда не доливает. Я говорю, что нечестно так. А она смеётся, дура, и умничает, что, мол, меньше выпьешь, ещё маленько поживешь.

        И к ней тут со всего берега ходят. Близко. Хоть и отрава полная эта  её бражка. На Нижегородской, в центре, там в трех домах самогон продают недорого. Но дороже браги. Да и ходить далеко. А самогон разве сравнишь с брагой? Нет, конечно. Самогон – продукт. А бражка – полуфабрикат. Я её и пью. И недорого, и сдохнешь быстрее. Вот как раз мне это и надо. Поскорее чтоб.

        Или отравиться ей насовсем, или по пьянке насмерть где-нибудь покалечиться. У нас тут таких мест – не пересчитаешь. Но кто-то жизнь мою бережет крепко. Ангелы уж больно усердные. С ними, пока они сами от меня не откажутся, на тот свет не сгинуть мне никак. А руки на  себя наложить – противно. Получится, что порадовал я врагов своих самостоятельно, от всей души. Будут в ладоши хлопать. А вот хрен вам, любезные! Даже два!! Верхний управляющий когда-нибудь, да заберет же к себе. Просто пока я в очереди. У него работы по приему и распределению по аду и раю новопреставленных уйма и так. Половина  пьяниц горьких, водкой насмерть забитых. Не до меня, значит, ещё. Я-то водку не пью. Дорого.

      А жить не хочу я. Притомился. И живу без надобности. Обманываю здесь окружающих, да и тех, кто меня по музыке помнит, что вроде бы живу. А я-то и не живу вовсе. Только кажется. И мне, и всем тут. А меня нет давно фактически. Я остался там, в Свердловске. Душа моя там. Комната с роялем. Полки с книгами и нотами. Знаешь сколько у меня симфоний? Ну, то есть, сколько я их написал? Одиннадцать! Я четыре оперы написал. Не канто одно, а клавиры целиком. Клавир не каждый распишет на сорок шесть инструментов. Нас таких в Свердловске было двое. Потом  тот, второй, помер неожиданно. На гастролях в Перми. Отдирижировал концерт памяти Шостаковича. А это два часа, как-никак. Пришел в гримерку, попросил администраторшу чай ему принести. Она приходит с чаем минут через пятнадцать. А он посреди  гримерки ничком свалился, и с концами, не дышал уже.

      Вот я тоже так хочу. Но после концерта, а не после того, как покрасил баржу.

      Но ситуация уже не та. Видно, помру всё же здесь я… Мне больно работать. Спина как панцирем скована. Не чувствую спины. Только  тяжесть на том месте, где она находится. Руки. Это руки? У музыканта могут быть такие руки? Грабли. Окостенели пальцы. Я сейчас на рояле септ аккорд не возьму. Да ни в какой аккорд, видать, чисто не попаду теперь. У меня мозоли на сгибах пальцев как горох поспевший. Почти камень. Не гнутся толком пальцы. Хорошо ещё, что я композитор и дирижер, а не пианист. Хотя тоже… Вроде композитор. Как будто. А шестой год не пишу ничего. Духа нет. Куража тоже. Силы  ушли ноты писать. Проще  лодку валиком раскрасить.

      Ноты я, слава богу, помню. И без инструмента могу втёмную музыку написать на бумаге. А нет тут нигде в Павлово нотной бумаги. Хотя, может, и есть. Не узнавал.

      У меня ещё шесть лет назад была жизнь. Мои вещи исполнялись по всему Союзу. На Всесоюзном радио большой ихний  главный оркестр симфонический, силантьевский, записал мою вещь девятиминутную. «  Дикое солнце » называется. Три части.  Вторая часть вообще с вокализом. Грузинка вокализ делала одна. Уже не помню как звали её…

      Был я на гастролях с нашим филармоническим оркестром в Италии, Венгрии, Болгарии. В Австрии, прямо в Вене был. Да… Где ещё? Сейчас Бог вернет память. А!! В Японии был. В Осаке. В Австралии… Ну ещё много где  путешествовал – не помню точно. Но Союз натурально весь объездил с дирижерской палочкой. Потом мне заслуженного дали. Деятеля  искусств. Нас в Свердловске четверо было заслуженных. Трое и сейчас там. Работают. Пишут. Хорошо пишут, кстати. Ну, насчет того как сейчас – не знаю. А тогда хорошо писали.

      У меня одиннадцать лауреатских дипломов за мои симфонии. Из них пять – зарубежные. У меня семь раз интервью брали для радио и телевидения, статьи в разных газетах про творчество моё выходили раза по четыре в год. Встречи со слушателями очень приятно провел в десяти консерваториях разных наших республик. Выступления всякие с рассказами о своём творческом пути проводил в лучших залах страны перед началом и после концертов моей музыки. Аплодировали, цветы кидали на сцену. Эх…

      Но, главное, как я в питьё втянулся – не пойму. Сижу, бывает, после работы на бережку. Вспоминаю. Не могу вспомнить, когда меня прихватила пьянка за горло прямо. Ну, банкеты. А чего особого – банкеты? Ну, рюмок десять за весь вечер хорошего коньяка. Все пили. Побольше меня, замечал я… Жена, Лидия, тоже ничего особенного не видела в этих банкетах. Со мной ходила всегда, если в Свердловске проводили.

      А потом однажды странность вышла такая. Позвали меня после одной репетиции к Большому человеку. Секретарю горкома нашего. По идеологии.

      Инструктор горкома на репетухе сидел. Вроде просто пришел. Послушать игру в будничной атмосфере. Потом, когда стали расходиться, он подходит ко мне и докладывает. Мол, сам Андрейченко меня хочет видеть у себя дома. Я говорю, да я не одет вообще-то для таких приемов. Свитер старенький, штаны утром не гладила жена. В таком виде как явиться на приём к такой величине? А он мне на ухо внушает, хотя все ушли почти, что тут как раз не прием назначен. А дружеская встреча. Хочет Владимир Геннадьевич просто познакомиться поближе, чаю попить, поболтать, музыку поиграть. У него рояль ещё тот. «Petroff» на крышке написано. Оригинал. Из Германии. Или, может, прямо из Англии. Давайте, говорит, не будем огорчать человека. Машина там, внизу, ждет нас с Вами.

      Вот у Андрейченко я первый раз странность в себе почуял. Было там человек пять. Одни мужики. Зампред горисполкома, начальник вокзала, олимпийский чемпион по легкой атлетике, Начальник городской милиции, генерал. И ещё этот…как его…Сысоев, директор гастронома «Исеть». Долго болтали про всё. Про баб, машины импортные, про Высоцкого почему-то и Влади. Оружие свое секретарь показывал. Любитель он этого инструмента. Много винтовок, гладкостволок, три пистолета наградных, ножи всякие. Даже кортик у него был подарочный с гравировкой от адмирала Северного флота. Не помню фамилию. Потом Андрейченко на рояле постучал. «Крейцерову сонату» с  горем пополам оттарабанил. Местами мимо нот. Ну, да ладно. Всё хорошо было. Я поиграл что-то. Все задумчиво на меня глядели и делали вид, что глубоко проникают в композиции. Потом руку жали, обнимали по  отечески, снисходительно и важно.

      Потом все заорали «Ура!!» Но не в мою честь и не мне.  В жизни бы не поверил, что такая  благородная публика будет так визжать только оттого, что тот самый инструктор горкома, который меня сюда сманил, приволок здоровенный картонный ящик. Лоб у него был в поту и морда напряженная. Ящик  он тащил тяжелый.  Инструктор его, как вазу хрустальную, из последних сил нежно приземлил на середину стола, откинул в разные стороны две  верхних створки и как фокусник стал левой рукой выкидывать из коробки бутылки, а правой их ловил и заполнял ими стол.

        Мужики перестали не то чтобы орать, шевелиться прекратили. И в этой, ничего хорошего не обещающей тишине, у меня лично защекотала внутри непонятная пока тревожность. Бутылок было много. Все разные. Мы, как кобра под дудку заклинателя, вытянули шеи и плавно подтянулись к столу.

      Стали считать и смотреть этикетки. Бутылок было 16.  Нас шесть. С инструктором могло быть семь, и тогда, чёрт его знает, может, и обошлось всё по другому. Но он сделал своё дело, всем пожал руки и исчез.

      Стали перебирать бутылки и читать вслух этикетки. В общем, там было всё, что нельзя мешать. Столичная водка и Смирнофф, пиво пльзенское жигулевское, ликеры – вишневый, щартрез, джин бифитер, виски белая лошадь и два литровых пузыря спирта  Роял-оптимал. Грузинские вина гурджаани, цоликаури, цинандали  и ещё что-то… А! Коньяк армянский с пятью звездами. Всё, кроме шартреза и цоликаури я раньше уже пил.

      Тишина стояла пока читали этикетки и передавали по кругу флаконы. Потом все разом ожили, хозяин, Сысоев и генерал быстро сбегали на кухню и притащили невиданный закусь. Раки красные на подносе, всякие колбасы, напиленные одинаково тонкими колясками, три баночки, уже открытые, с черной икрой кавиар, лимоны, уже нарезанные, и пять бутылок боржоми. Запивать. До меня дошло только в тот момент, что всё, кроме ящика с пузырями  было заготовлено и затолкано в холодильник заранее. То есть никакой импровизированной вечеринки, а точная продуманная пьянка была намечена на сегодня, но ещё вчера.

      Ну я под суету эту и вставил хозяину вопрос. Чего, мол, сегодня за праздник?

      Хозяин заржал как старый конь, а за ним каждый по своему как могли заржали остальные.

      –  Жизнь – праздник!  – давясь ненатуральным смехом крикнул вверх начальник вокзала.

      –  Сегодня  отмечаем переселение души товарища Сысоева из кресла директора гастронома на трон начальника  всего областного горпищеторга! -

      И секретарь погладил Сысоева по лысому затылку.

      Сысоев растопырил руки перед Андрейченко и  недоделанным басом пропел «Боже, царя храни»

      После чего сразу и понеслось. Пили всё подряд, ели сначала с чувством, потом символически, а часа через три бросили закусывать, а пить начали по-серьёзному. Пели казацкие почему-то песни, плясали под Моцарта, Шостаковича, Грига и Дунаевского. Я играл и пил всё подряд, что подавали прямо в зависшую над клавишами руку. Я делал мизерную паузу для громкого выдоха, выплескивал внутрь себя уже без разницы –  что, снял свитер влажный и вонючий от пота, и играл, играл, и играл. Меня сзади и сбоку обнимали, целовали в темя, шлёпали по спине, прижимали на мгновенье к себе и гладили  плечи. И всё это – во время плясок, дикого песнопения украинских народных песен и русских частушек, криков «Оп-па» и  прыжков на месте с неудачными приземлениями на колени, на задницу и на спину.

      Дальше – хуже. Мне от усталости стало дурно, замутило, всё поплыло и раздвоилось. Тошнота подняла меня со стула, я  с трудом обогнул рояль и куда-то пошел. Да не пошел. Не то слово. Повалился к первой на пути точке опоры. Это был угол двери на балкон. Я рванул ручку двери, чтобы хватануть свежего воздуха. Но ручка оказалась мягкой и бархатной. Она не открыла дверь, стала падать на меня, причем сверху. И вместе с ней мы ссыпались на паркет. Тут я как-то разглядел, что это была вообще не дверная ручка, а портьера. Я начал ползать по ней, пытался в неё завернуться и так уснуть минут на десять, чтобы передохнуть. А потом снова поиграть Шуберта. Люблю его пьесы. Но завернуться я не успел. Меня вырвало на эту чертову портьеру, на паркет. Я почему-то быстро вскочил и побежал в туалет. Хотел там покончить с рвотой, умыться и сесть за рояль. Но по пути я всё время на кого-нибудь натыкался, отталкивал его, налетал на стену, бросался назад и почему-то попал на кухню. Блевать при этом я не переставал и украсил отходами смеси выпитого и съеденного всех высоких гостей и Большого хозяина. Ну, само собой, стены отметил, мебель, пару ковров на стенах и палас на полу. И всё. Вот после кухни я исчез сам для себя. Выпал из сознания. Сколько это моё отсутствие длилось – не могу сказать.

      Открыл глаза я на свежем воздухе. На скамейке.  Догадался, что на ней я лежу. Сел. Смотрю по сторонам и не понимаю, где я. Но это ладно. Я не понимал и не мог вспомнить, где был до этой скамейки. Силился вспомнить. Но ничего не получалось. Понимал я только то, что я живой и надо вставать и идти. Но откуда идти я не мог сообразить. Тогда я просто поднялся и пошел. Ночь, прохладно. Смотрю – я без свитера и в носках. А на репетиции был в свитере. И туфли были. Стал думать, где был после репетиции. И ты понимаешь, не могу вспомнить. Иду, вспоминаю, а не получается. Плюнул. Стал просто идти. Долго шел. Задубел весь так, аж зубы стучать начали.

      Но, видимо, старик Павлов был толковый ученый. Он обосновал, что безусловный рефлекс и подсознательный инстинкт важней любой умственной деятельности. Потому как я ничего не соображал, но автоматически пришел к брату Виктору домой. Он ничего не стал спрашивать. Дал мне стакан, налил в него сто пятьдесят водки и помог мне донести стакан до рта. Я с трудом выпил и  спросил у Виктора, где я был. Он опять ничего не сказал, а взял меня сзади под мышки и довел до кровати. Последнее, что я запомнил: на меня сверху теплым блином упало белое одеяло. Проспал я часов до одиннадцати утра. Открыл глаза и начал думать – где я. Потом зашел Виктор и молча дал мне в левую руку кусочек  сушеной рыбы, а в правую большую кружку. Я понюхал. Из кружки пахло пивом.

      –  Поправься,  – сказал брат – И иди домой. А то скоро Наталья с ночной придет. Не надо, чтобы она тебя такого видела.

      Я выпил пиво, погрыз рыбку, опять попытался вспомнить, как я оказался у брата, откуда пришел и что было до этого. Не могу вспомнить и всё. Веришь?

      Ну, дал мне Витя рубашку фланелевую в клетку, полуботинки на размер больше. И я пошел. Но не домой. В филармонию. На работу. Пришел в гримерную, сел к зеркалу и  испугался. В зеркале был не я. Не знаю кто. Похожий кто-то. Но не я. Причесался. И тут вошел зам директора Филатов.

      –  Дима,  – сказал он мрачно.  – Плохая новость для тебя. Тут позвонили главному с утра. Сказали, чтобы ты у нас больше не работал и, желательно, уехал куда-нибудь.

      –  Кто сказал? Как это – уехать куда-нибудь? Куда? А Лидия? Жену куда деть? Съесть?

      Филатов покрутил у виска пальцем и сказал, что мне лучше знать, кто сказал, чтоб я больше тут не работал, куда девать жену и куда деваться самому. В Свердловске, сам понимаешь, тебе нигде не приткнуться теперь. С утра они обзвонили все места, где есть оркестры. Вплоть до цирка. Так что, ты уж извини, Дима. Против этой силы мы дети сопливые. И ушел.

      Я забрал из гримерки все своё, нашел в шкафчике большой мешок  с прошлогодней командировки на уборку картошки, сложил туда свои концертные костюмы, скрипку мою в футляре, грим, две дирижерские палочки и пошел домой. Иду и постепенно  начинаю понимать,  что здесь я теперь никто, но почему – понять никак не могу. И вспомнить, что стряслось вчера, тоже не  получается. Очнулся я от этой пытки воспоминаниями только когда надавил собственный звонок в собственную квартиру.

        Рассказал жене все, что помнил и то, что передал Филатов. Поскольку я не помнил ничего, а только то, что ночевал у брата и слушал Филатова, жена ничего не сказала. Она  надела легкий плащ, взяла хозяйственную сумку и ушла. Наверное, за продуктами. Значит, на полдня минимум. Пока что надо в магазинах  найдет, да очереди отстоит, часов пять и пролетит. И я лег спать, чтобы на свежую голову все, наконец, вспомнить и потом решить, как двигать своё будущее – в будущее.

      Спал  примерно час. Потом поискал по квартире что-нибудь выпить. Жена всегда держала бутылку водки про запас на опохмелку мне. Но обязательно прятала. Ну а где в квартире можно заныкать пузырь, чтоб его нельзя было найти? Только в стену замуровать. Короче, водку я нашел за репродукцией картины  Сурикова в прихожей. Она в толстенной раме и большая. Поэтому снизу её поддерживали два дюбеля, а к верхнему шурупу в стенке картина крепилась прочным шпагатом под углом. Она внизу прислонялась к стене, а вверху наклонялась от неё сантиметров на десять. Вот туда Лидия водку и схоронила. Я выпил половину флакона и пошел искать счастья. Ну, работу хотел поискать в разных оркестрах. Все меня везде знали, так что имелся шанс устроиться. Объездил я весь наш огромный город. И всё попусту. Даже в цирке худрук Ваня Крюков, с которым мы выпивали много и часто, и тот отказал. Потому, что было распоряжение сверху.

      –  Дима, милый мой друг! Сожрут и меня и весь оркестр сразу после того, как тебя уволят. А у меня  из одиннадцати человек – шесть стариков, которым за пятьдесят. Разгонят нас – меня совесть съест с ботинками и шляпой. Им до пенсии чуток остался. Куда им деваться? Кто старого возьмёт, кто пригреет?  – грустно сказал Ваня.  – А вот ты лучше поезжай прямо в Москву. В Союз композиторов. Ты же им взносы всегда платишь? Всегда. Ты  полноправный член Союза этого долбанного. Возьми все свои награды, предъяви титулы и

      произведения. Да можешь и не брать с собой ничего. Они там тебя и так знают. Ты. Дима, фигура! Тебе скоро памятники будут ставить на улицах и в консерваториях. Езжай, не тяни. Здесь тебе не жизнь. Точно говорю.

      Я робко так у него поинтересовался, кто приказ такой дал, гнать меня с работы и из города. Он сморщил лицо и поднял указательный палец высоко над головой.

      –  Говорят, что ты где-то там у них на высоком пушистом облаке нагадил. Кому-то очень главному по роже съездил. Рояль дорогущий попортил. Клавиши на всей второй октаве оторвал. Насчет битья по роже я не верю, конечно. Ты ж драться не умеешь. А вот клавиши мог отколупать после двух бутылок.

      –  Так ты знаешь где я был, с кем пил?  – спросил я Ваню и что-то стал припоминать кусками, отрывками, мутно и бессвязно. Не вспомнил опять. Как заколдовал кто меня. Ну как забыть до полного затмения, где был вчера и с кем пил? Ну не пятнадцать же лет прошло. День! Всего один день. А как вырезали память. Странно и жутковато.

      Я с Ваней выпил его запас на день – полбутылки на двоих без закуски. Так, по папиросе выкурили и я пошел опять домой. Собираться в Москву.

      А чего там особо собираться. Взял набор бритвенный, мыло с помазком, пасту зубную, членский билет Союза композиторов и пять пачек «Примы». Ну, полбутылки водки да две « Жигулёвского» ещё. Ехать все же далеко. Где Свердловск, а где столица Родины! Пока собирался, жена пришла от соседки. Ну, мы с ней попрощались на время. Может, на неделю-то всего. В Москве, конечно, не устроюсь. Там таких как я – девать некуда. А пошлют, наверное, куда-нибудь в Сибирь. Где культура с искусством пожиже и попроще. А я бы там поднял всё на уровень. Ну, вот так я думал. И Лидия, супруга, тоже не сомневалась, что моё имя да опыт с мастерством роль свою сыграют. На бис и браво.

      Так и уехал. Почти двое суток поездом. Самолетов не люблю. Не видно ни черта и нет ощущения пути. А тут в купейном вагоне  две бабушки ехали. Одна  перед смертью хотела ещё раз в Мавзолей сходить. Другая по телеграмме направлялась на похороны двоюродного брата. А кроме них был ещё в купе Гена.  Кандидат наук из УрГу, из университета нашего. Химик он, на третьем и четвертом курсах преподаёт. Его в министерство вызвали. Зачем, не сказали, потому Гена был в волнении, но скрывал.

        А я-то вижу – не в себе парень. Может, боялся, что по кандидатской вопросы хотят задать. А он её не сам писал. Точнее, вообще купил. Это он мне рассказал, когда помаленьку выпили без закуски мою поллитру. Потом пошли закусить в вагон-ресторан. Закусили прежнее и новое тоже закусили. Коньячок. Кандидат наук, он же при деньгах. У них доплата за звание плюс сорок девять часов в неделю нагрузка. Зарплата – почти шестьсот рублей. Три моих. Ну, уходили из ресторана, с собой взяли пятизвездочный и лимон, да две шоколадки. Долго сидели. Он мне про свою тяжелую жизнь и про дурака  ректора, а я ему про своё приключение. На другой день пошли в тот же вагон с рестораном похмеляться. Часов в десять утра. Да так там и просидели до ночи. Как обратно шли, как спать ложились – не запомнил. А утром уже и Москва. Обменялись с Геной телефонами домашними, обнялись и разбежались.

        В Союз  композиторов  приплелся я с пересадками на двух трамваях и троллейбусе. Укачало в транспорте. Выпил газировки три стакана из автомата, который от дверей Союза метрах в двадцати стоял на тротуаре. Причесался пальцами. Костюм выправил кое-как. Замялся местами костюм за всю дорогу. И пошел прямо в приемную первого секретаря.  Девушка, приставленная докладывать и на телефон отвечать, посмотрела на меня грустно так и сразу сказала, что первого нет на месте. За границей в командировке. Есть зам. Реутов Зиновий Павлович. Она ему позвонила по отдельно отставленному аппарату и сказала, что из Свердловска приехал Латышев Дмитрий. Просится на прием. Реутов, слышно было, громко сказал, чтобы зашел я через полчаса. У него люди.

      Я пошел на улицу и все полчаса ходил туда-сюда мимо автомата газводы. Ещё четыре стакана без сиропа употребил и двинул к заму в восьмой кабинет.

      Зиновия  я знал давно, поэтому зашел  без стука и сказал:  – Привет, Палыч!

      –  Чего приехал?  – оригинально поздоровался Реутов. Не встал, руку не подал. Ну, да и ладно. Начальник. Ему можно.

      Я ему рассказал, что меня с работы кто-то уволил, а за что – не ясно мне. Вроде дирижирую по-прежнему. Не жалуются. На Гостелерадио взяли  недавно симфонию «Отважное сердце», три этюда для гобоя со скрипкой.

      Премию дали в конце того года и почетную грамоту от филармонии.

      А он это всё выслушал и потом рассказал, как я с работы слетел. Ему из горисполкома нашего и почему-то ещё из горкома партии позвонили и про мои чудодействия всё расписали как по нотам. Ничего я там не натворил. Ну, конечно, штору насовсем оторвал, обблевал всех и кухню тоже. Клавиши не отрывал от рояля, слава Богу. Но выгнали не за это. Я, оказывается, в безумии и полной мозговой прострации много чего натарахтел против Советской власти, против компетентных органов, а также всех слуг народа. А руководителей Партии и правительства обматерил многоэтажно и объяснил  им, партейным боссам, что они страну развалили почти и народ вогнали в серость и бесправие по самые помидоры. Долго объяснял оттанцевавшим веселье высоким чинам партии, и директорам, и генералу, почему они все являются козлами вонючими, присосками к телу простого народа и бесполезной сволочью, гниющей под крылом центрального комитета ленинской парии, который давно пора разогнать к едреней фене и поставить каждого к стенке за издевательство над народом и враньём про светлое будущее.

      Мы тебя, Латышев, после такого звонка, не имеем морального и политического права брать под защиту и на работу устраивать. Могут и нас самих распылить по белу свету с волчьими билетами. Уловил?

      Я сказал, что ничего подобного я не помню, но раз уж звонили, то не пошутить же. Что-то, наверное, ляпнул все-таки. Реутов тихо сказал, что тоже не особо очарован нашей властью и политикой партии, но никогда не нажирается до такого свиноподобия, при котором может это рассказывать вслух, да ещё и самим партийным деятелям. И он мне посоветовал самостоятельно поехать куда-либо в провинцию и там втихаря пристроиться в незаметное место. Хоть в музыкальную школу. И ещё добавил, что из Союза композиторов меня не исключат. Чтоб не переживал.

      –  Композитор и дирижер ты толковый,  – сказал Реутов и попрощался уже за руку.

      Я вышел из Союза  прибалдевший,  завернул в пивнуху за углом. Выпил три кружки тёмного бархатного, отметился в туалете, а потом поехал на вокзал  выбирать город, где можно было бы устроиться. Почитал расписание поездов и нашел ближайшую отправку. Во Владимир. Доехал нормально. Поспал в вагоне часок, ну и остаток пути просидел в ихнем ресторане на колесах. Поэтому во Владимир я приехал почти пьяный и расстроенный. Без энтузиазма сходил в музыкальную школу. Там тетки, директор и завуч, быстро от меня избавились. Из меня  вырывался тухлый запах вчерашнего пива и свежий аромат сегодняшнего портвейна «Агдам». Я грохнул стакан разливного на вокзале. Тётки морщили носики и говорили, что вряд ли мне при такой плохой внешней форме повезет во Владимире вообще.

      Я плюнул опять пошел на вокзал. Думал махнуть сразу в Сибирь. В Иркутск, например. Посмотрел на свои деньги и передумал. Купил билет до самого близкого города, до Горького. Туда ехал меньше суток. С собой взял ещё портвейна и в поезде медленно его выхлебал. Город Горький оказался красивым и шумным. Я сразу узнал в справочном возле вокзала адрес филармонии и добрался туда легко. Там со мной разговаривал главный худрук с революционной фамилией Каменев и, надо же, с ходу взял меня руководителем камерного квинтета. Прежний неделю назад поссорился с женой, тёщей и тестем, пошел и повесился.

      –  Это такая судьба у человека,  – заключил Каменев.  – Он бы в любом случае помер. Пил страшно. И повесился тоже после двух бутылок бормотухи. Вы-то, я вижу, не употребляете.

      –  Да ну, что Вы!  – Я заметил, что худрук тоже под градусом. Стало легче.

      С утра я уже приступил к работе, провел репетицию. Квинтет был сыгранный и вполне прилично звучащий. Я понял, что мне повезло. После репетиции пошел на межгород и позвонил жене. Сказал, чтобы собирала манатки. Через неделю-две приеду и заберу её в Горький. Тут будем жить. Хороший город. Нормальная работа. Жена Лидия помолчала, посопела в трубку и ответила, что никуда не поедет. Подыхай, говорит, сам, а я ещё поживу маленько. И трубку бросила.

      Обиделся я, расстроился. Стал больше  выпивать. Продержался в филармонии неделю. Потом как-то перебрал перед репетицией незаметно, да на какой-то неправильной гармонии выхватил у скрипача инструмент и обломал скрипку об колено напополам. Квинтет скромно разошелся, а я устал и заснул прямо в репетиционной. Положил под голову футляр от виолончели, укрыл лицо толстой партитурой для рояля и отбыл в глубокий тёмный сон. Разбудил меня утром сам директор и попросил насовсем очистить помещение.

      Бродил я по городу долго, а в конце дня , когда выпил литра полтора местной водки, как-то оказался на берегу Оки. Прошел левее от стрелки, где сливаются Волга и Ока, да сел на обрывчике отдохнуть и спокойно допить последние двести пятьдесят. Где-то через час мимо проходили трое крепких мужиков. Они меня спросили  – чего я тут торчу, одинокий и пьяный?

      Я им всё историю коротко рассказал и спросил нет ли тут какой работы, а то у  меня кончаются деньги и в Свердловск ехать уже не на что.

      Парни оказались из Павлово-на-Оке. Из ватаги рыболовной. Евгений, Анатолий и Наиль. Они сказали, что работа есть. В Павлово. На берегу за пристанью. И взяли меня с собой. Было это три года назад. Работаю вот. Денег платят мало. Но еда есть. Выпить могу. Никто не запрещает. Только работай. Задание выполняй. Пьешь-не пьешь, им без разницы. Да и ребята хорошие. Домой уже не хочется. Письма жене отправляю все три года по одному в неделю. Она не отвечает. Ну, значит так повернулась жизнь. К лесу передом, ко мне задом. Тут помру. Мне шестьдесят четыре уже. Помру возле волны. В ней есть своя музыка. Я её слышу…

      Композитор зевнул и замолчал. Я повернулся на бок и задумался о том, что услышал от Дмитрия Алексеевича. Думалось тяжело и однообразно: коряво согнулась жизнь у человека. Потому, что болен он и не знает об этом. А раз не знает, то и лечиться не будет.

      –  А бросить Вы не пробовали?– спросил я, не поворачиваясь. Но композитор уже похрапывал и чмокал губами. Уснул. Рассказ впечатлил меня и почему-то взволновал. Я смотрел на звезды, слушал пение реки, жалел Алексеевича и заснул под утро.

      А утром он разбудил меня легким пинком в бок и сказал, что все уже на работу свалили. И нам надо.  Мы пошли к реке, умылись и двинулись по берегу вверх к обрыву. Наверху с откинутым задним бортом стоял  грузовик Газ-51.Весь кузов был заставлен темно-синими и голубыми бочками. Возле кузова стояли наши ребята, шофёр и ещё один мужик.  Наверное, экспедитор.

      –  Это краска для судов,  – объяснил композитор.  – Сейчас мы эти бочки будем спускать вон к тем мосткам. Там красить будем.

      –  Как спускать?  – я  прикинул на глаз высоту обрыва, тяжесть двухсот литровых бочек, их количество и расстояние до мостков.  – Тут бы подъемный кран надо. Со стрелы как раз на песок бочки встанут.

      –  Ну да…– хмыкнул Дмитрий Алексеевич  -А ещё лучше шагающий экскаватор ЭШ-15.Тот прямо на стапеля бочки подаст. А мы курить будем. Но деньги получит экскаваторщик. Тебе нравится такой вариант?

      Нет, мне он не нравился. Да никому из наших он не годился, хотя жизнь бы на сегодня облегчил сильно. Но мы собрались здесь не жизнь спасать, а копейки свои забрать за ручную работу.

      Целый день без обеда мы надевали с боков лежащих бочек толстые длинные веревки из джута. Сталкивали аккуратно каждую бочку с обрыва. Она зависала на петле в воздухе. Потом, отпуская медленно концы джута, мы стравливали веревку вниз, а когда железо касалось земли, двое прыгали с обрыва, перехватывали там веревку с обеих сторон бочки и стравливали  неторопливо веревочную канитель, в которой прокручивалась бочка с краской, до самых мостков. Удивительно простое и точное изобретение работяг, обязанных доставить груз на место без потерь и лишней траты сил. Мы катали тару с краской весь день размеренно и молча. Произносилось только два слова – «майнай помалу», что в переводе с жаргона  строителей значило «опускай потихоньку».

      Тридцать одну бочку мы спустили, ни капли не устав. Усталость пришла только к вечеру, когда искупались, поужинали снова тушенкой с картошкой и запили ужин крепким чаем, а Дмитрий Алексеевич сбегал в кусты и залил устаток бражкой.

      Наиль подкинул веток в костер, стало жарко, захотелось спать. Все сидели вокруг костра молча. Курили. А день закономерно уходил в вечер и в ночь. Медленно, нудно и скучно. Как плохой неинтересный фильм, с которого не уходишь только потому, что заплатил за билет, а потраченных денег будет  потом жаль. Уходил и пропадал в сумерках мой первый необыкновенный день, выданный мне странно повернувшейся судьбой, и взятый напрокат из какой-то чужой, не моей жизни.

                          Глава девятая

      Со следующего утра  время  уснуло. Оно сонно ползло по синему в яблоках-облаках небу, по желтоватым от донного песка волнам и ухитрялось быстрое течение реки превращать в неторопливое и тоже дремлющее на бегу.

      Дни проползали сквозь меня как флюиды, струящиеся из застывшего  бесконечного пространства, которому некуда спешить, потому, что оно уже везде есть.

      А я торопился. С первого дня жизни в ватаге мне не думалось, что три недели – это много. Я прожил вообще-то много разных недель, месяцев и лет. Они пронеслись как осатаневшие, перепуганные кони. Я и мяукнуть толком не успел, как прожил аж двадцать восемь лет, набитых  всем добром и хламом без разбора  и надобности, как чемодан мужа, которого всё ещё любимая жена выгнала из дома за букет грехов. Мне жутко хотелось домой, в Кустанай. Когда жил дома, хотелось всё время уезжать из него ненадолго, чтобы потом радоваться возвращению. Это вообще самая радостная радость  – возвращаться домой.

        До отъезда  на учебу в Москву я работал спецкором в областной газете и из  четырех недель месяца дома бывал примерно неделю. Отписывался, сдавал материалы в редакцию и опять уезжал по степным городкам и сёлам, гонялся за интересными темами, которые, собственно, никуда и не убегали,  а жили на всю катушку и ждали меня.

      А сейчас я рвался домой, потому, что жизнь в России очень отличалась от жизни в Казахстане. Чем именно, я не смог разобраться. Просто чувствовал, что это не то место, где мне уютно и тепло. И чем глубже я  проваливался в российскую глубину бездонную, тем  жестче сила моей родины вытягивала меня назад, к себе. И сопротивляться этому напору было невозможно, да и глупо.

        Я не был влюблён в государство, в Казахскую Советскую Социалистическую Республику. Не потому, что это государство не стоило моей влюбленности и обожания. Просто я ничего не знал про государство и власть. И знать ничего об этих структурах я не стремился и не мечтал. Это мне было не интересно и не нужно. Мы с государством жили параллельными жизнями и почти не пересекались. И оно при этом не страдало, да и я ничего не терял.

        Мне просто нравилось и хотелось жить там, где родился, где был второй дом родной у всех пацанов – тихая, плавная и худосочная речка Тобол, там желал жить, где всё понятно с пелёнок, где любые цветы пахнут  правильно, а чужие люди  все свои потому, что тоже тут родились и ели одинаковый хлеб с единственного хлебозавода, где все дышали одним ветром из степи и где в семнадцать лет мы не успевали  догнать  растущие как из пушки саженцы клёнов, которые  сами сажали толпой выпускников в новом школьном сквере.

        Тогда это были веточки до колена нам, почти уже мужчинам. Года через три после выпускного я приходил в школу, во двор. Первого сентября. Узнавал  все пятьдесят больших, настоящих деревьев по рисунку веток, а они узнавали меня в лицо и говорили мне «Привет!» шелестом резных листьев. Было хорошо и грустно. И мне казалось тогда, что клёны раскрасили себе листья в удивительные бордовые и охристые краски для меня одного, чтобы отблагодарить за подаренную им жизнь, и листья эти разноцветные роняли  к ногам моим, чтобы я взял их на долгую память. Я  подобрал тогда кучу пёстрых листочков и набил ими два кармана. Дома заложил в книжки между страниц. А потом закрутился по взрослой жизни и забыл про них. Они и сейчас лежат, сухие, в книгах. Ждут меня.

      А я торчу тут как чубчик у рыжего клоуна из под смешной кепки. Торчу на берегу огромной Оки и как раб бессловесный понимаю только, что  покормят и снова погонят на очередную тупую работу. Я жду каких-то символических денег на билеты до дома. Жду уже полторы недели, и не факт, что в конце третьей их получу. Надо что-то делать. Что-то предпринимать. Ехать надо. Добираться как получится. Ребята говорили ватажные, что бугор деньги почти всегда  придерживает на неделю, а то и на две. Чтобы ждали и не разбегались. Чтобы работали во время ожидания. Но вот уже три дня работы не было. Мы краску, масло моторное, бензин и новые швартовые джуты с откоса перенесли на берег, все, что надо покрасили, отремонтировали причальные мостки и валялись кто на песке, кто в лодках. Ждали ватага. Который опаздывал уже на три дня.

      Я подошел к спящему в лодке Пахлавону, пощекотал его за ухом и разбудил.

      –  А?–  выдохнул Пахлавон, неторопливо просыпаясь – Бугра приехаль, да?

      –  Слушай, дорогой,  – я погладил по голове маленького как восьмиклассник почти тридцатилетнего мужичка.  – Ты говорил, что на пристани в Павлово у тебя моторист знакомый есть.

      –  Деньги нету мотористы,  – ответил Пахлавон и зевнул.–  А есть, то не даёт. Жадный моториста.

      –  Мне не надо денег,  – я аккуратно вынул щуплого Пахлавона из свежевыкрашенной речной посудины.  – Надо у него спросить, когда на той стороне паром сделают. Узнать, когда переправа работать начнет. Может, сделали уже, а мы не знаем.

      –  На Тумботино  который ходит?  – Пахлавон пошел к реке и тщательно вымыл лицо и руки.  – Надо ходить, с ним говорить надо. Пошли тогда, да?

      И мы взяли по ломтю хлеба, литровую бутылку воды и по берегу побрели на переправу. Четыре километра по песку – то ещё удовольствие. Я  шел, оставляя за собой шлейф песочной пыли, а Пахлавон двигался как утюг по простыне. Гладко, почти скользил. И следа за ним не было, как будто это был не Пахлавон, а привидение. Километр прошли молча. И меня это стало раздражать. И так всё молчим целыми днями. Пока вкалываешь, говорить некогда, да и не к месту. Вот сейчас самое время поболтать.

      –  А ты, Пахлавон, чего на берег пришел? Не твоя же это работа. Вы же, таджики, строители.

      Он вытер рукавом пот на лбу от скоростного передвижения и остановился.

      –  Зачем спрашиваешь? Газета писать?

      –  Да ну… – мне стало смешно.– В газету, обещаю, не напишу. Просто интересно. Я же вот всем вам рассказал про себя. А ты парень честный. Тебе чего скрывать?

        Пахлавон  задумался, сел на горячий песок и пальцем показал: садись рядом.

      Рассказ Пахлавона о превратностях бытия и  злых людях.

      У меня брат был. Шесть лет он больше меня был. Трёх лет сзади уже, как он потонул. Озеро ходил с другом и с две женщины под вечером.  Водку там пил. Много пил. Женщины пил с ним тоже много. Брат потом говорит, что пойду озеро туда-сюда поплыву. Друг ему говорит, что не ходи, не надо. Водку много напился. Слабый стал. А женщины говорили, что водка крепкий и тогда брат тоже крепкий. Он пошел и на середине озера кричать стал, что плохой ему, сила нету плавать. А женшины смеялась и ещё водку выпили. Потом слушают все, а тихо началось на озере. Не кричит брат. А темно уже. Стал вечер часов девять. Не видно воду далеко. Друг в рубашка и штаны побежал плыть посередине озера. Он там крутил-вертел, под водой нырял, искал. А брата не нашел. Он на дно утонул, а где, так не помнили кто-нибудь со всех.

        Они пошли в милицию бумагу написать. А милиция говорит, что уже когда утонул, то сегодня ночью искать не пойдет милиция. Пойдет с водолазом  завтра после утра. Часов в десять. Искали. Нашли брата. Я посмотрел. Не всегда узнал брата. Он плохой был уже, синий, толстый губы и глаза на нос почти зашли. Муллу позвали. Мулла сказал, что Аллах уже принял мой брат И что брат радуется. Он сам Аллаха увидел и рядом с ним стал насовсем. Это хорошо, сказал мулла.

        Мы ему денег принесли. Чтоб про брата утро, и вечер, и ночь трое дней пел и молилась. Мулла деньги взял и пошел петь.

      А мой брат живой когда ещё, он строитель был. У него девять парни из наш кишлак нанялись ездить с ним на Москва. Строить там  пельменные домики от имени города. Пищевого начальства. Там потом варят пельмень, едят люди на обед .Со своя работа ходят. И другие тоже ходят и утро, и день до самый вечер. Хорошо строил. Он бригадир был. Сам рабочих выбирал в кишлаке. Зарабатывали они по сто пятьдесят рублей на месяце. А брат двести. Бригадир был, главный. Деньги присылал на мама моя и на отец. Жили тогда, как это…на нога широкий. У вас тут так говорят.

        Шесть коровы имел семья наш, баран много, конь свой, отец мотоциклу покупил. С колесом… Нет, это…как это? А, с коляской. Большой. Ездил на нем в город молоко продал всё время. И телевизор у нас есть, холодушник есть, кровати с дерева в райцентре забрал всем семье. Хороший кровать. Отец сарай построил во дворе на кирпиче и кровля поставил толстый, железная. Тогда жили как хорошие. А брат потонул – где деньги взять? Мать старая. Не может ничего уже. Сестра две у меня. Одна восемнадцать лет, другой сестра двадцать четыре лет. Пошли замуж вышли. Им не до нас будет. Мужи, дети там много у них. Сами так никак живут.

        Отец молоко продает опять так же. А денег за молоко нет, чтоб всё покупать. Плохо начали жить. Мотоцикл сломался, нету денег запчасть забрать. Корова заболела. Лечит надо. А нету такие деньги. Помер корова тоже. Так трое лет прошли. Я сам на элеваторе буртовщик зерна был. Мало платили. Лопатой на транспортер зерно кидал. Потом транспортер разворачивали обратно и я зерно опять кидал с другой стороны. Плечи болят после лопаты. Спина не гнется. Восемь часов махать надо на лопате.

      Отец хотел меня на хлопок послать. Ходил в сельсовет, просил. Не взял меня сельсовет. Говорит – на хлопок пойти, это заплатить надо одному там бугру. А нам ничего нет – заплатить.

      Я тогда  пошел к Сархату. Он вместо брата бугор стал и на Москву ездил с бригадой. Сам набирал таких, кто его боялся и показывал как он Сархата уважает. Строили тоже маленьких столовых. Тот же пищеторг денег платил.

      Сархат сказал, что два дня подумать будет. Надо кого-то убрать из бригады. Говорит, занято всё. Но из-за памяти к моему брату меня, сказал, возьмет. И мы на марте месяце поехали. По дороге на поезде ехали две сутки. Сархат один раз подошел к моей полке и рассказал про свой порядок. Не такой как у мой брат был. Все ему теперь дают пятнадцать процентов от заработка. Оплата за место в бригаде. За то, что имеешь работу. А мне сказал, что в честь памяти про брата я буду давать ему только десять процента. Ну, думаю, ладно. Девяносто процент тоже хорошо мне будет. Отец мотоцикл наладит, корову заберут другую вместо мёртвой.

      И мы скоро приехали  работать. Трое месяцов я как ишак  упирался, делал всё сильно. Всё болело. Он меня поставил на бетон. Месил я на лопате цемент с крошкой из камень. А он все три месяца платил на меня меньше, чем бригаде на два раза…

      Тут Пахлавон замолчал и отвернулся. Он медленно и мелко перебирал ногами в сторону, ввинчиваясь задом в песок и поворачиваясь  на песке спиной ко мне. Острые плечи его подрагивали как крылья сидящей на цветке бабочки. Рукавом он вытирал нос и глаза, сопел и что-то злое шептал  по таджикски.  На берег выкатывалась небольшая волна и, переваливаясь через отполированные прибрежные камни, всхлипывала, будто плакала. Но плакал Пахлавон. Безмолвно, дрожа плечами и отгребая от себя трясущимися пальцами мелкий как пыль песок. А хлюпающая волна очень точно озвучивала его состояние.

      Маленький, хрупкий Пахлавон  стал ещё меньше от горьких воспоминаний и не стихшей в душе обиды. Так сидели мы почти полчаса. Я его не успокаивал. Мне казалось, что он выговорился так впервые. И заплакал впервые после того, как  прошел через унижения и  наткнулся на зло там, где совсем не ждал.

        Поднялся, опираясь маленькими кулачками на песчаную зыбь, пошел, продолжая вполголоса выкидывать из глубины души замысловатые таджикские ругательства или проклятия, долго умывался, намочив волос и одежду, даже ноги помыл. Убрал, наверное, водой грязь тяжелых воспоминаний. Обулся, ещё раз тщательно протер рукавом рубахи  покрасневшие глаза, вернулся, сел так же и на то же место. И стал рассказывать дальше.

      Но от расстройства, видно, русские слова, которые он знал, смешались в какое-то слипшееся месиво, которое я не смогу передать точно, да и не поймете вы почти ничего. Мне тоже пришлось его бесконечно переспрашивать. Поэтому разговор наш затянулся и добивали мы его уже на ходу, чтобы на пристани успеть застать моториста.

      Так что, с вашего позволения, чтобы не затруднять вам чтение расшифровкой русского языка в таджикском орнаменте, я остаток рассказа  Пахлавона  перескажу вам своими словами.

      В общем, маялся он в бригаде три месяца. Сархат этот раньше ездил в Москву с его братом в бригаде рядовым разнорабочим. Таджики уверенно и постоянно шабашили в столице СССР с конца пятидесятых годов. Они  сразу заняли просторную и пустую нишу почти засекреченной «левой» рабсилы, дешевой и покладистой. Сыновья ездили с отцами, братьями, верными друзьями, потом отцы уставали и отдавали своё место сыновьям, которые уже как отцы сами таскали за собой своих детей, братья – своих, а верные друзья, в связи с доступностью больших по таджикским меркам денег, не переводились никогда.

      Так вот этот Сархат однажды поднял восстание местного значения. Он убедил бригаду, что бугор в момент расчета с заказчиком, отщипывает себе втихаря неплохие суммы. Бригада хором стала «пить кровь» и  терзать нервы  пахлавоновского брата с надеждой  поделить поровну затыренные  им деньги. Брат быстро сообразил, откуда ветер. Он позвал Сархата выпить пива в пивнухе неподалеку, а по пути в святое место отдыха мужчин избил этого Сархата до красных соплей, выбил ему челюсть и приказал завтра же валить назад, домой. Дал ему его деньги. Сам втолкал его в поезд.

      И на этом восстание захлебнулось, да сразу же и утонуло в трудовых буднях.

      А вот когда в бригаду через три года попросился уже не пацан, а двадцатипятилетний мужчина Пахлавон, Сархат его взял. Но не по доброте души, а для сакральной справедливой мести. Мёртвому брату Пахлавона он мог легко  отомстить за собственное унижение через самого Пахлавона.

      Работу ему Сархат давал самую грязную. Таскать на горбу мешки с цементом со склада метров за пятьдесят, замешивать раствор лопатой, гравий носить вёдрами с кучи за забором. Тоже полсотни примерно метров. Его же после работы он гонял в магазин за пивом, водкой, картошкой,  рисом, мясом и морковкой. Плов готовил Пахлавон, посуду мыл он же, дежурил на стройке через сутки в ночь тоже Пахлавон. Охранял инвентарь, цемент, кирпич, глину и песок с гравием от местных расхитителей социалистической собственности. Он же убирал и мыл деревянный «скворечник»-нужник, который сама бригада за три часа сколотила из досок для лесов и поставила сооружение на двухметровой глубины яму. Спал  Пахлавон на самых  плохих, неровно  поставленных нарах возле самой двери, на скатавшемся внутри ватиновыми комками матраце. Это был не сон, а пытка. Только приспособишься к горбатому матрацу на нарах с уклоном к двери, как начиналась поочередная ходьба мужиков то по нужде, то покурить. Засыпал Пахлавон под утро, а утром рано он должен был вставать первым, кипятить на улице  в чане на кирпичах воду, заваривать в ней крепкий чай, будить остальных и наливать каждому кружку чая и возле каждой кружки класть по три куска сахара. А Сархату – четыре. В обед он должен был съесть всё положенное побыстрее и бежать на почту за три квартала. Письма относить и получать.

        Ну, а самое неприятное, что ему не доплачивали  денег. Сархат забирал свои десять процентов, а потом высчитывал с него то за сломанный черенок от лопаты, то за чай, который слегка остыл пока все подтянулись к столу. За опоздание с почты на работу тоже высчитывал, хотя Пахлавон бегал бегом туда и оттуда. А ещё снимал несколько рублей, если ему не нравилось как помыт туалет и избыток или недостаток засыпанной в яму хлорки. В общем, Пахлавону оставалось так мало, и  домой он отсылал такие крохи, что отцу никак нельзя было наладить мотоцикл и купить корову. Матери он обещал прислать денег столько, чтобы хватило на маленький домашний ткацкий станок. Мать была мастерица ткать отличное полотно из хлопка. А старый станок даже отец уже не успевал ремонтировать.

      Все несправедливости  однажды перехлестнули через уровень терпения Пахлавона. И он ночью, когда все спали,  собрал свои вещи, затолкал их в  сетку «авоську», в которой носил из магазина продукты, и тихо ушел. А куда можно уйти в Москве таджику? Только на вокзал. Где можно переночевать и узнать, куда можно в Москве податься, чтобы заработать денег.

      Казанский вокзал был похож на место тотальной эвакуации граждан СССР из своих городов, городков и деревенек в Москву. Если не приглядываться внимательно, то весь копошащийся людской «муравейник»  был похож на настоящий, муравьиный. Все муравьи практически одинаковые. Только защитники – воины и начальники у них немного другие. Крупнее. Ну, матка муравьиная побольше всех и с крыльями.

        Вот и на вокзале все приехавшие были похожи одеждой, походкой суетливой, кручением головами по сторонам и приобретенной за три-семь дней в тесном вагоне растерянностью перед открытым пространством. Между ними носились с тележками слаломисты-носильщики, филигранно  проскакивая в незаметные простым пассажирам щели между плотно сбившимися в направленный поток приезжими. Носильщики и выделялись. Ещё резче контрастировали с народом дежурные по перрону в синих и красных беретах. На груди у них болталась цепочка, вставленная в длинный свисток. А к лацкану  черного с серебристой оторочкой пиджака им прикололи табличку с порядковым  номером дежурного. Для пущей ответственности, видимо. Выпадали внешне из муравьиного сумбурного движения к свету привокзальной площади и милиционеры в огромных фуражках, снаряженные портупеями, кобурами и толстыми широкими ремнями с блестящими медными бляхами. Среди них озабоченно метались люди в аляпистых одеждах, но тоже в одинаковых ребристых фуражках и с ключами, крутящимися на пальцах как пропеллеры. Это были таксисты. Люди вне закона. Лихие, наглые и страшноватые молодецкими своими окриками типа:  – « Хей, тетка! Ехай со мной! Куда тебя забросить? Долетим как на метле!» Народ от таксистов шарахался, натыкаясь на чемоданы, сумки и чужие ноги в ботинках и туфлях. Вот их-то и выбрал Пахлавон для выуживания нужной информации, где в городе можно найти бригаду таджиков-строителей. К милиционерам он подходить стеснялся, даже рядом остерегался пройти. А уж вопросы им задавать – это вообще было выше его отчаяния.

      Он пропустил через себя весь бурный поток людей с чемоданами, сумками, рюкзаками и картонными ящиками, которые они тащили на веревке как санки, а потом подошел к одному таксисту. Таксист без выражения лица поглядел на Пахлавона сверху и сквозь зубы произнес:  – И ты, что ль,  наворовал столько, что аж прямо на такси катаешься?

      Пахлавон опустил голову, извинился и отошел в сторону. Минуты через две на него вдруг сам  выскочил другой таксист. В красной рубашке в черную клетку и в настоящих джинсах, которые Пахлавон видел пару раз в журнале «Советский экран».  – Я никуда не еду,  – торопливо сказал Пахлавон и взял таксиста за руку.– Я спросить хочу. Вы не знаете, где работают таджики строители?

      Таксист оказался вполне нормальным мужиком. Он почесал подбородок, потом затылок. Значит вспоминал.

      –  В Останкино слева метров пятьсот от вышки. Ангар для склада собирают. В Марьиной роще на улице Кирова детский парк развлечений делают. Так…  Потом ещё возле Матросского моста в Сокольниках есть бригада. Ставят там магазин промтоваров. Вот я туда сейчас поеду. Пассажира ещё одного надо найти.

      –  Я бы поехал,  – промычал Пахлавон.  – А сколько стоит?

      –  С тебя, бедолаги, трояка хватит. Хотя туда пятёра вчистую стучит.

      –  Трояк есть пока,  – улыбнулся Пахлавон.  – Я поеду. Мне своих надо найти. Спасибо Вам.

      –  Да ладно, поехали. Спасибо… Сухое спасибо рот дерет.  – Он засмеялся в голос. Они вышли на перрон. Сели в желтую «волгу» с  шашечками по бортам. И поехали. Возможно, к пахлавоновскому трудовому счастью.

          За каким-то общежитием на Матросском мосту Пахлавон, спрашивая подряд всех, кто попадался, где тут строят магазин, легко нашел таджикскую бригаду. Бригадир был не знаком Пахлавону. И не знал ни его, ни утонувшего брата. Он почесал черные как беззвездная ночь маленькие кудряшки на почти квадратной голове и сказал, что место пустое есть и его можно через секунду начать осваивать. Если у претендента на членство в передовой (Он так и сказал – в передовой) бригаде есть паспорт. Тут приходят раз в неделю люди в форме и проверяют паспорта. Каждую неделю. Как будто кто-то через неделю-другую паспорт свой мог пропить, съесть или в карты просадить. У Пахлавона паспорта не было. Он ушел ночью незаметно  и паспорт остался у Сархата.

      –  Ну, раз нет паспорта, то и место опять пустовать будет. Мне с этими, которые при погонах, жить надо ровно, без перестрелок. Шучу. Я тут девятый год пасусь. И репутацию имею как девственница. То есть, чистую и непорочную. Нарушать её не будем.

      –  Понял тебя, дорогой,  –  Пахлавон пожал бригадиру твердую как кирпич ладонь и пошел ловить такси до Останкино. В кармане оставалось целых десять рублей. Целое состояние. Месяц можно жить, если правильно кушать. Недорогие хлеб, картошку, макароны, грузинский чай. Такси он выловил за пять минут. В салоне сидел ещё один толстый мужик, от которого несло плохим одеколоном и пивом. Тоже плохим, кислым. Таксист знал где работают таджики. Он довез Пахлавона прямо до каркаса ангара и взял за сервис пять рублей.

      –  Это Москва, татарин,  – сказал таксист сипло и закашлялся.  – Тут цены не узбекские.

      –  Я таджик!  – гордо  выкрикнул Пахлавон, от чего толстый дремлющий мужик с плохим пивом в животе вздрогнул и открыл глаза.

      –  Он таджик,  – подтвердил толстый и снова задремал.

      –  Мне по фигу,  – мирно сказал таксист.  – Все вы татары. Даже узбеки тоже татары. И ты татарин. А я вот русский. И чем я лучше вас, татар? Да ничем. Такой же татарин как и все.

      Пахлавон кивнул головой, отдал пять рублей и вышел. По скелету ангара ползали люди в строительных желтых касках. Один человек стоял на земле и кричал команды в разные стороны, вверх и вниз. Бугор, значит. Разговор с ним вообще не получился. Не переставая орать на монтажников, он сказал Пахлавону, что мест нет. Забито всё до упора. Даже очередь есть из трех человек. Сидят, не работают, едят за свой счёт в столовых, ждут когда кто-нибудь заболеет или упадет и разобьется к черту.

      Как  Пахлавон добрался до Марьиной рощи, он и сам не понял. Таксисты туда не ехали, потому, что обратно в  центр пришлось бы пилить порожняком. Из Марьиной рощи на такси никто почти не ездил. Не понятно почему. Он добрался туда на трёх по очереди автобусах и ещё на трамвае. Потом целый час он искал стройку парка  развлечений. Там знакомым оказался не только бригадир, но и ещё двое земляков из Куляба. Сам бригадир был из Хорога, но  бригаду набирал из кулябских. Свои, хорогские, ребята с норовом, подчиняются с трудом и вечно влипают в какие-нибудь заварухи после работы.

      Бригадир Бахман тоже не взял его работать. Он сказал, что уже смысла нет. Через пять-семь дней они объект сдают и поедут на десять дней домой. А следующий объект будет где-то на проспекте Вернадского. Школу ремонтировать.

      –  Десять дней подождешь?  – спросил он и закурил. Задумался.  – Даже не десять получается. Пятнадцать. Через десять я один приеду. Бумаги оформлять, в управление архитектуры пойду, в райисполком пойду, потом с директором школы составлять план будем и по деньгам разводить.

      Пахлавон его поблагодарил, но ответил, что пятнадцать дней ждать нельзя ему. Надо матери с отцом деньги посылать. У них совсем денег нет.

        Они ещё немного посидели, поговорили про Куляб, про то, что кинотеатр новый там молдаване строят. Посмеялись над молдаванами от души. Строители они похуже таджиков. А вот пролезают в любую дырку, всегда везде со всеми договариваются. Потому, что цены у них копеечные. А таджики подороже берут. Почти как узбеки и каракалпаки.

      Поговорили и Пахлавон поехал на такси на Казанский снова вокзал. Поздно было. Спать хотелось. Есть тоже хотелось, но меньше. И  он решил, что поест завтра уже, а поспит сегодня.

      Довольный таким умным решением, Пахлавон походил по залу ожидания, отлавливая взглядом всё, что могло угрожать. Милиционеров, вокзальных карманников и дежурных в красных беретах. Нашел место, где, разувшись и засунув ботинки под головы, храпели как молодые жеребята три здоровенных мужика с бородами, в толстых свитерах ручной вязки и с рюкзаками, лямки которых они намотали на кисти рук, а руки затолкали в карманы. Пахлавон аккуратно прилег на скамейку, тоже снял туфли, сунул их под голову, авоську закрутил вокруг руки и пристроил её на живот. Поверх авоськи он пристроил вторую руку, засунул пальцы в авоськины дырки, полежал минут пятнадцать, глядя на тусклые лампочки под потолком. Пытался решить, как двигаться дальше, куда и на чем. Ничего не придумывалось. Устал.

      –  Ничего,  – Пахлавон посмотрел на храпящего соседа, зевнул.  – Завтра придумаем что-нибудь. Аллах рядом. Поможет.

      И он мгновенно отключился на пять счастливых часов сна, в котором он никуда не бежал, не спешил и не переживал, а видел сон про кирпичи, лопату в корыте с цементным раствором и много денег в пачках, перевязанных  тугой бумажной лентой. Деньги лежали у отца на столе и отец говорил, что  теперь на них он купит Пахлавону машину «москвич-408» и  квартиру в Душанбе. А себе наладит мотоцикл. А матери купит ткацкую фабрику в ФРГ или в Испании.

      Хороший сон снился Пахлавону. Это значило, что скоро ему повезет. Ночь ползла медленно и сон про деньги шел долго. Поэтому в пять часов утра он проснулся легко, бодро и с хорошим настроением. Авоська была на месте, туфли под головой. Можно было вставать и идти навстречу удаче, которая, Пахлавон был уверен, гуляла где-то поблизости и ждала его всю ночь. Даже не вздремнула ни минутки. Так ждала.

      На перроне никого не  было. Навстречу по второму пути брёл, как уставший бык на водопой, маневровый с одним почтовым вагоном. Он катился так медленно и бесшумно, что Пахлавону подумалось, что он ещё спит и наблюдает свой сон. Потом с обратной стороны, скрипя, стуча и подвывая тормозами накатил товарняк, длинный, как жизнь горцев с Кавказа. Он влетел по первому пути и, подгибая торможением рельсы, остановился внезапно, будто его придавили сверху силы небесные. Товарняк был расписан мелом и масляными красками так, что сами вагоны как за маскировочной сеткой скрывались за этими каракулями. А весь состав был похож на блатного с кичи, испорченного на всю жизнь татуировками с головы до ног. От хвоста к голове состава шустро шел обходчик с молотком и торопливо стучал им по муфтам, по колесам и зачем -то по буферам. Когда он поравнялся с Пахлавоном, который как суслик возле норки торчал прямо и навытяжку одиноко на асфальте, и скороговоркой спросил:

      –  Чё, в теплушке собрался ехать? Чё, тебе денег дать на нормальный  вагон? Я тебе дам денег на СВ и совет по делу. Вали отсюда, шпана. Вагоны все пломбированные, стырить ничего не получится. А вон в том вагоне охрана едет. Два «калаша» на троих и «Макаров». Тебе хватит наглотаться свинчатки. Понял?

      –  Я только спросить хотел,  – Пахлавон почти ничего не разобрал из автоматной очереди слов, слившихся в одно « Чёшскалокаров».  – Куда мне поехать, чтобы найти работу на стройке. Я строитель. Бригаду нашу расформировали. А заработать денег надо. Для отца с матерью.

      –  Ну, это другой кордебалет совсем.– Резко подобрел обходчик.  – Мать да отец, это святые люди. Помогаешь им – считай помогаешь господу богу. Одному ему такую ораву не просто любить и содержать. Ты молодец. Узбек сам?

      –  Таджик – гордо ответил Пахлавон.

      –  Ты, таджик, далеко за хлебом-солью не едь. В Москве люди – звери .Тут не оставайся. Одного сожрут. Пришибут где-нибудь за просто так. Ты доберись до города Горький. Большой хороший город. Строят по-бешеному всё, что попало. Обновляют Нижний Новгород. Чтоб царизмом не пахло. Старое ломают, новое на это место лепят. Идиоты. Вот туда езжай.

      Обходчик помахал Пахлавону молотком как платочком и побежал дальше к голове состава, постукивая по металлу и прислушиваясь  к звону, как музыкант к камертону.

      На следующее утро Пахлавон был уже в Горьком. Цена на такси от вокзала до микрорайона «Волгарь», где таксист видел бурное строительство, была чисто символической  – рубль. Оставалось еще 3 рубля. Или на еду. Или на какую-то другую дорогу, если здесь не повезет. Шансов на то, что повезет было много, но Пахлавон  к возможной удаче отнесся с опаской и решил не тратить деньги на еду,  а пригреть их в кармане на дорогу куда-нибудь ещё.

      Но ему повезло сразу. На первой же стройке его взяли на работу. Ставить панели пятиэтажек. Стоять на приеме панели с крана. Снимать зацепы и направлять панели в пазы. А сварщики потом будут связывать арматуры.

      Работа была интересная, не трудная. В бригаде было двадцать три человека. Русские, узбеки, два корейца и молдаване. Ну, и один таджик Пахлавон. Он с аппетитом вкалывал целую неделю, перезнакомился со всеми. Все были добрые, спокойные, хорошие. А бригадир Володя  сказал, что паспорт ему пахлавоновский без надобности.  Что ему нужнее хорошие руки и не тупая голова. И зарплату назначил неслыханную, сто рублей за месяц.

      Но ровно через неделю бригадир поднял всех ночью, часа в три и сказал, что только что приезжал на мотоцикле сержант, его осведомитель из горотдела МВД, которому он платил за отмазку от  милиции, и передал, что в девять утра запланирована проверка Володиной бригады на подтверждение квалификации рабочих, соблюдение паспортного режима и отсутствие в коллективе беглых уголовников. А такие у Володи в бригаде имелись.

      Он построил всех по росту и отдал приказ: разбежаться немедленно на неделю. Через неделю встретиться за кремлем, ближе к Стрелке, где соединяются Волга и Ока, в десять утра. Он дал Пахлавону  двадцать пять рублей за неделю, поматерил милицию и дал указание не болтаться по городу, особенно по центру. После чего все тоже сонно поматерились на милицию и так же сонно рассосались в темноту, в разные стороны. Работали практически все тут уже три года и перенесли с десяток таких проверок. То есть, милиция приходит, никого не видит, спрашивает сторожа где бригада, а сторож отвечает, что все заболели поносом и слегли в разные инфекционные больницы. Милиция горестно вздыхала и уходила месяца на три.

      Пахлавон вышел из  спального вагончика в ночь и пошел к проходной, дальше которой ему идти было некуда. Он попросился у сторожа доспать часов до семи  у него в каморке, но сторож не согласился. Топчан был один, а сторож давно, видимо, растолстел килограммов до ста двадцати и даже  миниатюрный Пахлавон на топчан рядом со сторожем не смог бы примоститься никак.

      –  А ты иди вон туда,  – сторож протянул руку вперед как Владимир Ильич Ленин. Просто и торжественно.  – Через два километра увидишь справа стенку огромную. Кремлевскую. Иди левее и приползёшь прямо на Стрелку.

      Там вдоль берега скамеек пятьдесят. Найдешь пустую, где бичи не спят, и отдыхай хоть весь день.

      Он пошел по обозначенному рукой сторожа пути. Часам к семи, когда уже  ярко поливало розовым светом  вынырнувшее прямо из  Волги солнце, он дошел до первой пустой скамейки. Лег и проспал до девяти. Время сообщил громкоговоритель снизу, с берега Волги. А может Оки. Там была пристань.

      Играла музыка, пел детский хор. После него запищали сигналы точного времени и красивый женский голос сообщил, что «московское время  – девять часов». Пахлавон поежился, совершил десять приседаний, взял со скамейки авоську и пошел назад от берега. Добрел он до какой-то асфальтированной дороги и сбоку увидел  автобусную остановку. На остановке стояла бабушка лет семидесяти  с мешком и двумя сумками, из которых торчали бумажные рулоны обоев. Штук пятнадцать.

      –  Это куда автобус идёт?– спросил Пахлавон.

      –  В Павлово, сынок.– Сказала бабушка и почему-то подтянула мешок поближе к ноге.

      Сзади  послышались веселые и громкие мужские голоса. И через пару минут на остановку быстрым шагом зашли два парня. Один огромный как будто сделанный из двух человек вверх и в стороны. Другой – невысокий, но страшно мускулистый. Он был в легкой футболке и мышцы буграми выпирали из неё, как будто под футболкой парень прятал много больших и маленьких воздушных шаров.

      –  Ты тоже в Павлово?  – спросил Пахлавона огромный.

      –  Я не знаю, куда мне,– грустно ответил Пахлавон.  – Я работу ищу. Уже  скоро месяц как ищу.

      И он рассказал парням свою невеселую историю. Те слушали, не перебивая, качали головами и присвистывали в особо острых местах рассказа. А когда Пахлавон закончил и уперся взглядом в асфальт, тот что поменьше сказал.

      –  Давай, поехали с нами в Павлово. Там тебе и работать будет хорошо, и жить будешь как человек. И протянул руку:  – Женя. Наиль,  – подал свою пятерню размером с лопату второй.

      –  А я Пахлавон – впервые за последний месяц улыбнулся Пахлавон.

      Вот так его мытарства и закончились. Он прекрасно влился в ватагу, его все берегли и любили за доброту, умелые руки, восточную мудрость и за то, что готовил он еду как шеф повар дорогого и почитаемого гурманами ресторана.

      Об этом Пахлавон  рассказывал мне уже на обратном пути в ватагу. Моториста мы застали на месте. Он был пьян почти в дымину, но держался молодцом и слова произносил членораздельно, хотя и путано. Из его зашифрованного литром самогона сообщения  я понял главное. Паром на Тумботинском берегу будет ремонтироваться еще не одну неделю. Никак туда из Нижнего не привозят пока какие-то нужные запчасти. То есть переправа из Павлово в Тумботино мне не светила, считай, до осени.

      Мы шли обратно уже к вечеру, загребая туфлями песок и  сладостно вдыхая пахнущий невинностью планеты речной бриз.

      До ватаги оставалось два километра и полчаса быстрого хода. До моего родимого дома становилось так невозможно далеко, как до моей старости.

      И так же невыносимо долго, как издалека веками течет река Волга. А мне двадцать восемь лет, которые некуда деть и нечему посвятить.

                          Глава десятая

      Как ни грустно и медленно несли мы каждый в своей душе увесистый груз  воспоминаний о мытарствах Пахлавона, а к ватаге приближались всё равно быстро. Песок, пролезающий своей почти неосязаемой пыльной сущностью в туфли, превращался там в иголки, шпильки и канцелярские кнопки. А, может, даже в наждачную рваную бумагу. Он проедал носки и издевался над кожей как садист-дознаватель с многолетним опытом выбивания из подозреваемого правды. Ноги были горячими, чувствовалось, чуть ли не до колена. И мне казалось, что кожи под носками ужи и нет. Вот сниму сейчас в ватаге туфли и выяснится, что под носками нет ничего. Ног нет. И останусь инвалидом. Дадут мне первую группу и хорошее пособие, на которое я спокойно и комфортабельно заживу наконец, не делая ничего. Ни краску не буду катать в бочках с откоса, ни журналистикой не стану себя изматывать, а начну писать одни только песни и рассказы, не выходя из дома. При мелькнувшем образе дома родного как-то легче стало переносить песочную пытку и вскоре мы уже добрели до костра.

        Парни, похоже,  жгли доски, но крашеные нитрокраской. Яд, безжизненно прячущийся в ней, засохшей и потерявшей смачный колор, просыпался в огне и радостно губил всё в округе. Бриз с Оки как вентилятор раздувал удушающий привкус ацетона и нитрата целлюлозы по побережью, которое страдало всем своим существом, заполненным бабочками, цикадами, всякими паучками с жучками и птицами на хлипких ветках кустарников. Костер высвечивал только лица, затылки и большой чан, зависший над оранжево-фиолетовым пламенем на двух рогатинах по бокам и толстой    арматурой, держащей ручку чана, в котором кипела вода и заваривался крепкий чай.

      По количеству высвеченных объектов я понял, что у нас гости. Вокруг костра громко разговаривали и смеялись семь человек, а седьмым вообще-то был я. Пахлавон шестым. И мы ещё только подбирались к костру. Он был и маяком, и очагом, и хоть временным, но домом. Мы подошли тихо и никто не заметил как Пахлавон примостился, скрестив ноги, за безразмерной спиной Наиля, а я опустился на корточки  возле Толяна. Гости были знатные. Сам бугор. Ватаг. Генерал песчаных побережий. Он был в белой  рубахе навыпуск, в шляпе из тонкого фетра и кофейного цвета шелковых брюках, которые заканчивались бежевыми туфлями на  приподнятом каблуке. Ватаг, видно было, не так давно хорошо выпил и закидал сверху выпитое шашлыком, запах которого я бы, наверное, отловил бы сейчас и за километр. Он был весел и добр, говорил мягко и не спеша. И улыбался. Что он говорил – не важно, байку какую-то травил. А вот наряд его имел значение. Так элегантно он обычно не одевался.

      –  Чего стряслось-то?  – тронул я за плечо Толяна.  – Праздник что ли какой? Бугор зачем приехал?

      –  А у  Женьки день рожденья завтра,  – Толян прикурил папиросу от огрызка почти остывшей крайней доски.  –  Поздравить приехал. А завра ватаг в Нижний едет на три дня. В Главрыбхоз. Будет нам спецодежду выбивать. И пару бредней. Сидим на рыбе, можно сказать, а ходим покупать в холодильник к чеченам за три километра. Дурь полная. Женька вон ловит руками по три штуки за раз. Так не хватает же. Рыба там тоннами плавают.

      –  А второй кто?  – я взял у Толяна тлеющую  щепу и тоже прикурил «Север».

        Толян потянулся, как с утра при подъёме, и щлепнул ладонями по коленям. -Второй, это как раз мужик и этого самого Главрыбхоза. Бугор его позвал вроде как на юбилей артели. На десятилетний. А сам покормил его хорошо в Павлово, сувениров всяких надавал. Вон двустволка лежит, видишь? «Белка» называется. Модная. Это один из сувениров. Остальные вон в том чемодане. Не знаю что там. Но не кирпичи точно. Толян хмыкнул и кружкой зачерпнул из чана чай, испускавший таниновый разогретый туман и вполне зарубежный аромат. Чай он протянул мне и достал из кармана две карамельки в синей обертке.

      –  Сливовые!  – похвалил он конфеты и сходу впрягся в разговор с ватагой ни о чем, который шел, похоже, давно, но сам по себе никакой смысловой нагрузки не нёс.

      Дело шло к ночи. Было уже часов десять с хвостом. Гость  неприлично зевал от разыгравшегося в организме коньяка или хорошей водки, глядел на часы и временами пихал в бок ватага.  – Давай, поехали уже. Ещё к Нейману надо заехать, он мне замок для гаража сделал. Забрать надо.

      –  А что, десять лет уже ватаге?  – я снова повернул Толяна к себе лицом.

      –  Десять было два года назад.– Толян опять хмыкнул и вытер губы липкие от сливовой карамели.  – Но это ж не юбилей. Сам подумай: легче нужного человека выдернуть к себе на юбилей или просто упросить бухнуть без причины?

      Ватаг поднялся, гость тоже. Ватаг взял тяжелый чемодан. Гость – ружьё.

      –  Ну, пацаны!  – воскликнул бугор как в театре. Пафосно.  – Еще раз нас всех с юбилеем, а Жеку с восемнадцатилетием, как всегда!

      Все захлопали в ладоши, отчего незатухающий костер стал метаться  в стороны отрывающимися от тела огня язычками да искрами.

      –  Стас, ты подойди ко мне на минутку,  – махнул мне белым рукавом рубахи бугор.– На пару слов и мужицких объятий.

      А я думал, что он меня и не увидел вообще. Сидел-то я, прикрытый пеленой дымки от костра и спиной Толяна. Я поднялся на ободранные песком несчастные свои ноги и пошел за ватагом, уходящим медленно и неровно в темень. Такая у него, видно, была метода индивидуального общения. Подальше от любых ушей и глаз.

      –  А ты чего, Стасик, такой ненормальный путь домой себе сочинил?  – спросил ватаг, включил зажигалку и поместил её между нашими лицами. -Чего бы тебе не поехать в Нижний в свою газету, да не взять у редактора денег на дорогу? Скажи  – родители приболели, домой зовут срочно. Ты задание от газеты выполнил? Выполнил. Отдай редактору что написал. Забери паспорт, займи до приезда домой денег, да и дуй пока трамваи ходят. А?

      –  Не могу.  – я глядел на ватага в упор и, наверное, взгляд у меня выражал всю дурь моего характера и несуразность диковато самоуверенной натуры.  – Я не могу так. Меня человек на работу хочет взять. Ждет от меня хорошего. Надеется, что я дополню свежим пером его сложившийся коллектив. А я приеду сейчас и скажу:  – На, Саша, тебе твои тряпочки, отдавай мои куколки, а я домой валю. Клал бы я хрен на твою веру в меня, на всю контору и на единый в творческих замыслах коллектив. Давай мне  ещё раз денег и жди когда я тебе их пришлю. Если пришлю, конечно. Дерьмо – ваша газетка, а я кручу педали домой, в свою хорошую газетину!

        Обнимемся, щеками потрёмся и разбежимся, счастливые тем, что я ему чего-то там написал, о чем они уже сто раз сами писали, а он ещё раз денег отвалил под честное слово абсолютно чужого и  непонятного чудака на букву «Ч». Или  на букву «М». Я лучше не буду человека против шерсти чесать. Доберусь домой, отошлю ему репортажи, которые не устареют никогда. А он мне на адрес паспорт пришлет. Честно будет и без обид с денежными накладками. Он мне уже дал денег на командировку. Второй раз просить – язык не хочет. Совестно. Фактически  я ему покажу, что  их газета мне не нравится и работа, которую сделал – тоже. Сам доберусь.

      Ватаг погасил зажигалку и закашлялся. Наверное, бронхит когда-то поймал основательный. Он прошел метров десять вперед и сказал из темноты:

      –  Ну, может, ты и прав. У вас, пацанов, сейчас борьба с жизнью и за неё другая. Не как у нашего поколения. Ладно, как обещал – денег дам. Работаешь хорошо. Ребята сказали. Жди тогда.

        И он превратился в ходячий удаляющийся кашель, который влажным ветром несло обратно к костру. Я повернулся и пошел на огонь. На фоне тающего пламени и тускнеющих искр увидел приближающийся силуэт гостя. Он шел , мотаясь в стороны как детская игрушка, подвешенная на резинке. Он пел какую-то неизвестную народную песню, а ружьё тащил за собой по песку на ремне.

      –  Ну, давайте вы тут, не балуйте шибко,  – промычал он, тенью скользя мимо меня.

      –  Этого я не допущу!  – заорал я ему вдогонку, с трудом сдерживаясь от дурацкого хихиканья.  – Через год можете проверить.

      Костер тушили. Он распадался на сине-черный дым и погибающие на песке искры.

      –  Спать пошли.  – сказал Евгений.  – Делать завтра нечего, но спать всё одно приходится.

      –  С днём рождения, Евгений.– Сказал я, поднимая с земли свой сверток с простынями, одеялом и отдельно – портфель свой под голову.

      –  Да было бы чего!  – охнул Женя.  – Год прошел, могила ближе.

      Так и разошлись. Не думая об этом, но внутри надеясь на доброе утро и такой же день.

      Я пошел к кустам, поближе к Дмитрию Алексеевичу. В честь дня рождения Жени он браги выпил больше, чем обычно, но до своего ночлежного места  добрел и уснул ещё на ходу. Храпел он музыкально. Композитор же. Рулады выводил с перепадами  от низкого тона до высокого, громкие, ритмичные, происходящие от ровного спокойного дыхания. Даже пьяный в хлам он не нервничал, не переживал ни о чем, не бузил и оставался человеком искусства, взлетевшим надо всем обыденным и отказавшимся спускаться к тяготам житейским. Он уже привык к тому, что больше он не музыкант, что уже нет семьи, друзей из прошлой жизни, нет надежд на возвращение в объятия Мельпомены, да и другие надежды давно вымыла из головы и сердца брага.

        Он жил спокойно в своем придуманном  полете над серостью бытия, но, парадокс, уже никуда не хотел уходить из этой примитивной, как банальная азбучная гамма, действительности. Да никто его в другую, бывшую, украшенную аплодисментами и цветами к ногам жизнь и не звал, и не гнал. Потому спал он как и жил – грустно, но легко.

      В темноте я шел на мелодичный храп как на свет маяка. Лег рядом, но уснуть не выходило.

        Перед глазами в полной тьме маячила как мираж  кустанайская степь. Часть её слева засеяли Безенчукским зерном для продажи зарубежным друзьям, а правая часть, сразу за колосистой клеткой, была седой, как сказочный волшебный дед, от ковыля. Он под степным низким ветром клонился к земле и раскрашивал её серебряными переливами, не оставляя под собой просвета. Земля была накрыта белой праздничной скатертью, будто ждала праздника, а от него особой радости. Нет, она была засыпана летним снегом, которого нигде больше не может быть в такую жару. Она была завалена им почти на метр, живым  снегом-ковылём, который под солнцем и ветром то перламутром гладил мой взгляд, то находил в своих пушистых сугробах нежные сиреневые и розовые блёстки, которые жили мгновения, успевали поразить даже подготовленный к такой красоте взгляд, а потом снова превращались в ослепительную белизну. Смотреть на такую взволнованную ветром седую голову матушки-земли  было невозможно без восторженного потрясения. Сколько ни мотался я раньше по степям с редакционными заданиями, у ковыльного острова среди клеток с золотистыми  пшеничными колосьями всегда останавливался как перед чудом. И точно знал – это именно чудо и есть. Мне и сейчас жаль людей, убежденных, что чудес не бывает. Им не повезло. Им не довелось видеть ни степь ковыльную, ни  могучие хлебные поля, которые способны отталкивать горизонт дальше самого горизонта. Ну, да не всем же могло повезти так, как мне.

      После этой мысли сон отшибло начисто. Я ворочался, считал звезды, слушал разговор волн с прибрежными камнями, вникал в разноголосие невидимых цикад и думал, думал и думал о доме, о родимой казахстанской земле, которую мечтал обойти и объехать всю, до последнего километра, попросить у неё силы, заполнить ею  разум и душу, а ей дать взамен мою любовь и умение рассказать о людях, делающих  эту землю лучше и жизнь на ней – желанной.

      Вот на  этих мыслях и застукал меня рассвет. Я сел, посмотрел на тёмную пока реку, на просыпающуюся ватагу, на  почти  живой ещё костер, таинственно мигающий многочисленными глазами непогасших за ночь угольков. Встал, собрал в комок постель и пошел вниз к реке Оке. Искупаться, умыться и жить дальше, чтобы быть ещё ближе к отъезду домой.

      Желание поскорее уехать становилось с каждой прожитой на берегу неделей почти маниакальным. Хорошо, что на десятки километров вокруг не было никаких психиатров. Вот только они одни могли понять меня не правильно и закрыли бы на излечение от навязчивого состояния, названного наукой ситуативным бредом.

      Пахлавон подкинул в полуживой костер сухой травы, а на неё щепочки. А на щепочки три толстых доски. Потом повесил на рогатины чан с водой, поставил рядом пачку хорошего чая «Три слона», сел на песок, скрестив по-восточному ноги, и стал мирно ждать возрождения пламени. Евгений с Анатолием и Наилем, подтянув трусы повыше, чтобы их не забрала себе быстрая вода, разогнались и на несколько секунд разорвали течение, оставляя после себя дорожки в расступившейся до близкого дна реке. Они привычно нырнули и исчезли на минуту или больше, а появились метрах в ста от старта, прихваченные течением и снесённые вниз вдоль берега. Обратно они плыли как в кино, снятом в режиме рапид. И непонятно было –  это река сопротивляется трём здоровым мужикам или мужики сопротивляются силе движения воды. Победила дружба человека с природой. Помаявшись вразмашку на низких гребешках волн, ребята минут через двадцать на карачках выползли с мелководья на песок. Перевернулись на спину, руки подняли к небу ладонями параллельно небу и жидким хором спели до половины гимн Советского Союза. Я в это время проходил мимо них в реку и спросил:  – А гимн тут зачем был?

      –  А мы других песен не знаем!  – заржал Анатолий.

      –  Гимн  – великая сила. Плыву, мысленно его пою и живой выплываю.  – потягиваясь произнес Наиль вверх, в небо.

      Женя помолчал, потом вскочил, сделал  двадцать приседаний и сказал:

      –  А чёрт его знает, почему гимн. Года три назад еле выплыли. Не знали хитростей таких заплывов тогда. Бугор потом подсказал как надо обратно добираться. Он местный. Вырос тут. Всё знает. А тогда Толян чуть не утоп вообще. Ну, мы тогда ему помогли, сами от этого силы сбросили. Кое-как выползли. Сели на мели на задницы и сидим. Дышим как астматики. Морды у всех бледные, покойницкие. А тут Толян ни с того, ни с сего гимн запел. Спел почти весь и сказал, что мы с Наилем герои. И его спасли, и Оку одолели. Потому, что нет преград советским людям. И нет таких высот, которые не падут перед строителями коммунизма. Ну, мы ему ответили, что он тоже герой. Потому, что запросто мог и нас с собой на дно прихватить, но этого не сделал. А, напротив, трепыхался активно, полз на волну как на амбразуру и выполз же. Герой. А героям что положено от радости победы петь? Не частушки же! Вот и пошло потом. Заплыв удачный сделаем – поем гимн. Традиция. Да и сила в гимне нашем серьёзная. Споешь – она частично в тебя переходит. Да точно говорю. Не вздумайте ржать. А то со мной будете дело иметь!

      –  А!  – воскликнул Толян.  – Он напрашивается! Наиль, угомони пацанчика. Пусть попробует татаро-монгольского ига кусок-другой. Ломай штангиста, Наильчик-богатырчик!

      Они весело подпрыгнули в позе дикарей, танцующих обрядовый танец победы, после чего убежали на середину берега, на мягкий  песок, и начали бороться. Толян с Женей окружали Наиля, кидались ему под ноги для захвата, висли на нём одновременно и попеременно. Наиль улыбался, стряхивая с себя нападающих как осенью дерево сбрасывает листву. Мягко и как бы нехотя.

      Сзади к Наилю подкрался и Грыцько, обхватил его со спины крепким мужицким  замком, сжимая сцепленными руками живот гиганта. До груди он просто не дотягивался. Наиль сначала сбросил с себя Толяна, ладонью надавил Евгению на голову, заставил его наклониться и не видеть ситуацию. После чего наклонился почти до песка лбом и Грыцько перелетел через него как юная птица, ещё не научившаяся толком летать, и рухнул мешком в податливый, почти пуховый песок.

      –  Ничего так,  – подумал я и пошел плавать. Мама научила меня в детстве не лезть в воду, не зная броду. Эта простейшая заповедь сто раз выручила меня в буйной и бурной хулиганской юной жизни. Только мамино правило, спорт, книги, художественная студия и музыкальная школа выручили меня тогда и не дали  влететь на кичу или на зону. Поэтому я поплавал неподалёку от берега, освежился до такой степени, что забыл и про ночь бессонную и про думы грустные, хотя и лирические. Вышел на берег, добрался до своего портфеля, достал свой « Зенит TTL» и  снял несколько кадров богатырских  шалостей. Пахлавон принес мне кружку горячего чая и две карамельки. Я увлекся разворачиванием присохшей к конфете обертки и одновременно мыслями о том, что вряд ли я доживу здесь до зарплаты. Очень уж сладко бугор произносил заклинание: «Денег я тебе дам». Когда таким тоном обещают, то или вообще не дадут, либо очень нескоро.

      –  Эй, Стас-барабас!  – закричал Грыцько, вытряхивая песок из майки и трико с  пузырями на коленках.  – Давай, помогай. Валить надо бычка!! А его примять можно только бульдозером. Давай, подходи. Поваляемся вместе. Помогай друзьям и друзья тебя похоронят с оркестром!

      –  А можно я сам?  – спросил я у всех.

      –  Сам – чего? Наиля положить?  – Грыцько аж закашлялся. Евгений  с улыбкой отвернулся, Пахлавон смотрел в кружку с чаем. Толян задумчиво почесал затылок, а композитор издали покрутил ладошкой влево-вправо. Не надо, мол.

      –  Да ладно, чего вы…– смутился Наиль.  – Хочет парень попробовать, пусть попробует. Свои же все. Он тоже свой.

      –  Ну…– задумчиво сказал Евгений и сел на песок поодаль.  – Стас, ты не передумал?

      –  Да вроде нет пока,  – я снял рубаху и туфли. Песок был теплый и бархатистый.

      –  Ну, давай, нападай,  – Наиль подошел поближе и уложил руки на бедра.

      –  Да я не умею нападать. Защищаться буду. Сам нападай.  – Я встал напротив него на расстояние шага.

      Наиль снова смущенно улыбнулся, протянул руку, чтобы взять меня за шею и сразу же упал. Ребята сидели метрах в пяти полукругом и ничего не поняли. Наиль, лёжа на животе, поднял голову и спросил меня:  – Это что было-то? Я почему валяюсь? Ты же меня не бросал. Нет?

      –  Нет, не бросал.– сказал Толян.  – По-моему, вообще не дотронулся до тебя. Может, ты споткнулся?

      -Да нет вроде бы… – Наиль поднялся.  – Ещё попробуем?

      –  Давай.

      Наиль левой рукой ухватил меня за правую, а правой потянулся к правой моей ноге, чтобы подсесть и сделать «мельницу», бросок через корпус.

      И в этот момент снова упал, но уже на спину, раскинув руки. И снова никто не понял, как это произошло. Евгений подошел ко мне близко и сказал:  – Со мной так сможешь?

      Он резко выбросил вперед обе руки, стиснул меня за талию и собирался оторвать от земли, взять вес на грудь и по-борцовски бросить меня через «мостик» назад. Но сразу же завалился вбок и потерял равновесие. Вместе с ним я сделал шаг в сторону его уклона и Женя кувырком, через голову перевернулся и отлетел метра на два.

        -А если мы вдвоем нападем?– спросил Толян.  – С Наилем. А?

      –  Не, я со стороны посмотрю как он это делает.  – Наиль сел на песок.

      –  Я тоже посмотрю. Это фокус какой-то. Наиля положить на землю – это шутка какая-то. Или казус.

      –  Или кто?– переспросил Толян.

      Наиль обнял Евгения за плечо, сел с ним вплотную и  вытянул слегка шею вперед, чтобы разглядеть суть фокуса.

      -Ты давай, нападай с Гришкой вместе.  Может вы его положите.

      Через несколько секунд нападавшие валялись на  песке, а Толяна я придержал за кисть и слегка повернул её в суставе. Толян охнул и закричал – Всё, хорош! Есть контакт. Больно, отпусти!

      –  Стас, ты что, в цирке работал?  – Наиль поднялся, обнял меня, но осторожно. Чтобы случайно снова не упасть.

      Я им рассказал, что использовал приёмы карате. Никто из ребят о карате ничего не слышал. В 1977 году оно официально и ещё было под запретом и занимались им подпольно. Тех, кого власть вычисляла и находила, наказывали и штрафами, и сообщениями на работу о недостойном поведении, а особо активных или организаторов групп карате, были случаи, судили или выселяли из города.

      Я рассказал, как мне повезло. В армии  один офицер из нашей части три года был в служебной командировке в Японии и там легально обучался карате. Вернулся в часть в 1971 году, как  раз тогда, когда там служил рядовым и я. Он ввел тренировки по карате в обязательную программу физподготовки. А после дембеля я уже сам  собирал тайные группы сначала в Кустанае, потом в Москве. Получилось что у меня уже имелся  почти семилетний каратешный  навык к моменту нашей встречи с парнями в ватаге. В 1977 году я вдобавок к восточным единоборствам  был мастером спорта по легкой атлетике. И одно другому очень помогало. Рассказ свой я сопровождал демонстрацией различных приемов, потом отдельно показал удары, блоки, подбивы, подсечки, воздействие на суставы рук и ног, броски, удушающие техники, способы переломов и вывихов у противника.

      Всё это мужики попробовали испытать на себе с круглыми глазами и удивленными восклицаниями, которые в силу маминого воспитания культуры изложения мыслей, я здесь дословно приводить не буду.

      В общем, задружили мы со всеми на основе карате  прочно и тренировались каждый день, иногда по два раза. Утром и вечером. С Наилем мы через три дня стали заниматься отдельно. Он очень хотел года через два вернуться в Казань, найти дополнительную литературу по карате и открыть там секцию.

      –  А почему через два года именно?– спросил я.  –  Ты ещё столько времени хочешь торчать тут за копейки, без перспектив и радостей свободной жизни?

      –  Да мне пока нельзя в Казань. Надо подождать пока всё там утихнет. Тогда поеду.

      Мы после тренировки сидели с ним возле воды, опустив в течение ноги, уставшие от скольжения по мягкому, но всё же песку. Умывались , отдыхали.

      –  Сбежал от кого-то?– спросил я.

      –  Не знаю я. Пусть считается, что струсил и сбежал. Я тебе расскажу коротко что там было и почему я тут. А ты сам думай  – струсил я или просто глупую и несуразную беду от себя отвел.

      Рассказ  Наиля о несправедливости и безразличии «больших» людей к судьбам людей «маленьких».

      Я в аэропорту работал техником на обслуге. Маленький аэропорт. Местные авиалинии. Кукурузники там, Ли-2, это «дугласы» контрибуционные, «яки» десятые и двенадцатые, санитарные. Два вертолета «МИ-1», маленькие. За пожарами следили. Ну, у нас, техников, работа вроде простая, но важная. Сел самолет, мы его втроем облизываем со всех сторон. Закрылки проверяем, тросики. Рули внешние, высотные и поворотные. Шасси смотрим на протечку амортизаторов и  уровень давления в камерах. Потом заправляем бензином-керосином, маслом, а антиобледенителем только «дугласы». Они выше четырех километров летают. Потом колодки убираем и – лети птичка. Летуны сами так, для отвода глаз, обойдут потом самолет. Тут постучат, там подергают. Но не лезут в наши дела и мозги не забивают советами. Доверяют. У нас случай был, не в моей смене, правда. Второй пилот с АН-2 хвостовой закрылок слева подергал после нас и выдавил как-то один тросик из паза. Так и  улетели. Им двести километров надо было покрыть до райцентра одного. Стали садиться, а машина вниз не идет и кренится. Хорошо командир грамотный был, тридцать лет летал. В войну отпорхал своё, живой остался. И потом на  По-2 как сел в сорок седьмом, так и прирос к нему, пока Аннушки не прислали нам. А там разницы в конструкции почти никакой. И Поликарпов, и Антонов как договорились: сделали феноменально надежные и устойчивые бипланы. Представляешь, эта корова «аннушка» с  вырубленным мотором планирует и садится мягко. Ну, конечно, когда все рули работают. А тут командир сообразил, что делать, молодец. Он крен  оставил и движок загрузил до упора. Дал таким макаром круг над посадочной а потом ровно на неё вышел с круга-то и мотор вырубил. Машина тогда поплыла сама ровно, без крена к земле. Сели. Командир по рации связался с нашим портом и обматерил руководителя полетов. Гони, говорит, к едреней матери техников. Угробят они нас и пассажиров. Трос на руле высоты порвали, сволочи. Еле сели. Полетный пообещал, что всех уволит, конечно. Но второй пилот мужиком оказался. И раскололся командиру, что это он после нас дергал рули вверх-вниз. Тросик, видно, и выскочил. Командир сходу дал ему в челюсть. На том и поладили. Он еще раз связался с нашими, сказал, что техники пусть дальше работают. Это мы, мол, сами напортачили после вас.

      Ну, такое редко случалось. Я там шесть лет отработал. Не было происшествий.

      Моя жена, Арзугуль, мне давно говорила, что чувствует приближение беды какой-то. А она у меня женщина непростая. Видит всё наперед. Один раз, лет пять назад, говорит:  – Надо нам из бабушкиного дома уехать. Он  через пять дней обвалится. Бабушкина душа не хочет, чтобы этот дом стоял и напоминал нам про нашего дедушку Зафара, который всё из дома пропил. Да и бабушку в могилу тоже он загнал. Бил её по молодости, а постарел – пить так начал, что его неделями искали по всей округе. Находили, откачивали, на ноги ставили, а он посидит дома пару дней, очухается, да опять свистнет чего-нибудь из дома, пихнёт на вокзале подешевле и гудит потом дней десять на эти деньги. Дружков у деда было – море. Вся окраина Казанская, северная. Он пришел один раз домой пьяный в дым, снял ружье со стены, патрон в ствол всадил и хотел бабушку застрелить. Ну, вроде за то, что она его собирается в психушку сдать. Ему дружки сказали, что сами слышали на базаре как она брату своему младшему, мяснику, докладывала, что прямо как найдет его в какой-нибудь тошниловке, так сразу вызовет санитаров и повяжут его смирительной рубахой. И оттуда, из диспансера, не выберется уже дед Зафар до конца жизни.

      Но что-то там человеческое внутри у деда шевельнулось и стрелять он не стал. А только стукнул её прикладом в грудь и ушел. С ружьем ушел. Ближе к центру города его отловил патруль, ружье незарегистрированное отобрали у него, а самого посадили в обезьянник. Потом следователь как-то выяснил , что дед шел на бывшую свою работу, в  автопарк. Его оттуда попёрли за пьянку на рабочем месте. Он слесарем был там. И он шел застрелить начальника автопарка. После ему припаяли статью «покушение на убийство» и  посадили. Дали  два года.

      А бабушка после удара прикладом стала кашлять сильно, потом кровью кашляла месяца два, травы какие-то пила, к колдуну ходила. Но потом умерла скоро. А дед отсидел своё, пить там бросил. Где на зоне пить? Не всем достается. Вернулся, долго горевал, что бабушка померла. Недели две сидел за столом, смотрел в окно. Только в туалет выходил. А чего ходил –  не поймешь. Не ел ведь всё это время ничего. Просто сидел и пялился в окно, даже на могилку к ней не сходил ни разу. А потом пошел в сарай и повесился на кабеле электрическом.

      Ну, ладно. Дело давнее. Нет их, значит, так небесам надо было. Но Арзугуль, в тот же день, а я как раз на смене был, всё собрала в доме, увязала в узлы, в коробки рассовала. А мебель старая бабушкина такая была красивая и крепкая, что она брату Шарафутдину позвонила на работу и попросила грузовик найти, забрать мебель. И вечером поздно пришла ко мне на работу сказать, что мы пока переехали к Шарафутдину. Он неженатый, ему с нами не тесно будет. А там займем денег у её старшей сестры и маленький  домик купим недалеко от аэропорта, чтобы не мучиться в автобусах по часу.

        Вот мы переехали, живем почти неделю уже, а тут вдруг приходит ко мне поздно, почти ночью, сосед наш по старому дому, Аглям, и рассказывает,  что часов в пять вечера услышал за окном глухой долгий удар с шумом, как будто тяжелое что-то с неба свалилось. Его дом аж вздрогнул и лампочка на проводе под потолком качаться стала. Вышел на улицу. Видит – пыль грязная над землей метров на десять поднялась в том месте, где бабушкин дом. Обошел вокруг и подождал пока пыль осядет. Смотрит, а дома-то нет. И крыша упала, и стены рассыпались. А он же не знал, что мы переехали. Полез  в развалины. Искал кого-нибудь из нас. Тут другие соседи подошли. Сказали ему, что мы к Шарафутдину перебрались временно. Ну, тогда он и поехал ко мне на работу, чтобы сообщить новость.

      Так вот. С того дня как Арзугуль сказала, что через пять дней дом обвалится, пять дней и прошло. Понимаешь!!! Но она не ведьма. У неё от бога дар -видеть время наперёд и знать, что и когда произойдет. Плохое или хорошее.

      Ну, вот она опять мне  говорит вдруг про какую-то беду, которая ко мне идет, причем прямо на работу. Восьмого или девятого августа. Ну, а я восьмого выходной. Тогда, говорит, девятого не ходи работать. Заболей. Я, говорит, поеду к твоему начальству восьмого и скажу, что ты с температурой лежишь. И я, знаешь, вроде с ней согласился. Ладно, думаю, не сдохнут там без меня. Восьмого числа она им скажет, а до конца дня они замену вызовут.

      Но Арзугуль восьмого не смогла поехать к нашим. Она работала в центральной библиотеке тогда и ей буквально за день до моей смены на работе сказали, что из Москвы приезжает известный писатель, не запомнил фамилию-то, и он будет с читателями проводить конференцию авторскую по своей последней книге. Едет он от всесоюзного общества «Знание».

      И она пошла встречать писателя. После конференции он собрал весь коллектив библиотеки и часа два мыл всем мозги на тему пропаганды современной советской литературы, которая сейчас как раз на подъёме и просто напичкана большими талантами. Пришла домой поздно, расстроенная. В аэропорт не успела до шести. А после шести начальство со свистом улетало из кресел на персональных «волгах».

      Короче, пошел я на смену. В четыре часа прилетел кукурузник из Верхнего Услона. Через час борт уходил обратно. Мы его обработали как положено, всё проверили, залили горючее и масло. Летчики спросили:  – Нормально всё?

      Мы сказали что нормально. Вскоре подошел Газ-53 с  какими-то ящиками в кузове. Загрузили их на борт вместе с двумя парнями из этого грузовика, потом пришли шесть пассажиров. Летуны покурили в сторонке, после чего задраили дверь и мы убрали колодки. Убрали, значит, и пошли в подвал аэропорта. Там топчаны стояли для отдыха. Только прилегли под свист пропеллера и голос движка, который повышался с надрывом. Аэроплан взлетал. Вдруг раздался сильный треск, странное. рваное чихание двигателя, который вдруг замолчал. Тут же заскулила сирена, раздался выстрел из ракетницы, в подвал ворвался рев пожарных наших машин, который нёсся со взлетной полосы. Мы выскочили и увидели в ста метрах за полосой «аннушку», лежащую вверх колесами в облаке пыли. Мигали взлетные огни на крыльях, кабина была раздавлена ударом о землю, на земле валялись какие-то обломки. Дверь вылетела, сорвались все антенны и подкрыльные растяжки, лопнувшие при перевороте, от чего крылья сложились. Нижние лежали на верхних. Скорая и пожарники уже стояли возле самолета, из которого вылезли сначала летчики. Они стали помогать спуститься на землю всем шести пассажирам. Кто-то хромал, у кого-то на руках краснела  кровь. Но все были живы и целы. На Рафике подкатили наши начальники и уже разговаривали с летчиками. Минут через десять подбежали и мы, все трое.

      Никто из летунов и пассажиров ничего не могли толком объяснить.Мы поняли только, что взлет пошел нормально, а потом движок захлебнулся, выстрелил несколько раз газами, заглох, машина клюнула носом и свалилась с десяти примерно метров. Всё.

      Всех рассадили по машинам и увезли в здание порта. Скорая поехала сзади. Врачам надо было толком осмотреть участников  аварии.

        Аэропорт закрыли и мы стали ждать подъемные краны, да ещё грузовик с платформой для перевозки в мастерские самолета. Начальник перевозок не поехал со всеми, остался с нами возле самолета.

      Он сказал, что комиссия по разборке авиапроисшествия начнет работать с утра. Мы переночевали в подвале. Потом встретили комиссию, отвели  её в ремонтный ангар и сели рядом с ним на траву. Закурили и молчали.

      Через час вышли все, которые из комиссии, командир авиаотряда, начальник отдела перевозок и еще какой-то мужик в костюме и при галстуке. Я спросил нашего начальника  – кто это. Он сказал, что это следователь из транспортной прокуратуры. Я прислушался к разговору между ними. Уже всё им было понятно. Залитое масло было дефектным, просто всего-навсего разбавленным каким-то веществом вроде жидкого мазута.

      Ну и все потихоньку разошлись, разъехались. Мы , технари, отсидели без дела смену и утром поехали по домам.

      Арзагуль моя встретила меня так, будто всё знала. А она и знала. Клянусь!

      Она обняла меня и снизу прошептала.  – Это только начало. Завтра будет самое плохое. Но ты пойди на работу обязательно.

      Я ей:  – не моя же смена. А она повторила, чтобы пошел, и всё тут. Я и пошел. Было много людей. Кто в форме, кто в штатском. Все технари с аварийной смены тоже приехали сами. Нас собрали в маленьком зале для собраний. Дали каждому по листку бумаги и авторучки. Сказали, что надо написать объяснительные о том, зачем мы залили просроченное и негодное масло, в котором были посторонние фракции.

      Мы написали, что масло залили то, которое нам выдали на складе.

      Мужик в штатском собрал объяснительные и дал каждому ещё по листку, уже исписанному на машинке. Мы спросили:  – Что это? Мужик ответил, что с этого дня мы втроем находимся под следствием, а листки эти – подписка о невыезде.

      Я пришел домой .Арзугуль и Шарафутдин ждали. Они были печальны и молчали. Я показал им подписку о невыезде и сел за стол.

      -Тебе нельзя здесь оставаться,  – заплакала жена.– Тебя посадят.

      Я обалдел от её слов. За что сажать? Я что, специально масло втихаря размешал с навозом дома в сарае и совершил продуманную диверсию? Я же со склада его получил. Запечатанное. Каждую смену получаю и заливаю сколько уже лет. Никто не падал же! Все летали ещё как!

      –  Никто не будет вникать так глубоко. Они уже нашли крайних. Это вы втроем. Техники. Не командира отряда же сажать!  – жена снова заплакала.

      –  Ты вот что, Наиль. Езжай в Горький. Езжай сегодня же пока не поздно.– сказал Шарафутдин.– Утихнет тут, дадим знать. Тогда вернешься. А останешься – пару лет вычеркивай. Будешь сидеть. У меня в Горьком друг надежный. Дам тебе его адрес и записку напишу. Он поможет. Спрячет тебя.

      Ехать надо сейчас.

      Я попрощался с женой, взял сумку с бритвой и бельём, и, когда стемнело, пошел на вокзал. Поездов проходящих до Горького было много. Я взял билет и через полтора часа уже лежал на второй полке плацкартного вагона.

      Друг Шарафутдина открыл дверь квартиры после долгих объяснений – кто я, от кого и зачем приехал. Он не предложил даже чаю выпить. Сразу позвонил кому-то по телефону. Сказал в трубку, что нужно надежно спрятать человека на год или два. И сказал. Пойдет. Хорошо. Очень неплохо. Через три часа я приехал в Павлово-на-Оке и пошел по адресу. Как ты думаешь, к кому я приехал?

      –  К ватагу?  – удивился я

      -Да, дорогой, к нему. И вот с тех пор я здесь. И сколько мне ещё прятаться – неизвестно. Жена пишет, что пока возвращаться опасно. Ничего, поживу пока возле воды. Всё польза!

      Наиль поднялся и ушел.

        Догонять его я не стал. Я сидел ещё часа два один и старался думать о хорошем. Хорошего было много и смысл думать, и мечтать о нём присутствовал великий. Его было много где-то в других местах. И, ясное дело, дома, на родине. Куда звала и тянула меня моя извилистая судьба. У которой всё ещё не накопилось сил, чтобы выдернуть меня из этого странного и нелепого приключения.

                          Глава одиннадцатая

      Ночами мне было жить лучше, чем днями. Ночью я укладывался на всегда стираную в Оке простынь. Ну, как бы простынь. Это был двухметровый лоскут на ширину раскинутых рук. Его срезали прямо с мотка ткани в Павлово, в магазине «текстиль для дома». У нас было шесть таких лоскутов. На каждого. Три запасных лежали в тайнике у Пахлавона. Он сам его вырыл в откосе надбережном, обложил его снизу ветками и сухой травой, а земляные стенки, потолок и вход в него выложил досками, которые появлялись на берегу после каждой почти швартовки лодок с мотором. Доски были мокрые и лодочники их нам сбрасывали для костра. Толян их собирал, складывал на солнечном месте «колодцем» и  через три дня влага из них испарялась. А сами лодочники через километр брали доски сухие на маленькой лесопилке, которую бог знает когда там основали для нужд работников берега. Лодочники к берегу отношения не имели, зато имели отношения с распиловщиками. Они привозили им «русскую валюту» в  бутылках по ноль пять литра. Но досок набирали в меру, без наглости. Только на дно лодки. Это была временная подстилка под ноги. Ватага доски сухие применяла многообразно. Из них был стол, скамейки, туалет, ящики для своих мелких вещей и одежды, дрова для костра. Ну, кроме простыней ватаг добыл как-то в воинской части под Горьким одеяла солдатские. Синие, с черными полосами по торцам и с номерами, выжженными спичкой, намоченной в густой хлорке.

        Зимой ватага не распускалась. Бугор всех рассовывал по павловским хатам квартировать до марта. А из Павлово мужики бегали бегом по холодку работать на паромную переправу. Паром зимой не ходил. Ока вставала метровым льдом и надо было сперва проложить, а потом чистить дорогу для машин и людей. Бураны и метели по руслу носились часто и работы хватало. А в марте, если год был без выкрутасов, лед тончал, потом приезжали взрывники, закладывали в сверлёные лунки тол и взрывали. Дорога парому освобождалась. По бокам дорогу связывали от берега до берега канатом, пропущенным через пустые бочки, и паром ходил, хоть и с опаской. А в апреле начинался ледоход, бочки с канатами сносило неизвестно куда по течению. Переправа замирала на неделю-другую, но как только лёд становился мелкой крошкой, паром носился как угорелый туда-сюда, потому, что машин и народу было много. Заждались люди весны и теперь легко мотались кто из Павлово на работу в Тумботино, кто  из Тумботино на работу в Павлово. А ватага шла на свое место и продолжала жить ни хорошо, ни плохо, до лучших времен.

      Ну так вот. Ложился я на простынь часов в двенадцать. До двенадцати обычно у костра сидели, пили чай и трепались про баб, всякие ружья, про машины и политику. Ругали, как положено, заграничную неизвестную Америку и попутно нашу советскую житуху. Ложился я и сквозь мелкие, быстро бегущие, как козлята на пастбище, облака, разглядывал звёзды. Никогда раньше у меня не было ни желания особого, ни подходящего случая  пялиться на ночное небо. Меня потрясло количество звезд. Я думал, что их меньше, потому как раньше не вглядывался пристально, мельком бросал далеко не романтический взгляд вверх и потому замечал только те, что светились ярче и сразу бросались в глаза. А вот стал ночами разглядывать  сверкающую эту бесконечность и увидел то, что мерцало на втором плане, на пятом, и в самой глубокой глубине улетающей в небытие Вселенной. Меня поразило даже не бессчетное количество самих звезд, а картины, сложенные из них. Это были либо четкие фигуры, геометрически выверенные, либо абстрактные нагромождения голубых, желтых, оранжевых и почти бесцветных глаз Великой Вселенной, которые вроде и  приглядывали за нами, за всем, что тут, на планетке нашей, творилось. Но ничего не предпринимали. И всё на Земле катилось само по себе вкривь. Иногда, для разнообразия, вкось.

      Звёзды, глаза какой-то Высшей силы, правящей миллиардами вселенных, могли дать знак Правителям, что надо бы вмешаться и навести  у нас хоть какой-то порядок, но знака такого не давали почему-то. Наверное, им хватало того, что не нарушается природная гармония. После ночи идет утро, потом день, вечер, ночь, весна, лето, осень, зима, опять весна. И так – миллионы лет. Размеренно, четко, гармонично. Ничто не  исчезает и не скачет не на своё место. А то, что происходит тут с людьми, собаками, лягушками, муравьями и прочей мелочью, не достойно внимания Высшей Энергии.

      Я понимал, глядя в разукрашенную огнями темень, что был полным дураком, потому как не учил астрономию толком. Узнавал обеих Медведиц, видел Млечный путь, Марс различал, Венеру… А, разглядывая созвездия, всё время гадал – какое же из них созвездие Орла, в котором ярче всех сияет «летящий орел», звезда романтиков и влюблённых – Альтаир.

        В фантастике Беляева и у Юрия Германа я в лучших романтических контекстах встречал этот Альтаир. Молва про доброе влияние на влюблённых этой недосягаемой звезды умиляло девушек и стариков. То есть не искалеченных пока жизнью юных романтиков и проживших мимо всего романтичного до близкой гробовой доски дедушек и бабушек. Именем этой влиятельной в любви и лирике звезды называют всё хорошее. От пионерских лагерей до шикарных ресторанов. Ну, в общем, за время месячного ночного слияния со звездами  так и не вычислил я Альтаир. Слишком уж много было их, ослепительно ярких. Зато ночные бдения под тяжелым гнётом мерцающей бесконечности дали мне много. Даже слишком. Философское спокойствие разума и безразличное равнодушие к таким мелочам, как неудачи, безденежье и таящийся от меня призрак добрых надежд и счастливых перемен.

      Проснулся я, не помня, когда  уснул и не понимая, что проснулся. Звёзд сверху не было, а вместо них висела надо мной голубая  пустота, в которой не задержалось даже захудалое облачко. Пустота эта бездонная с утра не воспринималась радостно, несмотря на веселящий глаз цвет и солнечные блики, гуляющие по небу, как по своему жилью. Оно, конечно, могло видеться мне иначе: радужно и оптимистично. Но это утро было последним во второй неделе. Начиналась третья и не последняя моя неделя на Оке в ватаге. Потому как бугор деньги даст аж ещё через две. Это – если повезет.

      Ребята ни разу не получали денег ровно через месяц. Причем в один день ватаг всем и не платил. У каждого месяц был свой. Все ведь прибились к артели в разное время.

      Я сел на простыне, откинул одеяло, потянулся и стал разглядывать лодки, шевелящиеся на волнах хаотично, неравномерно и без утренней бодрости. Те, которые шли с моторами по течению, смотрелись веселей, но общую картину не улучшали. Вёсельные лодки крутились неподалеку от берега. На них сидело по два мужика. Один вёслами, потея и легонько матерясь, удерживал лодку на одном месте, а второй либо кидал блесну или мёртво сидел, прилипнув взглядом к проплывающему мимо себя поплавку. Это были суровые и молчаливые профессиональные рыбаки-любители, которые ничего почти никогда не ловили, но рабалка была их фанатической страстью, почти рабской долей. Они не могли не ходить на рыбалку. Они мучились и заболевали нервно, если идти рыбачить что-нибудь мешало: свадьбы, похороны, трещина в дне лодки, ураган или грипп с температурой тридцать девять и два.

      Помимо них уныло плелись моторки, вынужденные житейскими нуждами плыть против течения. Они издавали  натужные звуки, вода за движком вздувалась бело-желтым буруном, который, казалось, прилип к мотору и корме как магнит, тянущий суденышко назад.

      Я каждое утро, открыв глаза, поворачивал голову на реку в надежде хоть раз увидеть пустую воду. Только воду, которую ничто не засоряло. Ни лодки, ни речные извозчики-трамвайчики, ни бешеные «Ракеты» на подводных крыльях, гордо задирающие носы в знак пренебрежения любой, даже сокрушительной волной.

      –  Эй, Стас, давай вниз!  – это кричал Толян , расщепляя маленьким топориком доски для утреннего костра. Рядом шевелился Пахлавон, расставлял кружки и раскидывал по кругу как карты карамельки. Грыцько отмотал с фанерной бобины метровый кусок тонкого джутового шпагата и привязывал к нему с обеих сторон ветки. Одну потолще и покороче, другую тонкую, но длинную.

      Наиль отжимался на руках, а Женя ходил вдоль берега как заводной и сосредоточенно что-то разглядывал под водой. Только композитор с легким прерывающимся стоном еще во сне переносил муки сегодняшнего похмелья. И просыпаться ему было так же тяжело и невозможно, как взлететь над этой землёй и водой, парить под небосводом и петь арии из собственных опер.

      –  Пусть спит!  – кричал Толян.  – Не буди. Припрет похмелиться, сам встанет.

      У него похмельный пузырь под головой.

      Толян заржал как старый конь, негромко и хрипло. Я скатал в рулон постель, проверил в портфеле фотокамеру. Целая. Значит спал спокойно. Причем настолько спокойно каждую ночь спал я хоть и понемногу, что даже пряники, и те все были целыми. Да, что меня удивило: я  ведь эти пряники в первую неделю предлагал как деликатес всем.  То за обедом, то за ужином. Все оказывались категорически. Я не понимал – почему. А Наиль мне потом в сторонке сказал, что никто не берет пряники потому, что мне скоро предстоит дорога дальняя и, не дай бог, казённый дом. Лучше, конечно, казённый вагон. Что есть? Пряники. Денег ватаг даст  столько, что на дорогу бы хватило…

      Спустился вниз, сел рядом с будущим костром. Подошел Грыцько, бросил шпагат с веточками рядом и крикнул, чтобы все слышали:  – Эй, народ! На тренировку быстренько сбежались! Бегом, бегом!

      У нас теперь каждое утро и вечер, несмотря на любой тяжести физический труд, проводились тренировки по карате. Тренировались все, кроме музыканта. Ребятам совершенно новый вид боевых единоборств так понравился, что они просто заставляли меня показывать им новые приемы и учить выполнять их правильно. Мы  упражнялись часа по полтора-два раза в день не потому, что мужикам  хотелось срочно овладеть неведомым для большинства, а значит секретным  искусством побеждать голыми руками даже вооруженного противника. А потом быстро разыскать своего обидчика из прошлого и искалечить его до полусмерти. Нет, среди ребят из ватаги не было ни одного агрессивного или мстительного. Все занимались исключительно для самозащиты. А так много и часто потому, что мне надо было скоро уезжать. В это утро мы очень интенсивно, практически до изнеможения отрабатывали блоки защиты и контрудары, учились работать ногами, освобождаться от захватов и делать болезненные контролирующие концовки приемов на суставы кистей рук, локтей и пальцев.

      –  Может, ты не поедешь домой?  – сказал Наиль, стирая майкой пот с груди и лица.  – Чем тебе тут не дом? Ватаг еду носит, деньги хоть с опозданием, но дает всегда. Зимой на хатах жить будем, вечером телевизор будем смотреть. Девок в Павлово много свободных. Я сам не увлекаюсь вообще. Жену люблю. А вы с Гришкой могли бы тут почудить вволю. Ты же вроде уже холостой. Оставайся. Бугор после зимы зарплату поднять обещал. Да и эта, какая сейчас,  при  жизни на свежем воздухе куда лучше даже министерской зарплаты и любых витаминов. А?

      Я, пока он говорил, вспомнил свою кустанайскую редакцию, моего друга и соперника по журналистским поискам лучших тем Толика Ермоловича. Вспомнил попутные грузовики, на которых трясся  несколько лет по всем степным проселкам и грейдерным жутким дорогам кустанайских огромных просторов, вспомнил дочь, которой уже пора в школу, отца вспомнил. Мы с ним спорили о литературе и новых веяниях в журналистике,  философствовали по разным поводам на темы важные очень, что доходить до меня стало только сейчас. Я хотел приехать домой и начать всё с нуля. Потому как прошло время, причем  не впустую. Возможно, что я даже поумнел. Ну, так мне казалось. А, может, просто старше стал и видеть жизнь начал внимательнее, так, как глядят на неизведанное и почти загадочное. Всё-таки когда тебе несколько лет после двадцати, то жизнь ясна как сто раз просмотренное «Белое солнце пустыни». А когда тебе почти тридцать, вылезает много скрытого от начинающих покорителей жизни и профессии. Много высовывается очень странного, даже пугающего своей недоступностью уму и разуму. Вот от этой загадочной нулевой точки и хотелось  как можно скорее начать путь вперед и вверх. От азов к мастерству. Проходя сквозь большую жизнь, которая вроде бы и рядом, но на самом деле так далеко, что зайти к ней в самую глубину, в суть её, надо ещё не только суметь, но и успеть, пока не кончится своя.

      –  Извини, Наиль,  – я дотянулся и похлопал гиганта по плечу.  – Хорошо тут у вас и с вами. Но я уже выбрал. Мне надо ехать.

      –  Может, ты прав,  – Наиль улыбнулся и пошел к реке.  – Я бы тоже поехал домой. Тянет. Сны вижу домашние. Жену вижу. Но мне здесь ещё год-два торчать. Хоть и привык уже, а дом, семья, родина моя татарская, самолеты  – это, наверное, счастье и есть. Вот сейчас я точно понимаю, что лёгким счастье не бывает. Оно сначала человека испытает, как деталь, на прочность, а потом позволяет к нему притронуться и разрешает его беречь.

      Мы подошли к реке. Кроме Дмитрия Алексеевича все стояли на берегу и вразнобой что-то говорили Евгению. Он стоял по пояс в воде метрах в пяти от берега.

      –  Только я бросать буду близко к воде,  – Женя вдохнул приличную дозу воздуха и нырнул.

      –  Что за аттракцион?  – спросил я у Толяна.

      –  Смертельный номер, а не аттракцион!  – Толян закурил и пошел поближе к воде.

      Через минуту Евгений резко  вынырнул и поднял руки. В них трепыхалась рыба неизвестной мне породы. Серебристая, с красным верхним плавником и широким хвостом. Сантиметров пятьдесят в длину. Евгений  повернулся к нам спиной, потом резко крутнулся на месте и с размаха выбросил рыбу на берег. Грыцько её сразу же прижал к песку, взял за жабры и насадил на кукан из шпагата с веточками, который вот, оказывается, для чего делал.

      –  А как это он? Просто голыми руками?  – я от удивления сказал забавную глупость. Ясно же было, что ничего в руках у Жени не было.

      –  Так здесь никто не может,  – сказал Толян.  –  И не только здесь. На всей реке один-два таких, говорят, есть. Но никто их не видел. А Женька – вот он. Наш!

      Евгений нырял долго. Около часа. Часто выныривал пустым. Но за это время шесть рыбин всё же поймал. Грыцько отправил их на кукан и опустил его в воду. Толстую ветку воткнул в песок, а рыбу аккуратно опустил в реку.

      –  Ужинаем рыбой сегодня!  – Женя выбрался из воды.– Пахлавон, ты её замаринуй хорошо.

      –  Слушаюсь, командир!  – Пахлавон взял под козырек. На нём была настоящая пляжная кепка с длинным козырьком и дырками по бокам.

      –  А ты как этому научился?  – спросил я Евгения. Удивление с лица я так и не смог стереть. Женя это видел и засмеялся.

      –  Да я из Ярославля вообще-то. А там маленькая такая речушка есть. Волга называется. И  ещё одна речка в неё вливается – Которосль. Рыбы  в них – ужас сколько! Ловят все и по-разному.  У нас там один егерь был. Андрей. Он и научил нырять и ловить пальцами за жабры. Я молодой тогда был совсем. Три минуты под водой мог сидеть. Научился как-то, не знаю. Не помню уже. Но ловлю в любой реке любую рыбу. Ладно, пошли. А то расхвастался тут… Давай, Пахлавон, маринуй.

        И мы все пошли  к негорящему пока костру. А Пахлавон забрал кукан и пошел мариновать рыбу в маринаде из павловских лимонов и помидоров. Намечался необычный для меня ужин.

      Но до него, желанного, далеко было ещё. А и работа как раз приплыла в виде замученного борьбой с волнами и течением речного трамвая. Посудина с виду нарядная, разукрашенная и почти праздничная, основательная на первый взгляд. Но от роду ей было почти тридцать пять лет. Она, говорят, возила самого Лаврентия Берию по Волге, который присматривал место для стройки на берегу шинного завода. Завод этот потом поставили на Волге  же, но в Ярославле. А фамилия у трамвайчика была вполне оптимистическая. Назвали его сразу после войны, естественно, горделиво – «Непобедимый». А как корабль назовешь, так он и заживёт.

        Этот трамвайчик не сломали до конца  ни волны, ни вес народа, по праздникам набивавшегося на палубу так, что ватерлиния западала под воду. Не погубили его и кондовые причалы, сделанные везде по-советски добротно, но топорно, грубо и неказисто. На них всегда были опасные для судов места, об которые можно было или ободраться до скелета, или пробоину схлопотать в боковине. Он плавал, точнее, ходил себе да ходил десятилетиями. Его латали, меняли целые куски по бортам, закрывали протершиеся бока современным ударостойким пластиком, красили раз сто целиком и местами. Так он и жил. Ярким и свежим внешне, но постепенно умирающим из-за хронических внутренних болячек. Сегодня мы провозились с ним как раз до вечера, без обеда, чтобы быстрее заменить ему протершуюся о причал на стрелке носовую левую часть. Отодрали вздыбившийся многослойный фанерный кусок, выровняли домкратами и деревянными молотками-киянками сдвиги на каркасе и посадили на сверхпрочный клей новый пластиковый лист. Подогнали его так, что иголку не вставишь между старым корпусом и новым «лечебным пластырем». Потом Пахлавон с Грыцько подкатили бочонок с краской, растворитель и два валика принесли да кисточки. Мы уже курили на берегу, а они только загрунтовали пластик специальной грунтовочной смесью. Капитан возил её всегда в маленькой кладовке крохотного трюма. Потом голубой краской прошлись кисточками по грунту, дали составу просохнуть час, а потом за пару часов так аккуратно покрасили валиками весь корпус, что даже опытные речники вряд ли нашли бы битое место.

      Я поглядел на крупные часы Наиля. Было уже четыре. Трамвайчик привязали канатом покрепче и он остался на ночь подсыхать. Капитана и матроса Женя позвал на рыбный ужин. Мужики с радостью согласились и притащили с трамвайчика две бутылки водки, колбасы килограмм и корзинку с помидорами и огурцами. Все разбрелись по своим делам.

      –  А мы с тобой, Стасик, пойдем вот с этими носилками за глиной. Вон туда,  – он ткнул пальцем в пространство. В обозримом пространстве глины я не увидел.

      –  Это там, за поворотом речки, отсюда не видно,  – Женя взял носилки за одну ручку и поволок их в ту сторону, куда направлял палец. Я догнал его, взял ручку, оставляющую борозду на песке. Пошли.

      –  Глина-то зачем?  –  я тащился сзади  и пыль, которую Евгений будил широким, почти маршевым шагом, оседала на мне серым слоем.

      –  Глина будет на десерт!  – развеселился Женя и мне стало легче глотать пыль. Тоже поднялось настроение.

      –  А ты, Женя, когда домой  поедешь, в Ярославль? У тебя же все в порядке. Паспорт есть. Прописка в городе. Ну, душу ты уже отвел на природе за три года?

      –  Душу-то?– переспросил Евгений.  – Не на месте душа пока. Мается душа. И ехать нельзя мне ещё неизвестно сколько времени. Позовут, когда можно будет.

      –  Тоже прячешься?

      –  Тоже,  – хмыкнул Женя и присел на корточки, не отпуская ручку носилок. -

        Тебе наши не рассказывали, как я сюда попал и почему?

      –  Да нет. Никто ни слова,  – я тоже присел.

      –  Да по глупости своей прячусь. Отелло, бляха-муха. Рассказать?

      –  Давай,– я сел на край носилок поудобнее и приготовился слушать.

              Рассказ Евгения о своей глупости, несдержанности и большой житейской ошибке.

      Ты ж видишь – я маленький. Я – метр шестьдесят четыре  в высоту. В ширину, ядрена, почти такой же. Квадратный, короче. Это от штанги. Отец меня в секцию отдал в одиннадцать лет. А железо, оно к земле гнет, когда его помногу тягать начинаешь в сопливом возрасте. Не штанга – я бы, может, метр восемьдесят имел. Но и бросить не смог. Результаты пошли. В семнадцать я на первенстве Союза по юношам взял серебро. Кандидата выполнил в мастера. То есть штанга незаметно так половину жизни заняла. Ну, кандидат в мастера может бросить штангу в двадцать три года? Да ни за что! Тут ведь уже и мастерским нормативом сладко пахнет. Я давай дальше качать силёнку и технику вылизывать. Годами! Ни кино, ни театров, ни развлечений с девчонками. Когда? На книжки по вечерам времени только и хватало. Смотрю, блин, а мне уже двадцать восемь! Двадцать, говорю, восемь уже! Старик, блин! И неуч. Школу только и имел за спиной, десятилетку.

        Отец мне как-то раз на кухне с утра говорит:  – Сын, ты много сделал в  спорте. Но скоро тебя спишут. А ты дурак, хоть и читаешь художественную классику. У тебя какая специальность? Ты геолог? Артист? Фрезеровщик? Ты никто. Вот завтра тебя придавит на рывке, сухожилия порвешь, и что? Куда пойдешь деньги на жизнь наскребать? Возле церкви сядешь с кепкой перед ногами? Вон сколько у нас церквей. Места хватит. А мужское достоинство внутри у тебя что про тебя будет думать? Что ты, Женька, круглый нуль!

      .Дурак и пустое место. Я зря тебя отвел на штангу. Думал, подкачаешься, силу возьмешь, да учиться потом бегом побежишь. В институт, в университет. Специальность будешь иметь, уважение, деньги, семью! А у тебя ни фига. Даже девушки нет. Жениться будешь к семидесяти, или раньше сумеешь? Короче, сворачивай железные игры. Хватит. Мне стыдно, что сын у меня чемпион, но дубина стоеросовая. Чурбак.

        Вот это всё с едкостью в интонациях сказал мне отец, выпил молча стакан кефира и ушел из кухни. Вообще, по моему, из квартиры вышел. Не помню. Меня как вроде блином от штанги по темечку шарахнули. Аж как будто натурально – искры из  глаз! И мозг, гад, заработал, хоть и с опозданием лет на  семь. И сказал мне мозг, что я точно дурак. Жить-то когда начинать? В пятьдесят что ли? Надо было срочно уходить из спорта и приходить в чувство. В институт поступить, женщину хорошую встретить и жениться на ней, детей сделать, квартиру кооперативную купить. Отучиться, получить высшее и работать за хорошие деньги на хорошей работе.

      Ну, ясно же! А раньше просто не думал о самом главном. Думал, что  главное –  чемпионом мира стать или Олимпиаду выиграть. В общем, с одного отцовского разговора протрезвел я как бы. Вот вроде пил до этого беспробудно и жизнь шла рядом, но мимо. А потом проснулся и не стал похмеляться. И через неделю нормальным стал. Убытки подсчитал, ужаснулся. Это ж сколько я пропустил и потерял!  Надо нагонять!

      Я с утра бегом к тренеру. Тренер хороший был. Умный. Тезка мой. Евгений Викторович. Он меня за четыре года до мастера и дотянул. Ну, само собой, в городе мне был почет. Союз как-никак шесть раз выиграл. Международных  турниров – три. На первенстве мира в семьдесят третьем  в десятку попал. В Лондоне первенство было. Представляешь, я был в Лондоне! Толком его не видел. Некогда было. Тренировки, выступления. Но кое-что посмотрел. Ладно, отвлекся я…

        В общем, я тренеру всё выложил. Ухожу, мол. Не обижайся, спасибо тебе просто огромнейшее. Но мне надо устраиваться в житухе простой, где работа, жена, дети, родители живые пока. Делом надо заниматься. А штанга меня в эту жизнь если и отпустит, то поздно.

      Тренер походил по своему кабинету, шлепая себя, как малыш, по бокам и по заднице. Волос приглаживал, в окно смотрел. Говорил что-то сам себе. Потом подошел ко мне, протянул руку, я тоже протянул. Пожали мы руки, обнялись. И всё. Он не сказал мне ни слова. Просто повернул меня лицом к двери и тихонько толкнул в спину. И когда я пошел, он только одно слово сказал. Нет, два. Он сказал:  – Жека, спасибо!

      Не поверишь, я вышел, закрыл за собой дверь и почувствовал на щеках слезы. С ума сойти…

      В общем, стал я жить по-новому. В тридцать два года. Почти как Илья Муромец. Тот, правда, ещё на год позже зашевелился. Но моя настырность спортивная выручила меня капитально. Я и в институт успел поступить. С тройками, конечно. Но прошел как-то. В технический наш институт на химико-технологический факультет. Успел до тридцати пяти. А то бы без образования остался. Но выучили хорошо. Много узнал, практику прошел на пятерку. Вот туда же, где практиковался, меня и взяли работать младшим инженером. На  завод по производству искусственного каучука. Вот такая работа!!!

        Я там через год уже на доске почета висел. Ну, в смысле – рожа моя сфотографированная. Потому, что сделал три полезных рационализаторских предложения. Внёс сначала один хитрый препарат в замес, который не давал снизиться эластичности каучука на морозе. Потом ещё два станка усовершенствовал. Производительность поднял на двадцать пять процентов. В общем, зажил не хуже, чем в спорте. Уважать стали. В профком избрали. В партию звали вступить. Но я сказал, что не созрел ещё. Слишком ответственно для меня. А я не готов пока. Отстали на время.

      Были у меня припрятаны деньги от побед на соревнованиях. Не так много, конечно. Но отец с матерью добавили и я через полгода по заводской короткой очереди купил двухкомнатную кооперативную хату. Почти в центре города, на пятом этаже в пятиэтажке. Туда много чего купил хорошего. И мебель чешскую, телевизор цветной «Таурас», холодильник большой. ЗиЛ. Ну, короче, всё для путёвой культурной жизни. Книг набрал по блату целый стеллаж. Ковры на пол, ковры на стены. Блин! Жить стал! Люди с завода стали в гости ходить, друзей водили.

      А как-то раз зам главного инженера пришел с дочерью своей, Верой. Побыла она с нами часика полтора, а потом побежала на репетицию. Она в городском народном театре играла. Почти настоящая артистка.

      Ты можешь представить, что за полтора часа знакомства с девушкой можно в неё влюбиться до полусмерти? Я тоже не мог. Но вот влюбился и всё! По уши. Как поют в одной песне: «Он потерял покой и сон. Он был сражен, он был влюблен». А в следующий раз, через неделю, она пришла на работу к отцу. Он от гастрита таблетки дома забыл. Она принесла. Я её дождался на выходе из заводоуправления и прямо в лоб ляпнул ей, что влюбился и полюбил. Не сплю, не ем  – о ней одной думаю и мечтаю. И если не согласится со мной встречаться, съем килограмм сырца каучука, отравлюсь и приглашаю заранее её на похороны. Но и после смерти буду являться ей в виде привидения и громко, и страшно страдать о несбывшейся  любви.

      Вера на меня внимательно посмотрела и спросила:  – Евгений, ты идиот?

      –  Нет, что ты!  – обрадовался я беседе.  – Я просто дурак! Но очень в тебя влюбленный.

      –  Дурак, это уже лучше.  – Вера улыбнулась и взяла меня за руку.  – Ты не уменьшай количество каучука на заводе. Отца моего пожалей. А вообще, я не против с тобой дружить. Ты открытый и честный. И симпатичный. Вот тебе мой телефон. Звони. Будем встречаться и прилично проводить время.

      Она написала в маленьком блокнотике телефон, вырвала страничку и отдала мне. И ушла.

        Я летал! Нет, я взорвался от распирающих сердце чувств и радостных надежд. И не зря. Всё вышло так, как я хотел. Она стала моей. Причем довольно скоро, через неделю. И поплыла наша любовь как вот этот речной трамвайчик. Плавно, спокойно и красиво. Куда плыла? Да к свадьбе, Стасик, к великому торжеству и таинству законного соединения душ, тел и сердец. Извини за красивость слога. Но так и было.

      Было, было, да вдруг внезапно и сплыло. Через год закономерного слияния и соединения, ещё раз извини за пафос, слияния воедино Инь и Янь. Всё за какие-то пятнадцать минут улетело к едреней фене и к такой же матери.

      У меня под эту сумасшедшую любовь и страсть к ней выползла из потёмок душевных ревность и подозрительность. Я вообще-то нормальный. Психика ровная, крепкая. Спорт укрепил. А тут как бабка нашептала приворот. Хотя никаких бабулек я не посещал и в хрень эту не верю. Но ведь со мной же это было! Кто наколдовал? Я ж за ней следил. Ходил иногда днями сзади. Незаметно, как ниндзя. А она, блин, куда только ни носилась. То к подружкам, то ногти пилить и раскрашивать, то в бассейн. Даже в библиотеку! Но.

      Но были у неё и очень бесившие меня встречи. С какими-то студентами в прыщах. Сидят в кафушке, сок пьют и хохочут. Ну, когда толпой  –  бог с ними. Толпой  – это так себе, развлечение детское. Так нет же! Она и в одиночку встречалась с двумя. Один длинный, худой, с усами большими как у тебя, похож на артиста одного, не помню, как зовут. И ещё с одним красавцем виделась раз по пять в неделю. В джинсах такой весь, часы золотые, батник на кнопках, прическа с бриолином под Маккартни. И «жигуль» у  него вишневый. «Копейка». Первая модель. Короче, пацан упакованный и цену себе назначивший не маленькую. Вот он меня бесил! По-бешеному бесил!

      Ну как это? Тут дело катит к свадьбе. Я хату под семейное гнездо оборудовал уже. Коляску для будущего сына импортную заказал летуну одному. В Чехословакию летает. В Польшу. А тут что? Тут разврат открытый почти.

      Она к ним прислоняется, смеется, обнимается. Блин! Ну, я думаю: а  жить с ней как?  Это ж она не тормознет сразу привычки свои. А город у нас не Нью-Йорк. Меня знает столько народу, что тут же пустят гулять анекдот про то, как Женька Сурнин женился на шалаве и счастлив в браке, потому, что хата у него большая и рога в дверь не мешают проходить.

      Так я где-то почти месяц за ней наблюдал. Понимаю, что мужик так не должен делать, что сам себя я в скотину непарнокопытную превращаю. Опускаюсь и теряю мужскую честь и достоинство.  Но справился с собой кое-как. Еле-еле. Перестал шлындить за ней. Выпустил из виду. А душу-то рвёт на части всё равно! Такое, было дело, представлю себе про неё, что аж зубы скрипели и башку туманило. Но я держался. Так больше и не пошел ни разу за ней. Но стал у её дома вечерами сидеть. Ждать. Приходила когда в восемь, когда в десять вечера. Почти всегда одна. Я смотрел из глубины двора как она идет. Не качается ли? Не поддала чего покрепче? Да нет, вроде всегда в форме была. Ну, красавица, блин!!! Ты бы сам влюбился.

      Ага, опять отвлекся я… Короче, один раз в пятницу часам к десяти идет, значит. И не одна, блин!  А вот ты думаешь, что с этим, который в батнике и золотых часах? Хрен там. С длинным этим. Под ручку шли. К подъезду подходят и не разбегаются. Ну, проводил ты чужую женщину вечером домой – молодец. Герой!  Делай ручкой и вали на скорости пока трамваи ходят. Нет – стоят, кукуют. Не, воркуют правильно будет… Потом он к ней наклоняется, лепечет что-то и носярой своим длинным как у Буратино прямо в прическу её вставляется. Вот на этом кадре фильма меня и подняла чёртова сила поганая. Я из темноты – к ним под фонарь.

      –  Привет!  – говорю спокойно.  – Целоваться будем или ты, жердь, так помрешь, нецелованным?!

      –  Ты что себе позволяешь!  – это она мне. Я, значит, себе позволяю, а он, хмырь болотный, пришел сюда с чужой, повторяю, бабой в песочнице поиграть, птичек на деревьях послушать.

      И что на меня навалилось – не помню. Как так вышло, что я его как штангу толчком поднял на вытянутые руки? А в нём там килограммов шестьдесят пять и было-то… И я его, значит, подержал наверху с минуту, а потом бросил на стенку дома правее двери. Стенку он долбанул довольно крепко. А потом ногами упал на асфальт, а верхней половиной своей  – на травку и на цветочки. Я смотрю: по стене кровь книзу стекает. Не ручьём, но пятно ползло не маленькое. А сам он лежит молча и неподвижно.

      Верка ходу в подъезд и уже из квартиры, слышу через открытое окно, звонит в милицию.  – Тут убийство!  – кричит.– Улица такая, дом такой-то. Убийца мне знаком. Знаю его.

      Меня, конечно, как ветром сдуло. Стыдоба. В голове черти носятся, ничего не понимаю и мало чего помню. Только и помню как на руках его держал и потом вижу как кровь густо сползает красными языками со стены.

      Очнулся на берегу Волги. Сколько времени прошло – не могу сообразить. Отсиделся  на ступеньках гранитного парапета, которые прямо к воде спускаются. Пошел  умылся. Что-то начало вспоминаться. Общая картина не прорисовывалась, но было понятно только одно: парня я грохнул, похоже. А Верка – сволочь. Сдала меня. Значит никуда идти нельзя. Ни сегодня домой, ни завтра на работу.

      Вот с этой минуты жизнь моя перевернулась ногами вверх. Испуга не было, но колени и руки дрожали. И холод пролез в тело. Злой и липкий, как весной перед тем, как растаять. Мысль была одна всего, но страшная. Я догадался, что рухнуло всё, что выстроил до этого мгновения. Рассыпалось и разлетелось  с волжским ветром к чертовой матери, а то и подальше. Надо было что-то делать. Я добежал до ближайшего телефона-автомата, С трудом трясущимися руками вытащил из кармана мелочь, нашел двушку и позвонил отцу. Рассказал всё. Отец помолчал минуты две. Потом сказал тихо:  – Будь у дяди Миши через полчаса.

      Отец умный мужик. Телефон-то наверняка уже прослушивали. Но кто такой дядя Миша Верка не знала вообще. Значит, там искать не будут. Я пришел к нему раньше отца. А он, оказывается, давно уже сидел напротив дома и смотрел – не идет ли кто за мной. Ну, прямо детектив целый.

      Дядя Миша, это друг отца с детства. Мощный мужик. В смысле – умный.

      Он сказал, чтобы я три дня отсиделся у него, а потом он на такси ночью вывезет меня за город. Там мы с ним поймаем попутку до Иваново. От нас часто фуры туда ходят. В Иваново я должен найти по адресу от дяди Миши Елизавету Сергеевну, директора восьмой ткацкой фабрики. Она меня передержит в их ведомственной гостинице неделю. Дядя Миша уже с ней переговорил мо межгороду. А Елизавета в это время согласует с нужными людьми мой переезд в город Горький. Там есть знакомые, которые меня устроят физруком в пионерский лагерь. На оставшиеся два сезона. Лагерь этот в живописном, но зато очень глухом месте стоит. Рядом с городком Павлово-на-Оке. Вот там и пережду ажиотаж в Ярославле. А отец найдет как мне сообщить обстановку и скажет, что мне делать дальше. Я жил у дяди Миши. На второй день вышел на улицу. Сел во дворе на скамейку. Дышу. Читаю газету городскую. Дядя Миша дал. Вдруг меня за плечо кто-то взял. Оборачиваюсь  – а это Коля Васнецовский, мой товарищ по сборной области. Тяжеловес. Он так удивился:  – Тебя, говорит, мусора с огнями ищут. Вроде, убил ты любовника жены. А ты тут сидишь, отдыхаешь. Молодец! Смелый! Отважный! Ну, сиди, сиди…

      И пошел дальше. Я бегом обратно, к дяде Мише. Рассказал, что меня тут узнали. Могут настучать. Парень ненадежный, хитрован и завистник. Выше седьмого места не поднимался сроду. Дядя Миша взял в углу чемодан и сказал, что промедление смерти подобно. И руку как Ильич простёр вверх и вперед. Ехать надо немедленно. Ну, весь путь тебе знать ни к чему. Ехал нормально, без приключений. И через пять дней добрался до Павлова. Десять дней поработал физруком. Потом отец прислал мне телеграмму через горьковских знакомых. Они приехали в лагерь и передали мне телеграмму. Там было сказано: «Уходи лагеря. Он жив. Ты покушением убийство всесоюзный розыск. Сообщи новые координаты через Горький.»

      Вот я приехал в Павлово утром. Денег мне отец дал прилично. Паспорт при мне. Я, естественно, в гостиницу. Взял номер и спустился в буфет перекусить. Передо мной здоровенный парень, под два метра ростом , набирал в спортивную сумку пирожки с мясом и капустой, шесть бутылок кефира и десять пачек индийского чая «три слона». Потом он взял стакан кофе и пошел за столик. Я тоже взял кофе, пирожок и пошел за тот же столик. Других в буфете не было. Пока хлебали это подкрашенное пойло, разговорились. Потом познакомились. Парня звали Наиль. Вот так я, не переночевав за уплаченные деньги в гостинице, переночевал эту ночь в ватаге. День прошлялся по берегу. До переправы сходил. А вечером пришел ватаг и взял меня на работу. Тот парень, Веркин приятель, жив-здоров. Учитель математики сейчас в школе одной. Верка и отец мне письма пишут в Павлово до востребования. Верка говорит, что она меня простила за хамство и полюбила. А я, наоборот, разлюбил. Куда что делось!? Как огнем всё любовь со страстью выжгло из сердца. Вот же загадка какая. А отец сообщает, что дело пока не закрыто. Длинный так заявление на меня и  не забрал. То есть ищут пока меня. А я тут. Живу, ума набираюсь. Тут много мыслей приходит в башку. Ветер на Оке, видно, особый. Разносит по дурным головам спасительные  умные мысли. Ты поживи с нами, сам почувствуешь.

      А жизнь моя, я думаю, пошла сейчас в правильную сторону. Добраться бы только до той правильной родимой стороны. До дома. Мудрые люди говорят, что все проблемы рано или поздно решаются сами, если не лезть и не мешать им исчезнуть. Вот и жду.

      Евгений поднялся, взял ручку носилок и один пошел вперед, оставляя другим концом носилок неровную,  нетвердую, разную по глубине полосу, извилистую, временами пропадающую и не видную на песке. Очень похожую на обычную человеческую судьбу.

                          Глава двенадцатая

      Поворот, за которым прятался источник нужной нам зачем-то глины, выглядел как нос большого морского корабля. Пассажирского лайнера, на котором крутят свои любимые кругосветные круизы честные советские граждане, упорным трудом без выходных и отпусков скопившие сумасшедшие деньги на прогулку вокруг Земли. Они почти всегда валялись с шаловливыми временными подружками  в каютах с парчовыми портьерами, велюровыми диванами и ватерклозетом с биде.  Они месяцами мучились морской болезнью, блевали где попало, но потом умывались, чистили зубы и в белых одеждах запивали  штормовую качку хорошей водкой под ананасы, виноград, рыбные копчености, икру и дамский пьяный хохот.

        После круизов большинство этих граждан так же честно отлавливались органами внутренних наших дел и отбывали чалиться на кичу.

      Или проще  – мотать срок у кума. Потому как стырить денег на круиз надо было прилично. Точнее – неприлично много. Но на эти жертвы народ шел отважно, понимая и заранее принимая будущую беду в виде зоны общего режима, так как этих  жертв требовала трепетная страсть к юным бестолковкам, готовым вокруг Земного шара на белом теплоходе пройти бесплатно хоть с Квазимодо, хоть с чертом лысым. И ещё граждан толкала в многоэтажные круизные лайнеры страсть к возвышенным чувствам, порхающим высоко над всеми простодушными  мужичками-пахарями за скупую государственную «аванс – получку».

      А ещё этот «корабельный нос» из искусанной ветрами и дождями  поверхностной породы был красив пробивающимися островками травы и разноцветными камешками, на которых баловалось лучами готовое к закату солнце. Камешки весело отбрасывали в стороны солнечные блики голубого, красноватого и совершенного золотого цвета.

      –  Это что, золото, что ли?  – крикнул я Евгению. Он шел, похожий на маленький квадратный гусеничный трактор, волоча за собой, как борону, носилки.

      –  Блестит шибко?  – он резко свернул, бросил носилки и за несколько прыжков долетел до откоса, блестящего радужно от фантазий солнечных брызг.

      –  Вот, смотри!  – смеялся он и выковыривал пальцами золотые маленькие и крупные самородки.  – Счастливый старатель на пороге безмятежной жизни с запасом золота как у процветающей страны.

      Женя натолкал в карманы «самородки», несколько штук зажал в кулаки, скатился как колобок вниз и бросил мне к ногам «золото» из кулаков и карманов.

      –  Эх, было бы это золото!  – простонал он.  – То мы бы, Стасик, рвали бы сейчас на себе волосы  и проклинали судьбу за то, что она, собака, подложила нам такую толстую свинью. Ну, куда бы мы с этим пятью килограммами золота взлетели? Не выше зоновской вышки с автоматчиками по периметру. Нельзя у нас простым дядькам и теткам иметь столько средств для шикарной жизни. Закон не пускает. Дольше недели мы бы с таким чудесным запасом не протянули. Потом нас либо грохнули бы при  подпольном обмене его на деньги, либо стуканули бы на нас честные советские обыватели в органы. И, один пёс, ни золота не осталось бы после органов, ни денег, ни свободы.

      –  А чего тогда ты его сюда притащил?  – я стал раздражаться, чего и сам не любил.

      –  Да откуда тут золото!?  – серьёзно сказал Женя, сгрёб камни в кучку и засыпал сверху песком.  – Будь здесь золото, нас и за пять километров сюда не пустили бы. Всё бы вокруг в «колючке» было, и в табличках «Запретная зона. Хода нет». Это, Стасик, пирит. Обычный, блестящий точь-в-точь как золото, камень, нарост на породе. Пирит. Ценность у него как вон у той гальки с берега. Но смотрится.

      Он выкопал из песка один камень, подул на него со всех сторон, дал мне.

      –  На, подержи. Но долго с ним не ходи, никому не показывай. И когда поедешь домой, то с собой его не бери. Придурков по дороге встретишь не один раз. Увидят, точно подумают, что золото. А с этого момента ты уже не Стасик, а потенциальная жертва в лучшем случае. В худшем – труп.

      Я  вспомнил, что мне попадались эти пириты в отвалах-«хвостах» после взрывов на открытых разработках железной руды. На нашем  Соколовско – Сарбайском горно-обогатительном комбинате в городе Рудном под Кустанаем. Мы с друзьями ходили после взрывов в карьеры искать камешки граната, рубины, цеолиты и пластинки красивейшего агата. На пирит просто никто не обращал внимания. Не было в Кустанае никогда «золотой лихорадки». Зато из рубина и граната местные умельцы из бывших зеков такие вставки в перстни делали, такие гранили бусы, что любовь, которая была почти у всех, эти штучки сильно укрепляли.

      Потом мы пошли за поворот, руками нагребли в носилки глины доверху и двинулись обратно, прогибая землю, погружая туфли целиком в мягкий песок и качаясь в такт неровному шагу.

      –  Рыбу сейчас в глине будем запекать!  –  кричал Женя, потому, что шел первым и оборачиваться не мог.  – Рыба в глиняном футляре, хоть в костре её жарь, хоть на листе железном, получается вкуса необыкновенного. Ты такой не ел. Точно говорю!

      –  Точно говоришь. Не ел,  – тоже закричал я, поскольку ветер  дул встречный и тихие слова сносил сразу тебе же за спину. Есть я хотел почему-то очень сильно и вполне мог бы сейчас употребить рыбу прямо с кукана, а глиной закусить отдельно.

      У костра, горевшего бодро и гордо, и поднимавшего над собой пламенные флаги, толпилась вся ватага и два «речных волка» с  трамвайчика: капитан и рулевой. Все они, похоже, уже неплохо выпили водки, а потому быстро перемещались, суетились, матерились ласково и готовили стол к расправе над разными продуктами. Один Пахлавон водкой не угощался никогда, а потому сидел в сторонке и бросал издали в костер плоские дощечки, плавно уклоняясь от свистящих мимо него желто-розовых искр.

      Вечер наваливался темным и душным своим телом на берег и, казалось, тоже очень хотел рыбы, запеченной в глине.

      Само рыбное пиршество не просит подробного изложения в ярких, сочных, вышибающих из читателя голодную слюну красках. На ватаге рыба, запеченная в глине – продукт обыденный. Делают его и едят без пафоса, восклицательных слов и гурманских причитаний. Поэтому только краткое описание неведомого многим читателям процесса я допускаю.

      Рыбу чистят и потрошат, маринуют, во вспоротое брюхо заталкивают чеснок, лук, перец и соль. Иногда несколько тонких ломтиков картошки. Потом разведенную водой до состояния хорошо размятого пластилина глину лепят на рыбу довольно толстым слоем. Сантиметровым примерно. И готовят двумя способами. Или кладут этот длинный глиняный ком прямо в костер, или на костёр сначала бросают лист миллиметрового железа, а на него, как на противень, рыбу в глине. По вкусу разницы почти нет. Глина в костре обжигается и становится почти фаянсом. Её достают из костра двумя кусками арматуры, кладут на алюминиевую миску и той же арматурой фаянс раскалывают. Сок стекает в миску, потрясая невыразимым словами ароматом всё живое в радиусе километра, включая, по-моему, и плавающую пока рыбу в реке.

        Соком этим запивают рыбу, которая употребляется целиком. Кости, хребет и плавники в раскаленной глине распариваются так, что напоминают желе и, собственно, кроме кусков глины после ужина и выбрасывать-то нечего. На железе глину часто переворачивают, и ждут, когда она станет красной. Потом её тоже раскалывают над миской. Сока меньше, рыба суше, кости тверже. Но и её едят без отходов. Этот вариант, конечно, на любителя.

      Поужинали мы как короли. Нет, как тузы бубновые. И силы, ещё до еды бодро шевелящиеся в мускулатуре, сникли, стихли и повяли как нежные розы от первых заморозков. Те, кто до ужина выпил два раза по сто пятьдесят «столичной», расквасились окончательно и стали походить на здоровенные плюшевые игрушки, лоснящиеся от тепла опилок изнутри и от  жарких ласк костра. Они впятером, капитан трамвайчика, рулевой, Толян, Грыцько и композитор одинаково трудно поднялись до почти ровной стойки  и, не договариваясь, миниатюрным табунчиком поплелись к воде умыться и этим прижать разгул сорока градусов до приличной кондиции. Они , объевшиеся вкусным и опоившись горькой, брели по песку как бедуины по Калахари, неторопливо, неуверенно, но целеустремленно. Они поддерживали равновесие сложными движениями рук и позвоночника, но попутно пели. Причем каждый свою песню. От чего даже на сытых наших телах,  безразличных к прохладному ветру с берега, взыграла легкая дрожь. Настолько близко было пение друзей к завыванию некормленых неделю волков или алчному стенанию привидений из сказочных мультфильмов.

      Капитан и рулевой как-то залезли на свой трамвайчик и упали спать прямо на палубе. Остальные вернулись посвежевшими, но с осоловелыми глазами и тяжким дыханием мучеников-чревоугодников.

      Песен больше никто не пел. Все разобрали  свои постельные свертки и молча разбрелись по намятым собою травам. Луна вылетела аж на середину неба и холодно, но нежно гладила всю нашу компанию, готовую уснуть сейчас не затем, чтобы получить удовольствие, а чтобы отщёлкнуть ещё один день как костяшку на счетах  – назад. В прошлое.

      Первыми утром поднялись те, кто не бился с водкой до чьей-нибудь победы. Она, зараза, победила всех без особых усилий, привычно и запросто.  Побеждённые корчились в нечеловеческих позах, пытаясь лечь так, чтобы стряхнуть с себя похмелье. Оно панцирем, тяжелым и твердым, сдавливало им головы, выжимая из горла, как пасту из тюбика, густые протяжные стоны и  хлюпающие хрипы. Сбрасывая с тела этот панцирь, мужики на мгновение просыпались, пытаясь очнуться. Они на секунду открывали затянутые мутной пеленой красные глаза, которые не видели ничего, кроме яркого расплывчатого пятна света. Но этого не хватало для полного пробуждения и они снова начинали бороться с оковами панциря, капканом сдавливающего головы и увесистой гирей жмущей грудь.

      –  Ладно, будем оживлять эту мертвечину,  – улыбнулся Наиль и пошел к кустарнику. Женя  в это время достал из холщевого мешка помытые с вечера Пахлавоном кружки. В кустарнике Наиль перед едой сделал секретную аварийную закладку двух бутылок водки. Большие, богатые ужины не были в ватаге редкостью. И воскрешение перебравшего народа из небытия совершалось древним примитивным способом. Женя наливал в кружку сто граммов, нежно поднимал за шею недееспособного товарища и аккуратно вливал ему в рот тоненьким ручейком опохмелку. После насильственного  вмешательства в борьбу организма со всеобщим спазмом тела и сознания, похмелявшийся уже самостоятельно доглатывал остаток из кружки и неторопливо возвращался в окружающую повседневность. Когда Женя с Наилем подняли из алкогольной летаргии всех, включая «речных волков» с  трамвайчика,  Пахлавон  разогрел на живых ещё углях чай и разложил для всех по паре карамелек. Пока наслаждались чаем,  от чеченской бригады , вкалывающей на холодильниках за два километра от ватаги, пришел мрачный тридцатилетний сын гор и доложил, что соседи рыбаки взяли вчера под вечер рекордную массу рыбы и теперь не хватает пяти ящиков и десяти больших корзин на двадцать кило веса. Чтобы свежак рыбный не морозить, а отвезти его сразу в четыре горьковских кабака высшего разряда.

      –  У вас корзин должно еще штук сорок остаться. Вы их что, продаете, что ли?  – Толян поднялся и подошел к чечену.  – Мы вам весной почти сто штук сплели. Где эти корзины? Лова-то крупного вроде не было…

      –  Тебе, собака, разница никакая,  – чечен  сплюнул под ноги.  – Говорю тебе – десять корзин и пять ящиков на двадцать кило надо к пяти часам. Ты – раб. Говори с рабами. Со мной тебе не надо говорить. Сделаете – принесёте до пяти.

      Он ещё раз сплюнул в сторону, воткнул в зубы спичку, развернулся и пошел, сунув  руки в карманы узких штанов.

      –  Козлы,  – тихо сказал Толян.  – Вот откуда у них этот гонор? Такие же колхозники с безымянной горы. Начальное образование и  дешевая жизнь. А понтов – как у министра.

      Женя сорвал травинку, пожевал её и задумчиво произнес:  – Вот когда нет в людях натуральной силы. Физической и душевной. Тогда они ведут себя нагло и по-хамски, чтобы так изобразить, что силы у них полно. Через край прямо сила капает.

      –  Помнишь, Наиль, мы год назад с ними сцепились? Четверо наглых молодых дурачков пришли вот так же и сказали, что мы им денег должны. Сто рублей. За то, что  старший егерь рыбоохраны не дал им ремонтировать мотор лодочный, а привез его в ватагу и Толян с Гришкой его сделали. Как новенький стал. Ну, мы их послали подальше. Они аж на слюну изошли. Сказали, что сейчас как баранов нас будут резать. И кинулись на нас. Без ножей, правда. Ну, мы с тобой их мордами в берег воткнули и заставили песок есть. Так ведь ели! И прощения просили. Мол, погорячились. Теперь дружить будем. Не убивайте только!

      –  Они не все такие,  – зевнул Толян.  – Я в Чечне был на стройке до зоны ещё. Много видел там за два года. Так вот. Большинство мужиков там – очень приятные, честные, порядочные люди. И слово держат, и честь имеют, помогут хоть в какой беде. А вот эта шушера там не уживается со своими же. И колесят бригадами по просторам Союза, права качают и длинный рубль ловят. Да ну их в задницу.

      –  Во!  – Там им место,  – заржал Грыцько.  – Ну, кто со мной лозу резать на корзины? Стасик, пойдём. А мужики пока тут ящики колотить будут.

        И мы пошли. Взяли маленькие топорики, бутылку воды, и большой брезентовый тент, куда лозу  складывать. Иначе не унесешь. До тальника можно было добраться только через жесткие и колючие кусты, названий  у которых было штук пять. Самое популярное – напильник. Сходство с ним я уловил с первых же шагов по зарослям. Руки мы подняли над собой, а вот ноги, живот и спину напильник драл нещадно сквозь одежду. В юности мне приходилось пару раз перелезать через колючую проволоку в Чураковский сад на берегу Тобола, где мы заимствовали у государства яблоки и груши. После проволоки мы были похожи на израненных солдат, прошедших сквозь шрапнель, огонь, воду и медные трубы. Раны затирали зеленкой, неделю страдали от зуда глубоких царапин. Но сладость яблок ворованных перевешивала неудобства травматизма.

      Рубили тальник мы часа три. Ветви нужны были длинные, мягкие, без наростов и сучков. Выбирали тщательно. Потом вырубили площадку для брезента и на него скинули прутья. Будущие корзины. Обратно идти было сложнее. Брезент не дал бы нам продраться через «напильник». Но Грыцько ходил на тальник не один раз и знал выход почти бескровный. По тальнику мягкому и гибкому, который от одного прикосновения ложился под ноги, мы  дошли до обрыва и сбросили брезент с толой вниз на песок. Обрыв был отвесный высотой метров в пять. Поэтому мы прыгать не стали. Бросили туда же топорики, бутылку с остатками воды. А сами пошли тем же путем обратно. Грыцько шел впереди и временами сходил с пробитой дорожки. Путь сокращал. Я плелся сзади и вертел головой в разные стороны, потому что между кустами «напильника» росли высокие и яркие цветы. Красные, фиолетовые и лимонно-желтые. Что дернуло меня потянуться за цветком и сорвать, не помню. Помню только треск рвущейся ткани и странное ощущение, будто кто-то стягивает с меня брюки. Изучать урон в зарослях было невозможно, но когда, наконец, мы продрались через уродливые закорючки кустарника и ступили на лысую песчаную твердь с редкими травинками, я увидел, что брюками мои брюки больше называть не надо. На мне висели клочья любимых моих штанов, причем разодраны они были причудливо, фигурно, будто рвал их мастер по уничтожению одежды. Если такие, конечно, есть.

      Грыцько поглядел на меня со стороны и присвистнул.

      –  Если Пахлавон их тебе не восстановит, то пойдешь со мной в Павлово к одной вдове, которой я помогаю не засохнуть в тоске одиночества. И там мы подберем тебе штаны от ейного мужа, который скончался сдуру от перепития  сивушного самогона.

      Давно?  – спросил я, думая о том, что и Пахлавону такая фигурная штопка будет не по руке.

      –  Да уж года полтора я её…– Грыцько с удовольствием потянулся.  – Опекаю. Помогаю там всякое. А мужик у неё траванулся уж третий год как.

      –  Неудобно с покойника-то брать шмотки.  – Я всё старался приладить лоскуты к ногам и к проёму.

      –  Мы ему не скажем,  – хмыкнул Грыцько.  – А вообще, с живых брать одежку хуже. Там их энергия оседает. Не всегда хорошая и здоровая. А покойницкая бывшая одежонка всю энергию через сорок дней теряет. И всё, что ему принадлежало, тоже теряет. Так старики говорят. Старикам верить можно. Им перед дорогой к Господу брехать напрасно нет резону.

      Пахлавон честно просидел с моими брюками всю ночь возле костра. Издалека я видел как поднимается с иглой и вонзается в ткань его тонкая рука. Но утром он сам пришел ко мне и сказал, что нет нужных ниток и всего две иглы. А надо бы машинку с оверлогом и петельной строчкой.

      Не знаю как он это всё смог выговорить, но сразу понял, что домой поеду в штанах покойника. И, если Грицько не врёт, плохого в этом ничего нет.

      До  четырех часов все плели корзины. И я плёл. Впервые. Поэтому повторял  каждое движение за Толяном, но всё равно сделал только одну. Похожа она была на настоящую корзину. И я себя тайно зауважал, не подавая вида.

        К пяти часам мы хором отнесли ящики и корзинки чеченам, после чего Грыцько взял меня за плечо и повернул к откосу.

      –  Вон туда сейчас пойдем.– Он причесал свой хохолок на том месте, где у всех не лысых мужиков чуб растет, достал из нагрудного кармана рубахи маленькое круглое зеркальце, пригладил брови, после чего мы с ним двинулись к откосу.

      –  Тут дом её рядом,  – Грыцько перескочил на свистящий шепот.  – Ты прямо здесь, на откосе, посиди, подожди. Я быстро.

      Через полчаса он прибежал растрепанный и краснощекий, держа в руках двое штанов так тожественно, как держат каравай с хлебом-солью для  уважаемых гостей. Одни брюки были жуткого цвета, напоминавшего немытое оконное стекло в пятнах и разноцветных разводах. Вторые брюки сразу же заставили меня вспомнить товарища Бендера, который мечтал о Рио-де-Жанейро, где поголовно все ходят в белых штанах. Взял я, естественно, белые.

      –  Ну вот,  – Грыцько заулыбался счастливо.  – Теперь и тебе хорошо, и покойничку приятно, что барахло его не сгнило, как он сам. Царствие ему небесное.

      Я мысленно выматерился, закурил, сел на корточки.

      –  И много у тебя вдов в Павлове?

      –  Да не обижаюсь. Хочешь, тебя тоже пристрою. Мужику одному долго вредно находиться. Гормон засыхает. Старость быстрее прибегает, болячки липнут. А хорошая баба – это ж лучшее лекарство.

      –  Баб любишь?  – спросил я весело.

      –  Не то слово,  – Грыцько перекрестился и сел на траву. Штаны на нем были темные. Можно и на траву. А я сидел на корточках, испытывал ноги на прочность.  – Я их не просто люблю. Я через них всю жизнь себе обломал. Они, бабы, как инфекция. Эпидемия! Зло! И не могу без них. Но они – моя погибель. А я ж не маньяк, не гигант половой. Нормальный я. Но вот без них не могу. Меняю часто. Бегаю от одних, прибегаю к другим. И вот оно, ,приключение моё, как началось с юности, так и не пропадает к пятидесяти.

      –  Так ты и здесь оказался из-за женщин?  – догадался я.  – Сбежал от кого-то подальше?

      –  От жинки и утёк!  – Грыцько вытер губы, еще раз причесал хохолок.  – Я тебе сейчас эту байку расскажу. Тебе, молодому, такой опыт узнать – не лишне. Может, после моего рассказа никогда так не будешь делать. И жить будет легче.

      –  Расскажи, конечно.– Я снял белые штаны, в плавках сел на траву, а брюки белые на колени примостил и изготовился слушать.

                          Глава тринадцатая

      Рассказ Грыцько о вреде женщин для нормальной жизни и тяжкой доле рядового Дон-Жуана.

      -Я когда совсем маленький был, меня девочки пугались. Просто-таки шарахались от меня. В третьем классе, в пятом, в восьмом. Ну, я, конечно, натурально страшный был. Сивый. Глаза навыкат. Уши как лопухи молодые. Руки коротенькие, а нос и ноги длинные. Украинец, а нос длинный  как у грузина! Чуешь картинку? Вот… Батько меня материться научил, когда я как раз в третьем учился. Ну, я использовал эти знания на всех. На пацанах, на девках, даже, помню, учителям иногда отвешивал матюган-другой. Курить начал в пятом. Тоже батько заставил. Сказал, что мужик без папиросы – ровно тётка без титек. Причем закуривал я на уроке и с папироской в зубах уходил в коридор. Нет, я у любой учительницы всегда спрашивался:  – Можно выйти? Они все одинаково говорили:  – Только побыстрее!

        Ха!

      Дрался с пацанами хорошо. Опять же – батькина школа. Пацаны меня боялись и не любили. А девчонки не боялись. Я их не трогал. Они просто меня терпеть не могли. От меня табаком воняло и мылся я редко. А мамка у меня была дура, да ленивая ещё к тому. Ни хрена нам с батей не стирала и жрать готовила редко, и то – бурду несъедобную. Думаешь вру? Вот те крест, истинная правда. Как на духу.

      Ну, соответственно, запах от меня шел ещё тот. Как из могилы. Батьке чего? Он пошел, пивом набузовал живот, да и сытый. А я брал с мамки двадцать копеек каждый день и на углу за школой покупал пирожки с ливером и ел их под газировку. На другом углу армянка торговала газводой. Стоит целый день и орет:  – «без газа  – копейка, с одним сиропом – три копейки, за две сиропы – пять копейки». Я десять копеек проедал-пропивал со вкусом  за пару часов. Пирожок шел за три копейки, я ел три пирожка. И на копейку воды хлебал без ничего. С газом. К концу уроков в школу заходил. Забирал портфель и шел тратить другие десять копеек в кино. В клуб мясокомбината. Там крутили фильмы с двух часов. На кинокартинах я и жил. Там люди были – не то, что наша чугуевская шваль вечно пьяная. В кино показывали красивых, смелых, работящих, у которых обязательно была любовь. Такая прямо красота – эта любовь. Слова свежие как цветы на клумбе и такие же красивые. Поцелуи затяжные, ласковые. А обнимались как в кино!!! Вроде нежно, но попробуй, расцепи их объятья! Хрена с два расцепишь. Значит тоже любовь крепкая.

        А у нас в Чугуеве любовь так выглядела. Батько матери с утра наказуе :  – Эй, сучка драная, на ужин зроби сало с картоплей да кринку молока купи у Пацюков. А то задницу твою жирную розгой отметелю, чтоб схудала до человечьих размеров!

        И хохотал как на кинокомедии. Такая любовь была. Да причем почти у всех. Мне вот сейчас пятьдесят. Год у нас семьдесят седьмой. А тогда мне, помню, стукнуло десять. В тридцать седьмом году. Я-то не понимал ни черта, что репрессии начались. Что народ сажают, стреляют, что среди своих  – сплошные враги народа и советской власти. А тут как раз батько мой учудил, сорвался с цепи. Надрался пива и материл Сталина за то, что он советских людей по лагерям рассовывает, невинных. А они там дохнут и страна слабеет. Такую страну скоро можно будет голыми руками придавить и снова на части раздербанить. И что есть уже желающие.

      Ну, кто-то стукнул на батяньку, дня через три за ним приехал «воронок» и  больше мы его не видали. До войны ещё четыре года было. Я к началу войны-то и подрасти успел, да вся моя страхолюдская внешность как известка с гнилой хаты ссыпалась. Морда, правда, такая и осталась, квадратная. Но уши прижались, зубы стали ровные и глаза больше не выпячивались как у рака. То есть парнем я стал ничего так. Это в четырнадцать, представь себе, лет. Не красавцем был, но заметным. Рост сто семьдесят пять, плечи пошире батькиных, кудряшки модные сами образовались. Стал я сам за собой следить, ботинки ваксил и натирал, зубы чистил и одежку сам стирал. Короче, в Чугуеве меня заметили. Обратили внимание, что такой есть мужичок молодой. Не хуже других. Всю войну отработал на мясокомбинате рубщиком. И когда оккупация была – работал. Ушла оккупация – там же вкалывал. Потом ещё одна оккупация навалилась. Немцы комбинат не  разогнали, только вместо восьми часов мы двенадцать трубили. Фрицам пожрать тоже надо, да и население, врать не буду, не голодало. Потом наши немцев уже совсем выперли, а при возвернувшейся советской власти, которая пришла обратно уже в такой крепкой силе, что у всех на сердце отлегло, а я от радости поздоровел, повеселел и стал себя уже мужиком чуять, а не охнариком. В восемнадцать годков – мужик полноценный. И с виду, и в работе, да и по женской части опаски все как ветром сдуло.

      Главное, как-то незаметно и девки перестали меня бояться. Даже, скажу тебе, наоборот начали крутить педали. Назад ко мне. И хихикают со мной, и заигрывают, рисуются, кудри поправляют так, чтобы руки поднимались к волосам, а сарафан от груди отставал в виде большой провисающей щели. Ну, я глазами – туда, в щель. А они как вроде и не чуют моего взгляда зверского. А были случаи, так прямо и чулки некоторые при мне подтягивали. Вся нога по самую эту самую из-под платья выглядывала. Ну, я так, бывало, насмотрюсь за день, а вечером болею. Всё ломит, ноет и зудит где надо и не надо. Короче – муки одни. Надо, думаю, что-то делать с ними, с девками. Ну, пощупать хотя бы сперва для толчка к вершинам плотской любви. А я и не пробовал-то ни разу. Чего конкретно надо робыть – без понятия. С чего стартовать? Не сразу же под юбку нырять.

        Хорошо, что был у меня сосед череззаборный, Стёпка-сучок. Кликуха такая у него. Ну, это как бы плохое дерево, оно в сучок завсегда растёт. Вот тот гулял вольно по всему Чугуеву, аж пыль стояла. Сколько баб положил – не посчитаешь. А сам женатый был, поганец. Детишек двое у них с Варварой. Но ей как-то по фигу были все его приключения. Она чего-то вышивала целыми днями на полотенцах, занавесках, да на скатертях, а потом продавать ездила в Харькив. И денег у них было как в генеральской семье.

      Я к нему и пошел за опытом. Так ты не поверишь – он меня за три дня так навострил, что я на  четвертый день из клуба запросто вынул деваху с танцев, повел её песни народные попеть на Донец, на бережок. Ну, и там, на травке я первый раз её и… Ну, короче мужчиной стал. Духом окреп. Руки перестал перед девками прятать за спину. Разговаривать Стёпка меня научил так с девками, что они аж млели и таяли. Сами в руки мне валились. Вот же беда пошла, а!

      Пошла беда – отворяй ворота.  Я-то думал, что игрушки эти в страсть да обожание проскочат с юностью вместе. Уляжется горячая волна в груди, утопчется да затихнет. Так вот шиш! После войны мужиков поубавилось в Чугуеве. Поубивало и молодых и старых. А кто на фронт по возрасту не попал, как я, выросли, и сгинувших повсюду заменять стали. В сорок седьмом мне стукнуло двадцать, а гляделся я на двадцать пять. Осанка, взгляд, мова  – всё мужицкое, взрослое. А самое тяжкое, что не затухло внутри  притяжение к ихнему противоположному полу.

      Вот отсюда и попёрла вперед и к бесконечности моя ненасытность к женскому роду. А я тебе, Стасик, повторюсь, что я не маньяк и не извращенец и даже не монстр половой. Я такой, как бы помягче  – средних способностей и довольно  обыкновенных физических данных. Просто люблю женщин и хоть стреляй меня – не оттянешь от них ни за какую часть тела. И ведь, пойми, не сами эти выкрутасы в койке мне любы так, как обхаживание само, культурная замануха-западня и вышибание без прямых наводок из дамочки согласия и желания. Вот в этом ещё через пару лет я стал мастером спорта. Причем даже международного класса! Потому как взял на свою как бы страсть и ярко сыгранное сумасшествие от их прелестей  – по очереди двух пленных немок, которые остались жить у нас после войны, и  фельдшера Власту из Чехословакии. Не знаю как она у нас оказалась.

      Ну, да  ладно. Всё бы ничего. Истрепался бы, да сам прекратил к бабам вязаться. Но пошли неприятности. То одна забеременеет, то другая. А то и три подряд. Как-то же я их уговаривал на аборты! Сам не знаю как оно получалось. Но это же, Стасик, были громкие уже звоночки. Колокола это гудели, скажу я тебе!

      –  Завязывай, Гриня. Или точно влипнешь в непотребу.

      Так ведь и влип. Дон Жуан хренов. В сорок девятом году Мыкола Сивый, наш музрук из клуба, позвал меня на концерт самодеятельности в честь  успешного конца сельхозработ. Мыкола с детства был мне друг. Один на весь Чугуев. Я и пошел. Ну, там пели, плясали, стихи длинные зачитывали под огромным портретом Сталина на заднике сцены. А после концерта остались выпить-закусить тесной компашкой из тех, кто участвовал и их друзей. Я выпил сто пятьдесят с салом и помидорчиком, сел в уголок и стал разглядывать артистов. Их было человек пятнадцать, но только трое парней. Остальные – так себе девчушки, кроме одной. Я её видел раньше. Галинка с электромеханического. Они втроем приезжали к нам на мясокомбинат  поменять шнек на центральной мясорубке. Ну, я на Галинку то сразу стойку и сделал. Гарна дивчина! Гранатовый сок! Волос смоляной, кожа аж светится, такие страстные губы только сам Бог ей мог придумать специально для душевных поцелуев. Грудь просто чудом не рвала тонкую крепжоржетовую кофточку, а талию, мне казалось, я мог обнять, если  бы соединил  вокруг неё пальцы рук. Я подошел к Мыколе и узнал – есть ли кто у Галинки сейчас в мужьях или полюбовниках. Он чуть закуской не подавился.

      –  Ты сказився, чи шо?  – зашептал он, с трудом проглатывая колбасу.–  Це ж самая пристойна дивчина на городище. Хай тоби грець за таки помыслы.

      Ну, то есть приличная, скромная, культурная. А я, дурак, ни черта не понимаю в женщинах с первого взгляда. И я пошел к Галинке, отвел её в сторонку и сказал, что пришел сюда из-за неё, видел её не раз на улицах, на заводе, у нас на комбинате и вот теперь не могу о ней не думать, не ждать случайной встречи и так далее. Говорил долго, нежно и проникновенно до тех пор, пока не заметил в её глазах слабый пока, но положительный отклик на моё путаное и застенчивое признание. Через неделю после того. Как я проводил её до дома из клуба, мы уже спали в одной кровати у неё дома. Жила она одна. Родители уехали в Харьков жить к младшему из двух сыновей.

      А еще через месяц Галинка дождалась меня со смены,  взяла меня под руку, потом радостно повернулась ко мне лицом, обхватила меня за шею и оторвала ноги от земли.

      –  Гриня, у нас будет мальчик. Или девочка. Я только что от гинеколога. Поздравь меня. А я поздравляю тебя.

      И она смачно чмокнула меня в небритую щёку. Я тоже соорудил радостное выражение лица и поцеловал её в губы.

      -Чудово!  – проникновенно промычал я и поцеловал Галинку ещё три раза.  – Ты не догадываешься как я рад! Как я счастлив!

      –  Приходи вечером, отметим,  – томно пропела Галинка и убежала на остановку автобуса, создавая расклешенным ситцевым платьем завихрения в неподвижном от июльской жары воздухе.

      Я сел возле проходной на скамейку, закурил и стал сочинять речь, которая должна была аргументировано и тонко склонить Галинку к отказу от дальнейшей беременности. Сидел час, перебирал варианты и речь сложилась в убедительную, разумную и безотказно сработающую.

      Вечером под шампанское я её скромно  изложил, и как уже не один раз ждал нужного мне ответа.

      Это был приятный, остывший от бешеного солнца вечер, уютный, тихий и ласковый от пения неведомых сладкоголосых птичек и стрекотания цикад.

      Он и поломал напополам мою судьбу. Причем так просто и легко, как даже маленький мальчик ломает сухую ветку об колено.

      –  Нет, дорогой  Григорий,  – обняла меня Галинка.  – Через месяц мы распишемся, сыграем свадьбу и будем вместе ждать  нашего мальчика. Или девочку. Мне нужна семья. А главой семьи и отцом ребенка я вижу только тебя, милый.

      В эту ночь я не смог уснуть. Мамка заливисто храпела в соседней комнате, чирикала секундная стрелка часов на стене, приближая утро. За окном орали песню пьяные соседи и их гости. Половину ночи в песочнице для малышей мучили гитару и портили себе голоса подростки. А я смотрел в окно на черное небо, утыканное звездами. Где-то там, за небом и звездами , возможно, бдил и глядел на меня никогда не отдыхающий от нас всех Господь бог, в которого ни я и никто не верил. А потому и помочь мне сохранить в целости мою прежнюю привычную и удачную  жизнь было некому. Но  под утро я неожиданно понял, что есть-таки один единственный человек, который всё вернёт на свои прежние места. И он сейчас здесь. Смотрит в окно, слушает птиц, жалеет несчастную гитару, и вглядывается мимо звезд в черноту, надеясь разглядеть бесполезный и полусонный лик Божий, которого, как ни вглядывайся, и не было, и нет.

      Пошел я к ней часов в восемь утра. Она открыла дверь, продолжая спать. Рухнула  на кровать, добираясь до неё зигзагами, не отрывая от пола ног в розовых тапочках. Я посидел часок, дождался когда она проснется и сказал тихо:  – Галюня, я женюсь с радостью на тебе, но не сейчас. В том проблема, что завтра я просто уезжаю в командировку на месяц. Обмен опытом с мясокомбинатом Сызрани. Так что, жди. Через месяц сыграем свадьбу, я тебе ожерелье подарю из чистого жемчуга.

      Галинка потянулась, сидя, обняла меня и разрешила ехать.

      –  Обмен опытом – это ответственная работа. Когда у тебя поезд?

      –  Харьков – Сызрань. Завтра в шестнадцать сорок одну минуту.

      –  Ну, вот и ладненько,  – Галинка ещё раз потянулась до хруста в позвоночнике.  – Иди домой, мне сейчас надо на завод. Смена не моя, а получка – моя, родненькая. С утра дают. А ты вечером, часиков в восемь приходи. Останешься у меня. Попрощаемся. Месяц целый! Как буду без тебя – не знаю сама…

      Вышел я на улицу, чуть не запел. Сработало! Как сработало! Смоюсь теперь в Харьков к Юрке Бастрыкину. Это одноклассник мой. Он уже пять лет в Харькове. Много чего там знает. Через него найду, куда устроиться работать. Ничего. Попал  первый раз в щекотливую историю. Но как, блин, выпутался виртуозно!

      Я гордо погулял по Чугуеву, посидел на берегу речки Березовки, с другой стороны города текла такая, параллельно Донцу. Выпил там кружку пива  у грузина Пачаидзе в маленькой тошниловке, куда прутся все чугуевские алкаши на опохмелку или время убить. Просидел с одной  кружкой часа три, на речку смотрел, любовался тенями  в тихой воде от березок и лохматых клёнов. А в семь  часов ушел. Медленно брёл, разглядывая всё, что попадалось на глаза, сочувственно и с грустью. Уезжать дико не хотелось. Малая родина, уникальный древнейший город. С восьмого века стоял как городище Чуга. И под черниговскими князьями был, и под хазарами устоял, а в тыща пятьсот не помню каком году сам Иван Грозный повелел дать городу имя Чугуев и благославил. Так ведь и держится городок. И немцев выдержал совсем недавно. Сила в него вложена божеская,  не менее того. Старинного у нас много, новое рядом с прошлым припеваючи живет. Хорошо. И ехать отсель, сбегать точнее, просто стыдоба и жалость тоскливая. Но я не хотел жениться. Не на Галинке конкретно. Вообще не хотел. Двадцать третий год жил всего. И жизни толком-то не видел, да мало чего понял. Баб одних и видел. Да туши мясные на комбинате. Баб, хорошо хоть, разнообразных. Да и то: видал да перепробовал много, а женщин так и не понял почти совсем. Но не вся же это жизнь, не в охмуреже ведь одном радость житейская. Поэтому надо уехать. Муж из меня, как из дерьма котлета. Тьфу.

      И пришел так к Галинке. Чуть раньше. Без десяти минут в восемь. Захожу, а у Галинки-то гости родные. Братовья старшие. Два  кровных,  а один  – сестры её пятидесятилетней сынок. Ребята здоровые. Все ростом за метр восемьдесят, шеи у всех троих бычьи и бицепсы как на свиных тушах ляжки. Гирями в Харькове увлекаются. Мясо на себе выращивают.

      –  Гриня, штоль?  – поднялся самый старший.  – Пошто, Гриня, сеструху в  позоре бросаешь? Детишков делать мы могём, а отцовскую любовь да воспитание дать не хотим, да?

      –  Он Галюню-то нашу не уважает,– смурно сказал младший брательник, на вид уже под тридцать ему.  – Он Галюню  нашу за шалаву держит. Мы ж твоих чугуевских подстилок не считали. Но они – подстилки, шмары дырявые. А Галюня у нас – человек. Женщина с большой буквы. А ты от неё тикать, от золотой нашей? Значит, и нам позору хочешь в карманы наложить? Ты, Гриня, сука, не мужик…

      –  Чего вы с ним тут политзанятие проводите?  – встал со стула двоюродный брательник и с ходу врезал мне в челюсть. Я устоял. Только на косяк дверной отвалился. Тогда родные братья в секунду подпрыгнули ко мне, да двоюродный их догнал, и давай они меня ухайдакивать руками и ногами. Повалили, зубы ногой вышиб кто-то, кровища пошла, потом меня сразу двое за руки подняли на колени, а третий с размаху два кулака соединил и вложился прямо в горб. Тут я обмяк и потерял всех из виду. Чувствую потом  – водой меня отливают. За шиворот налили, за пазуху, на голову, считай, ведро вылили.

      Сел я на пол. Штаны тоже мокрые. То ли вода попала в штаны, даже не понял ничего. Весь мокрый, нос кровоточит, губы покрошены с зубами вместе, глаз болит левый, позвоночник как трактором переехали, челюсть ломит и грудь вмяли мне до самой спины.

      –  Ну, свадьба-то когда ?  – наклонился ко мне старший.  – Сегодня, ты говорил только что заявление понесёте в ЗАГС. Да? А я сейчас пойду и там договорюсь, чтобы не тянули. Расписали чтобы через три дня. Напудри его, сестрёнка. Освежи. Да идите с богом в ЗАГС этот. Идти-то можешь, орёл куриный?

      –  Могу,  – я потрогал ноги. Вроде целые.

      –  Ну, мы поехали тогда,  – братья взяли свои спортивные сумки на лямках, закинули за спины.  – Спасибо, Галюня, за чай да сахар. Зови в любое время. Попьем ещё. Хороший чай-то.

      –  Ты на свадьбу нас не забудь позвать,  – младший поднял мне голову за подбородок и внимательно посмотрел в глаза. Взгляд у него был спокойный и тяжелый.  – Галюня все наши телефоны знает. Позовешь?

      –  Я догадался, что телефоны знает,  – меня слегка поташнивало. Во рту было солоно, как от килограмма доброго сала.  – Позову, не волнуйтесь.

      И братья ушли. Я посмотрел на Галинку и опустил голову. Стыдно было, позорно и противно, что всё это у неё на глазах вышло. Но она сидела, смотрела на меня и плакала, прижав к глазам платочек.

      –  Вот же гады!  – всхлипывала она,  – я же просила только попугать тебя, чтобы ты не врал больше про всякие командировки. А они, вон чего натворили.

      Она достала из трюмо какие-то пузырьки, тюбики, баночки жестяные и села рядом. Села и стала наводить на моей физиономии подобие порядка.

      Часа через два я отдышался, с отвращением оглядел себя в зеркале, выпил холодного яблочного компота две кружки, потом проверил, на месте ли мой паспорт. Ну и что потом, как ты думаешь, Станислав?

      Правильно думаешь. Потом мы пошли в ЗАГС подавать заявление.

      Вот так началась моя вторая биография. Свадьба, «горько» через каждые пять минут, а потом пошла сама жизнь семейная. И длилась она, несуразная и бестолковая, без тепла и добра, аж двадцать семь лет. И за эти годы уйти я от неё пробовал пять раз. И пять раз братья как-то меня вычисляли и били. Так же, как тогда, впервые. И я возвращался. Сын вырос. В харьковский авиационный поступил. Уехал. Меня не любил, как и мама его. А я не любил их. Бегал от неё налево пуще, чем когда холостой был. Но уже не в Чугуеве. В Харьков мотался. Двадцать восемь километров всего. Полчаса на автобусе. Женщин у меня там было много. Даже считать не хочу. А когда с ней надо было спать, долг отдавать супружеский, не отдавался долг. Так и убежал я от неё через двадцать семь лет весь в долгах. Да и как с ней было спать. Она меня ненавидела  люто. Через год говорила со мной как маршал Жуков с рядовым штрафбата. Приказы, крики, истерики. Бегала за мной, подглядывала –  куда я и к кому. Надеялась, что к бабе какой-нибудь. Чтобы братцев позвать. Чтоб воздать мне сполна. Но я в Харьков от неё сбегал легко. Садился в автобус не на автостанции, а за городом. Поднимал руку, он меня забирал. И вот через двадцать семь лет неожиданно старший братец её встретил меня в кафе «Ивушка». Я там был с дамой. Он взял меня, дурак, за воротник, вывел в фойе и только там понял, что сглупил. Ему-то было уже далеко за шестьдесят, от бицепсов одни воспоминания остались. А мне сорок семь. Мужик в соку и при силе. Я сам выволок его на улицу и хорошенько двинул под дых. Он согнулся, сел на тротуар. Побелел и сказал мне:  – В нагрудном кармане нитроглицерин. Дай.

      Я достал. Сунул ему в рот таблетку. Забрал женщину, проводил её и поехал домой. Под крики и матюки Галинки молча собрал свой чемодан с нужными вещицами и молча ушел. Я понимал, что после случая в кафе мне либо вообще не жить, либо жить инвалидом. У братьев давно сыновья выросли. За тридцать почти всем было уже. И об уважении к старшим они знали столько же, сколько я о конструкции космического корабля «Союз».

      В общем, я тут же поехал в Харьков прямиком к Юрке Бастрыкину. Всё ему рассказал. Выпили пива по бутылке и легли спать. Проснулся я в девять. А на тумбочке слева лежал билет на поезд до Москвы. В Москве я пришел по адресу, который Юрка написал мне авторучкой на левой ноге. Старик, к которому я пришел домой, даже сесть не предложил. Сразу набрал межгород и позвонил в Горький.

      Через пять минут душевной беседы с кем-то он переспросил:  – Значит прямо к тебе пусть едет? Куда? Повтори. В кафе «Стрелка»? Понял. Во вторник в двенадцать. В полдень. Шестой столик слева.

      –  Всё слышал? Всё запомнил?  – старик закурил трубку с кошмарно удушливым табаком.  – Зовут его Рифкат. Красивый, седой. Узнаешь.

      –  Узнаю,  – я вышел, откашлялся от запаха жуткого табака и поехал на вокзал.

      В кафе «Стрелка» я  легко нашел Рифката. Познакомились. Стали выпивать. Пили что-то вкусное, дорогое, ели такое же. Через час перешли на ты. Потому что оказались ровесниками. Рифкат  был старше всего на год.

      Под занавес он заказал оркестру песню из «Кавказской пленницы» и  мы поехали на его «Москвиче» к  нему домой.

      Будешь со мной работать?  – спросил он, пьяно крутя баранку так, что мы выписывали страшноватые фигуры на асфальте.– Ты не бойся. Меня здесь никто не тронет. Так будешь?

      –  А делать что?– неуверенно поинтересовался я.

      –  А что скажу, то и будешь делать. Заместителем моим будешь. У меня дел полно разных. Один не успеваю. А Бастрыкин, друг твой, тебя хвалил. Деловой, мол. Честный. Мне такой сейчас нужен. Расширяюсь. Помощника ищу. А тут ты.

      –  Иду,  – согласился я.

      Мы переночевали у него. Утром рано поехали в Павлово-на-Оке.

      Будешь жить с парнями старшим в ватаге. Это вроде рыболовецкой артели.

      Я там главный босс. Звать меня без людей – Рифкат, и на «ты». В ватаге звать меня Ватаг и только на «вы». Понял?

      Конечно, я все понял. И живу теперь хорошо. Уже три года здесь. Мне пятьдесят. Рифкату на год больше. Дружим. Я ему кое-какие дела прокручиваю в Горьком, в Москве, в Павлово. Он мне и платит побольше. В общем, кошмар кончился. С женщинами тоже притихло как-то само. Есть у меня одна в Павлово. У которой штаны тебе брал. Думаю жениться на ней. Мудрая женщина. Тихая. Ласковая. Верная. Как думаешь – жениться мне на ней? Мы – одногодки. Я тут хочу жить остаться.  Назад отрублены и перекопаны дороги. И сердце остыло к малой родине. А родители померли давно. Сына вот только не увижу никогда. Не знаю про него ничегошеньки.

      Судьба так сыграла со мной в «очко». И у меня совсем дурацкий был «перебор».

      Грыцько поднялся. Достал носовой платок. Отряхнул его и пошел вперед, прикладывая платок то ли к носу, то ли к глазам. Я пригляделся.

      К глазам.

      Я шел позади и думал о том, почему никак я не встречу нигде счастливого человека? Чтобы от рождения и до нашей встречи не видел он печалей, зла, не страдал душой и не отчаивался, не боялся, не терял даже на короткий срок себя и надежды. Где-то ведь есть и такие люди? Но никто не знал  – где. И не встречал их никто. Кроме, наверное, Господа бога нашего. Которого, увы,  тоже пока никто из живых ни разу не видел… Но одно я усвоил точно:  никто не в силах изменить правила своей судьбы, определенной  Господом и им же управляемой так, как ему надо.

                          Глава четырнадцатая

      Четыре дня всего  оставалось до получки. Значит, и до отъезда моего. Месяц в ватаге, чего я никак не ожидал, многое изменил в голове. То, что  «судьба людей швыряет, как котят», Высоцкий узнал, конечно, раньше. Самого швыряло – врагу не пожелаешь. Но мне до прихода в ватагу думалось, что  люди, над которыми судьба измывается, которых топит и топчет, того и заслуживают жизнью своей сволочной и бессовестной. А в ватаге я таких не встретил. Все жили с ошибками, но обыкновенно, безвредно. Ну, разве что Толян с совестью был в долгой разлуке. Сперва карманник, потом домушник, а перед второй отсидкой попал в дружбаны к автоугонщикам и лихо посуетился в этой воровской специальности. Но, удивительно, сволочью не был и он. Обычный, неглупый, добрый и отзывчивый сорокалетний мужик. Работал на берегу как победитель социалистического соревнования. Не все за ним успевали  на любом задании  ватага. Какая дурная сила втолкала его в криминал, он, по-моему, и сам не понял.

        Я учился в двух ВУЗах, куда чаще всего вливаются относительно неглупые ребятишки, и всегда был уверен, что науки не портят людям жизнь и самих людей, а, наоборот, улучшают. Будущее делают светлее и полезнее для себя и других. Но вот там как раз злых, жадных, завистливых и даже жестоких встретил я куда больше, чем в уличной своей хулиганской юности, в рабочих командировках, в армии и вот здесь, в ватаге. Швыряла ли потом выпускников институтских судьба как котят по невеселым закоулкам жизни  – неведомо мне. Меня вот уже она начала потряхивать, хотя ни к злым, ни к завистливым или жестоким я себя не отношу. Её превратности – тайна великая есть. Никем не понятая и не изученная. Судьба устраивает экзекуции, переполненные страданиями и ощущением безысходности совсем невинным, нетронутым грязными пороками гражданам. Она заставляет их бороться за существование, мытариться, искать пятый угол и черную кошку в темной комнате. Она перекрывает им пути-дороги к счастливой, полной светлых чувств жизни, вынуждает терять дорогое, не дает свободы выбора. Не даёт и денег для спокойного существования и перекрывает дороги без опасных происшествий. И эти люди вынужденно, подсознательно начинают одинаково бояться и смерти, и, что ужасно – жизни.

      Здесь, на берегу красивой и сильной Оки, непредсказуемость житейских искажений и издевательское могущество судьбы каждого поселенца  слабели, стихали и, немощные, сдувались попутным речной волне ветром в никуда, в небытие, в пропасть, улетающего вместе с ветром времени. Здесь жилось. Тут не было охоты за счастьем и деньгами. Ни у кого. Здесь мечты не будили в людях зверя. Который готов ради того, чтобы ему не мешали бежать за мечтой, перегрызть глотку хоть ближнему своему, хоть чужому.

      Тут просто проживали положенный им срок. И не мучились.

      Вот вопреки судьбе своей, забросившей меня из моей колеи в не мою, я уже был готов ехать домой. Я знал, что добраться до родины, до отцовских объятий и маминых поцелуев будет тяжко. Что путь будет под завязку набит приключениями и не смертельными, но, однако, опасностями. Да вот только адреналина в моём двадцативосьмилетнем теле было через край. И он всегда руководил в тех случаях, когда надо было отключить здравый смысл и попытаться обыграть судьбу, которой хотелось держать меня на привязи и в боязливом трепете перед ней,  кем-то назначенной мне в сторожа и правители.

      Я подошел к Евгению с Наилем. Они  стояли по колено в воде  и двумя  кувалдами вбивали в дно третий по счету кусок рельса. Видимые огрызки рельсов торчали из воды на расстоянии двух метров друг от друга.  Пахлавон, композитор, Толян и Грыцько напротив железа уже вколотили на берегу толстые деревянные колья такой же высоты.  А на берегу лежали длинные и короткие брусья  пять на пять сантиметров и много разных по длине толстых досок. Эти доски я напилил ножовкой по очерченному карандашом размеру ещё два часа назад, а потом взял у Пахлавона двадцать копеек на конверт, марки и пошел в Павлово на почту. Отправить письмо домой. Я написал, что через неделю приеду.

      Всё, чем мы сегодня занимались, называлось строительством нового причала для крупных «ракет». Областное руководство решило через месяц запустить новый маршрут. И здесь ещё один причал наметили, чтобы не перегружать старый. Тот, где и переправа паромная.

      –  Гриня!  – позвал я. Грыцько подошел.  – Ты сегодня ватага увидишь?

      –  Обязательно,  – он присел на песок и достал пачку «Севера»:  – Мы поедем в Нижний. Встреча там деловая по запчастям. А чего  тебе от ватага надо?

      –  Ты спроси его про мою зарплату. Четыре дня осталось. Ехать мне пора. Он обещал зарплату дать, чтоб я добрался.

      –  Спрошу, не переживай,– он так и не закурил, сунул пачку обратно, поднялся, подмигнул с улыбкой и пошел на берег. К доскам.

      Я свою работу сделал и был свободен. Решил пустое время грохнуть на поход к переправе. Надежда, что паром вот-вот наладят, даже и не теплилась, если честно. Но делать всё равно было нечего и я не спеша поплелся. Пришел. Кассирша не знала ничего и я двинулся искать пьяного моториста. Он долго молча смотрел на меня. Вспоминал.

      –  А!  – Узнал он меня минуты через две.– Заходи, Юрка, садись. Чего надо-то?

        Я не стал его поправлять и сразу спросил про паром. Моторист меня расстроил полностью. Паром сделают не скоро. Нет на складе двух важных запчастей. Когда завезут – и Бог не знает.

      Делать было совершенно нечего, в ватагу идти тоже не тянуло. До позднего вечера все будут крепить доски на брусья, а брусья на сваи. Ужинать тоже не хотелось. Моторист отбил аппетит , по-моему, и на завтра. Поднялся я по причальской лестнице на дорогу и стал в последний раз гулять по Павлово, улыбаясь лимонам в окнах, цветам в палисадниках и мамашам юным с колясками. Павлово был каким-то особенным местом, где  всем девушкам очень нравилось рожать детей. Практически половина  юных женщин, попавшихся на пути, были либо с колясочной мелкотой, либо с шустрыми трехлетками, пацанами и девчушками. Я неторопливо обошел все знакомые по командировке места, потренировал ноги на спусках с холмов и подъемах, а часам к десяти, в темноте уже, спустился в ватагу, которая не для меня, конечно, но очень уместно жгла костер и пила чай с карамельками. Я тихо подошел за спины Наиля и Жени, убедился, что Грыцько в компании нет, взял свой сверток с простынёй и одеялом, портфель, и ушел к кустам спать.

      Странно, но уснул я мгновенно, не успев проверить – все ли звезды на месте, правильно ли плывет над горизонтом растущая луна и все ли цикады из их большого симфонического оркестра не путают ноты.

      Гриня разбудил меня около семи. Морда у него была кислая и папироса гуляла по рту как заводная игрушка на пружинке. Я  ещё почти спал, но медленно пробуждающимся умом догадался, что новость он сейчас доложит плохую.

      –  Не будет тебе денег в четверг, Стасик. И в пятницу не будет,– Грыцько перестал жонглировать папиросой, взял её поперек двумя пальцами  и уточнил, что ватаг срочно вложился в эти самые запчасти, насчет которых вчера они ездили в Нижний болтать по делам с крупным теневым дельцом. Ватаг деньги отдал наличными. Полный чемоданчик «дипломат». И, может быть, недели через две деньги вернутся и он заплатит.

      Я проснулся окончательно, пошел на берег, нырнул в Оку, а когда освежился, то понял, что уезжаю сегодня. Сейчас. Две недели ожидания денег могли нехорошо отразиться на моей потрёпанной нежданным путешествием психике.

      Когда ватага села пить чай и Пахлавон стал точно в нужное место метать по три карамельки, я объявил, что сегодня уезжаю. Все молча хлебали из кружек, грызли карамельки и задумчиво на меня глядели. Каждый по-своему. Композитор с похмельным сочувствием, Наиль  удивленно, Женя уставился на меня непонимающим взглядом, Грыцько вообще на меня не смотрел. Будто ему было неловко за хозяина, который не сдержал слова. Сам Пахлавон понимающе кивал головой и чай не пил. Один Толян  разорвал тишину, редкую для ватаги во время еды.

      –  Слышь!  – сказал он мне.  – Да чего ноги ломать? Гонит кто? Или там у тебя квартира из мёда? Ну, через две недели рассчитается бугор. Что меняется-то? Такого не было, чтобы он не заплатил. Иногда придерживает, конечно. Но и ты его пойми. Крутится мужик. Поживи пока. Мы теперь и тренировки  на самом начале бросим. Жалко. Да и вообще… Тебе с нами плохо, что ли?

      А я и чай не пил, и что отвечать не знал. Жилось мне в ватаге хорошо. И к ребятам привык. И грустный, монотонный бег красавицы Оки, голос её, рождающийся на дне, от которого она  отталкивалась, мне нравился. Он  был сварливым, но добрым, как у моей покойной бабушки. Не хотел я расставаться ни с ватагой, ни с Окой. Но меня ждала моя собственная жизнь, задуманная мной давно и накрепко. А я от неё был так далеко и долго, что, казалось, вообще никогда и не начну жить, как хотелось. А всем нутром тянулся я к нашим степям, к дорогам, сделанным из рытвин и колдобин. К совхозам, растящим хлеб, коров, свиней и баранов. К людям, ломающим свои хребты на благо родины в полях, на фермах, токах, элеваторах и машино- тракторных станциях. Я мечтал глубже провалиться в ту жизнь, где труд действительно трудный, но без которого жизнь остановится повсюду. От строгих, правящих всем вокруг учреждений, напичканных под завязку солидной и глубокомысленной публикой, до простых магазинов, в которых не будет ни хлеба, ни мяса. И картошки тоже не будет.

      –  Поеду я, ребята,  – мне было так неловко это говорить, будто я обещал жить на ватаге до смерти, а потом клятву нарушил.  – Извините, мужики. Я уже отцу письмо послал, что через неделю вернусь. Маму жалко. Она думает, что я плохо ем вдали от неё и через это заболею, и стану инвалидом. Да ещё работа стоит. Я только начал вползать в журналистику. И пропал для неё на время. Надо возвращаться. Она и хлеб мой, и радость. Хоть и трудная тоже.

      –  Когда хочешь двинуть ?  – кашляя от раскрошившейся в горле карамельки, спросил Евгений.

      –  Сегодня.

      –  Ну, допустим, сегодня не получится точно,  – предположил Толян.  – Деньги на дорогу тебе мы пошарим по карманам да наскребем. А вот как тебе путь- дорогу определить, чтобы ты доехал отсюда, с павловского откоса, до города Кустаная живым и здоровым, без ночёвок в лесах и на дорогах? Тут надо и мозгой  пощёлкать. И человечка найти, чтоб на отправную точку тебя скинул. Отсюда ты, конечно, запросто можешь стартануть через Горький. Вот он, под носом. Но денег столько, чтобы от Горького на московском поезде ты допилил до родимых краёв, не наберем мы.

        Пойду я вверх по берегу, найду Димку Старухина. Он лодочник. Два мотора на корме. Живет в лодке. Тент у него от дождя есть. Зимой у друга обретается в Павлово. Он сам из института рыбоводства московского. Рыбу тут изучает. Породы, виды. Как конкретно и зачем – понятия не имею. Если договорюсь – он тебе подмогнёт. Мы с ним на почте познакомились. Водки выпили – бочку и два стакана. Дружба, значит, верная. Он уже два года тут рыбу целует. Хороший мужик.

      Ещё недолго посидели вокруг костра, сгрызли все карамельки, потом все , кроме Толяна, пошли доделывать причал, а он  достал из своего рюкзака новую пачку папирос, бутылку водки, банку консервов «Килька в томатном соусе» и  пошел к Димке Старухину. Вернулся  он к вечернему костру. К ужину. Пахлавон сготовил в чане картошку с пятью банками тушенки. Пахло далеко, видимо, потому, что подвыпивший, но совершенно трезвый Толян сказал, что догадался, какое сегодня меню ужина, за километр.

      Поужинали. Стало тепло в животе и голова потяжелела, руки обмякли, а спина настырно намекала на то, что её надо положить на травку.

      –  Завтра в восемь выдвигаемся,  – Толян сыто и сонно зевнул, воткнул в зубы спичку и откинулся назад, на локти.  – Скидываемся Стасику на дорогу.

      Он взял пустую миску и пустил её по кругу. Миска обогнула костер и вернулась к Толяну .Он сунул в неё ладонь и выгреб  бумажные деньги и монеты, посчитал. Потом порылся в кармане и добавил к богатству свой рубль.

      -Итого семь рублей шестьдесят копеек.– Он почесал затылок. Поднял глаза вверх и минуты две беззвучно шевелил губами.  – Должно хватить. Есть ещё у кого деньги?

      –  У меня нет больше,  – сказали все по очереди.

      –  Ну, тогда спать пошли, Стас. Тебе с утра ещё побриться  надо бы. А то не за того примут на дороге.

      Он отдал мне деньги, мы разобрали свои постельные свертки и двинулись к кустам.

      –  Это ты бесплатно месяц оттрубил,  – крикнул вдогонку Наиль.– Ватаг будет рад.

      –  Я здесь получил больше, чем деньги,  – ответил я и обернулся  – А за ваши деньги спасибо, ребята!

      –  Да ладно,  – Евгений тоже взял свою постель.  – Нам тут деньги на хрена? На конверты только, да на марки. А мы все только недавно письма отправили. Ты езжай. Главное – доберись. И нам пиши. Вообще вспоминай временами.

      Я лег на своё место. Под привычные созвездия. Луны только вот не было. Забыла, наверное, дорогу. Бесконечность ведь, она  – ого-го какая! Зато вместо луны я увидел падающую звезду. Август. Время звёздам сыпаться в бездну. Она прочертила на черном поле космоса длинную дугу и канула за горизонт. Я даже загадать ничего не успел. Стал загадывать  желание уже без звезды. Первое: добраться до дома. Второе и последнее: до дома добраться хоть ползком.  Я закрыл глаза и вместо дома родного увидел синий вагон на маленькой безлюдной станции, открытую дверь и проводника в полной форме, с желтым и красным флажками в руке. Он махал мне флажками и кричал истошно:  – Стасик, наддай, поспеши, стоим пять лишних минут, одного тебя ждём!!

      –  Ну, это я уже сон смотрю,– успел подумать я и как в наш необъятный общий черный космос провалился в личный и короткий сон без снов.

      В августе под утро спать спокойно уже не получается. Прохладной хладнокровной змеёй заползает под одеяло струйка остуженного рекой воздуха. Она ползает по тебе, под тобой и вокруг в поисках выхода, чтобы нести свою прохладу вверх, к городу. Сколько не крутись и не ёжься, а она все равно защекочет тебя холодным своим телом и заставить подняться. В этот раз я и не думал сопротивляться ознобу. Было уже почти светло. Я вскочил, быстро сделал зарядку, после которой как бы вернулся горячий июль. Скатал постель, портфель отряхнул от песка и спустился к воде. После пятиминутного заплыва против течения стало жарко ещё в воде, а когда выбрался, то сразу же увидел Толяна. Он шел сверху в тельняшке, серых спортивных штанах и в плетёнках на босу ногу. В руках он держал постель и маленький рюкзачок.

      –  Что, пойдём к Димке? Не передумал?  – Толян  сунул руку в рюкзак, достал банку консервов «Килька в томатном соусе» и  бросил её мне в портфель.  – Это где-нибудь съешь по дороге, когда совсем придавит.

      –  Спасибо,  – я затолкал банку поглубже.  – открыть-то всё равно нечем.

      –  Вот этим откроешь,  – Толян вынул из-под тельника нож с наборной ручкой из разноцветных пластиковых колец.  – Бери, у меня ещё два таких есть. Сам делал у одного мужика в Павлово. У него в сарае слесарная мастерская. Подрабатывает. Детали вытачивает для машин, мотоциклов, моторов лодочных. Лучше заводских получаются. Надо будет, я у него ещё не один ножик сделаю. На зоне научился. Там втихаря в мастерских хоть пулемёт сваргань – никто не узнает. Если никого ссученного в мастерские не пускать.

      Я взял нож, сунул его в портфель сверху.

      –  С ребятами надо попрощаться.  – Я пошел туда, где спит Женя.

      –  Не надо. Вчера попрощались. Раз спят  – пусть спят. Пошли.  – Толян взял рюкзачок и медленно побрел по берегу вверх. Я догнал его и оглянулся. Тлел на последнем издыхании костер и синий прозрачный дымок полз из него извилистыми струйками прямо над песком, пригибаемый  прохладным ветерком. Рядом с костром спал Пахлавон, перебирая во сне ногами, чтобы понадежнее спрятать их в одеяле от холодка. Лежали аккуратно сложенные доски, оставшиеся после изготовления причала. Серый песок поднимался вверх от воды к кустам и откосу. А возле самого берега аккуратно стояли и медленно сохли помытые ботинки Наиля, который имел странность мыть их каждый день после работы.

      Через несколько шагов расположение ватаги перекрыл большой куст сирени, которая, как рассказывали ребята, посадил на берегу умерший недавно дед из Павлово, бывший матрос речного флота. Всё. Жизнь в ватаге осталась в прошлом. Начиналась новая, точно уже ведущая меня через очередные приключения домой. Димка Старухин, худой, обросший  как папуас торчащими в разные стороны волосами которые, человеку с развитым воображением могли напоминать усы, бороду и какую-то импортную прическу молодого раздолбая. Хотя самому Димке Старухину явно жилось уже пятый десяток лет. Он встретил нас вежливо. Пожал руки и мягко приобнял несмотря на то, что меня никогда не видел.

      –  Короче так,  – сказал он твердым командирским голосом.  – Идём на волну, идти нам примерно сто двадцать километров с большим хвостом до переправы Навашино. На машине это примерно семьдесят пять километров. А  на плаву идти  – почти  сто тридцать и набежит. Ока виляет, как сочная баба задницей. Так что, покрутимся. Но на лодке поинтереснее будет, чем на машине. На дороге кочки – через пять метров на шестой, а на волну наезжать одни только кочки и ловишь. Ничего больше нет.

      Мы закинули свои вещи, сами коряво ввалились в лодку и, раскачиваясь в  такт бьющей в борт волне, пошли на нос. Димка Старухин взметнул патлы, оттолкнулся высокими резиновыми сапогами от суши , побежал, толкая лодку, по мелкой воде и акробатическим прыжком точно влетел на своё место у моторов, которые не только гнали вперед посудину, но и работали рулями управления.

      Движки Димка включал радостно. Похоже, это было его любимым занятием. Он дергал нейлоновые шнуры стартёра, глядя не на двигатели, а в небо. Глаза его слезились от встречного ветерка и мелких брызг, а губы растянулись в улыбку, обозначающую торжественное ожидание. Взревел левый мотор и лодка пошла на волну, кренясь  левым  бортом. Димка улыбнулся ещё ожесточеннее и дернул раз пять правый щнур. С шестого захода стартёр очнулся, мотор взревел как перепуганный бык, лодка выровнялась, задрала нос и довольно шустро стала подминать волны под днище, прыгая по ним бодро, как хороший спортсмен на тренировке скачет вверх по ступенькам высокой трибуны стадиона.

      Димка Старухин смотрел вперед сквозь нас. То ли для него мы были прозрачными, то ли он имел седьмое и восьмое чувства, но он лихо обходил бакены, едва не задевая их бортом, поворачивал в сторону точно в тот момент, когда надо было пропустить встречное судно. Лодку, небольшой катерок или трамвайчик. «Ракету», встречную или попутную он отслеживал задолго до сближения, и давал крюк в сторону, чтобы не попасть под  режущий выброс из-под киля острой плоской струи, которая нашу довольно крупную посуду могла легко опрокинуть и помочь затонуть.

      Так и плыли. Шли, точнее. Пейзаж менялся медленно и монотонно. Мимо какой-нибудь прибрежной деревеньки дворов на пятьдесят мы проходили так  натужно, что и домишки приземистые я успевал разглядеть, и садики маленькие с огородами, спускающимися как зеленые языки к воде, будто хотели поскорее напиться.

      Толян глядел в другую сторону, на противоположный берег. Он то приближался не меньше, чем на километр, то почти исчезал из вида. Река по ходу движения то расширялась, то сжималась, от неё в стороны временами уходили узкие отростки, полные воды. Они петляли где-то за самой рекой между холмиками и островками, украшенными живописными кустами с краснеющими перед осенью листьями и густым непролазным камышом. Через пять-шесть километров узкие и неглубокие отпрыски Оки снова вливались в большую воду. Красиво все это было. Как на живописной картине очень талантливого художника, который сумел заставить свою картину двигаться, продуманно менять краски и перспективу.

      –  Вот тут жизнь! Натуральная! Животная, почти дикая!  – Толян перекрикивал стоны двигателей – Бог именно её создал! Такую. Светлую, независимую, непокорную. Нам только кажется по ошибке, что мы хотим жизни с самолетами, телевизорами, холодильниками и мебельными гарнитурами. И с хрустальной посудой. А в натуре – такая жизнь сучья. Через эти хрустальные вазы и бокалы жизни самой не видно. Всё криво видно и расплывчато. Телевизоры вообще ухайдакивают правильное понимание житухи нашей. Да ещё шмотки заграничные. Пока за ними народ носится, язык вываливает, он вообще перестает жить. Он существует. Как  наркоман на шмали. Пока план, дурь, шмаль есть – он ещё что-то соображает, но жить всё равно не живет. Потому, что башка только в одну сторону работает: где ещё дури прикупить.

      Толян набрал полный рот слюны и плюнул за борт. Выматерился и замолчал.

      –  А на ватаге что, не жизнь?  – Тоже заорал я.– Там всё по-настоящему. По человечески. И дружба, и работа, и правда вся! Вы же верите своим? Верите!

      Там чистота, на ватаге, там душа чистится и ум в правильную сторону глядит!

      –  Согласен!  – Толян кричал уже с хрипотцой.– До ватаги я сука был дешевая!

      Карманы шмонал у невинных, в хатах замки подламывал. С кентом на пару выносили хаты догола. Притыренное в их же простыни заворачивали. Потом машины стал угонять. Жигули, четверки и семерки,  – товар горячий. Скидывали за божеские цены грузинам. Влёт всё уходило. Я из Питера сам-то. Родился там. В армию и из неё обратно в Питер приехал. И в армии на губу влетал сто раз за самоволки. Свалю, было дело, после развода. В химвойсках служил. Под Брянском. Два километра и город вот тебе! Так я там жил как Рокфеллер. Нарежу сумок да карманов, пиджаки потрясу у баранов важных, так башлей было – девать некуда. Прятал их под забором, когда в часть вертался. Ямку выкопал. Булыжник сверху воткну в ямку, да пылью его присыплю. Вроде давно лежит. Тайник был всю армию. Так я жрал сам от пуза, пацанам приносил и водку, и папиросы хорошие. «Тройку». Слышал про такие? Одежку себе купил приличную на дембель, часы золотые сдернул с одного толстого. Упаковался под дембелёк  – я те дам! Всё ныкал на улице, под армейским забором. И шуршики, и шмотки, и ржавьё. Пять тайников сделал.

      Толян придвинулся ближе ко мне. Голос у него сел почти, охрип и  потускнел.

      –  Эх, Стасик! Я тогда думал, что вот она, житуха мировая. Полноценная. И после армии тоже не менял представления. Меня воровать научили в детстве ещё. Дядька был во дворе. Банкир – погремуха его. Семь сроков  оттянул. Качался на зоне во Владике, на крытке чалился у нас в Крестах. Мастер был! Не видал потом таких нигде. Вот он нас троих натаскивал. Валерку потом зарезали. Одного из троих. Закрысил от Банкира три кулона с изумрудом и ржавья рыжего пять цепочек. Вместе втроем подломили хату певицы одной. Ты её знаешь. Наша, питерская. Ну, видать, Банкир сам кого-то из своих и подписал Валерку на перо поставить. На танцах в парке его и уморили насовсем. Потом подрос я, сам начал шустрить. Тут, Стасик, жизнь и пошла – лафа отборная. Ты себе даже и не придумаешь такую.

      Он обнял меня за плечо и ободряюще похлопал по талии, мокрой от залетающих в лодку струй. Я опустил голову, молча разглядывал свои мокрые ботинки и думал о том, что Бог как-то пронес меня мимо воровства. Драки, хулиганство повальное и беспричинное, серьёзные разборки с поножовщиной, это всё было. На одном из таких честных «базаров» с  арматурами и ножами мне указательный палец ножом срезали по суставу вместе с перчаткой. Живу уже десять лет без пальца на левой руке. Привык уже. На гитаре только пришлось новые аккорды самому сочинять, да на баяне басовые партии учился играть другим пальцем. Научился всё же.

      –  Эй!  – Толян снова похлопал меня по талии.  – Чего задумался? Так всё интересное можешь пропустить.

      –  Что пропустить?!  – снова закричал я, потому, что Димка Старухин прибавил газу и стал жаться ближе к берегу. Похоже, подходили к месту назначения.

      –  Ну, вот, например! Интересно тебе?  – крикнул Толян совсем уж посаженным голосом и протянул мне под нос кулак. Димка Старухин при этом истерически захохотал.  – Вот тебе твои семь рублей и шестьдесят копеек! Держи.

      Он разжал кулак и высыпал мне в ладонь мои деньги.

      –  Ну, блин!  – я тоже засмеялся.  – Когда успел? Вроде ж болтали постоянно.

      –  Это когда дружески обнимались.  – Толян попытался закурить, но ветер и брызги старания его уничтожили. Не закурил.

      –  Ты мне на берегу потом расскажешь про то, как жизнь тебя плющила? -крикнул я.  – Мне полезно. И про то, как ты сумел судьбу выправить. Ладно?

      –  Пойдет! Расскажу. Самому интересно вспомнить блатную музыку. Я уже, считай два с лишним года по фене не ботаю. Забывать стал. Оно и к лучшему.

      Голос у Толяна сел окончательно. Он кричал, а встречный быстрый и напористый воздух сводил его крик в сиплый напряженный выхлоп свистящих слов. Похоже, это было на последний перед стартом паровоза выхлоп пара из боковых колёсных труб.

      -Эй, на носу!  – Димка постучал веслом в уключине по днищу.  – Пришли уже. Вон Навашино. Только парома там нет. На той стороне, видать. Но тут шесть кэмэ до того берега. Не видно ни хрена. Тут высажу. До переправы сами дотопаете. Я на тот берег не пойду И туда и обратно – поперек волны. Не на моём самокате такие трюки выполнять. Я тебя, Толян, тут обожду.

      –  А хрен его знает, когда паром вернется. -Толян стал прихорашиваться. Волос причесал алюминиевой расчёской, тельник в брюки аккуратно заправил. Ботинки проверил. Сухие были ботинки.

      –  Да мне по фигу ваш паром. Я тут донки покидаю пока. Спешить мне некуда. Нет сегодня дел у меня. Мы же договорились, что на Навашино пойдем. Я всё и отменил.

      Мы причалили между двумя огромными  валунами. Позади них зеленел  скромный лесок из березок, клёнов и осин. Вывалились на берег прыжками с носа лодки. Толян не допрыгнул несколько сантиметров и ботинки свои сухие притопил малость. До пристани добрались минут за десять. На ней толпилось человек пятьдесят, не меньше. А справа от толпы вилась вдаль очередь из разномастной техники. Тут был и комбайн без подборщика, и штук двадцать мотоциклов, трактор «Беларусь» и  десятка полтора легковушек. Ну, ещё три грузовика.

      –  Деньги давай. Пойду билет куплю.– Толян взял три рубля и ушел. Вернулся он через пятнадцать минут с билетом и полтора рубля сдачи принес.  – Паром будет обратно часа через четыре. Сейчас я на двадцать копеек куплю минералки в киоске. А то горло не хочет нормальный голос подавать. Он взял двадцать копеек и пошел за водой.

      Я ещё раз оглядел переправу. Задумался о том, как мы все такой оравой вперемежку с транспортом втиснемся на паром. Потом эта тревожная мысль кончилась и мне показалось почему-то, что я уже почти дома. Думы разные навалились. Как на работу приду в свою газету. Как дома встретят. К кому из друзей надо в первую очередь сгонять. Много появилось мыслей, которых до отъезда из ватаги не высвечивалось вообще. Самое забавное, что я совсем выпустил из виду, что это не конец моих дорожных приключений, а только самое начало. И, как всегда, никто, даже всевышний в которого я не верил, но частично уже доверял ему поправлять мою судьбу, никто не мог бы мне сказать сейчас, что будет со мной хотя бы через половину дня.

      Вернулся Толян. Принес какую-то незнакомую минералку местного разлива. Сделали по глотку. Ничего, вполне сносное пойло. Не «боржоми», конечно. Но и мы не в Москве. И даже не в Павлово, куда «боржоми» попадал иногда из Горького. Мы сели в сторонке на траву, которая была почти коричневой от тени, брошенной щедро и широко большим развесистым клёном.

      –  Ну, так ты мне расскажешь про жизнь про свою?  – тронул я за плечо Толяна.– А то в лодке половину слов ветром сдувало. Рыбы слушали.

      Мы засмеялись. Сделали ещё по глотку воды. Помолчали.

      –  Ну, Стасик!  – Толян захохотал чисто, заливисто. Вернула минералка голос .-Ну, ты же не журналист. Ты же следователь, да? Это я так шучу.

        Он сел поудобнее. Облокотился на локоть и закурил наконец. Выпустил в свежий воздух пять колец сизого дыма из маленькой, но едкой папиросы «Север» и  откашлялся, как докладчик на серьёзной конференции.

      –  Ладно, слушай, но никому потом не рассказывай. Это прошлое моё. Бывшее. Пропавшее. Слава Богу, пропадом!

      –  Обещаю,  – я тоже закурил и приготовился слушать. Скажи мне кто-нибудь, что чужие судьбы будут волновать меня не меньше, чем моя собственная, не поверил бы. Как, впрочем, и в то, что жизнь моя однажды неожиданно свернется в бараний рог и будет усиленно требовать, чтобы я тоже в него скрутился. Но я думал довольно часто и долго, что рог этот разогну в прямую, ровную, далеко идущую и счастливую линию судьбы, похожую на ту, которая нарисована от рождения на моей ладони

      –  Ну, так ты слушать будешь, или я к Димке донку кидать пойду? -Толян докурил папиросу и уставился на меня взглядом человека, знающего Великую тайну бытия.

      –  Всё! Поехали,– я тоже облокотился на локоть и готов был получить очередной подарок в виде откровения человека, которого судьба потрепала покрепче, чем Ока старенький речной трамвайчик.

      И Толян начал рассказывать.

                          Глава пятнадцатая

      Рассказ  бывшего уголовника Толяна о проклятом прошлом, правильном настоящем и светлом будущем.

      Было время, когда я корынку с корынцом своих  ругал, базлал на них, жало распускал как попкарь с пантовкой за то, что меня родили. Это лет в пятнадцать. Я тогда уже босяк был заметный на районе, такой ушлый васёк, втыкал в цвет, углы вертел на бану, для меня верха пописать точёнкой, марку прогнать на любом маршруте по любым клифтам было кучеряво всегда и по куражу. Колы имел, лавэшки локшил из ничего. Не в масть не базлаю никогда. Да ты вникай, я не моюсь, по натуре – не буровлю, дую не как зелёный, а как  мазёвый жульман, жук-филень, ракло и родыч, не серый там какой-нибудь. Лопатники из расписухи так винтил,  бочата так в мазу делал, что даже тихомиры  мне рога ни разу не мочили ни на каком зехере, ни в громе, ни на бану, ни на шкифте. А я на скачок шел в некипиш и выставил по фарту хазу не одну, да и не десять…

      Стасик, да ты не слушаешь, что ли? А, понял! Ты блатную музыку не знаешь? Феню, значит.  Ну, да: ты же по другой части. Корреспондент. Уважаю умственную работу вообще. Ну, я тебе переведу всё. Ты извини. Увлекся. По фене сто лет не ботал, считай. Конкретно – три года уже.

      Короче  – перевожу. Я на маму с отцом когда-то, когда только влип в жизнь воровскую и поначалу-то перепугался, что поймают и посадят, так орал! Как надзиратель на зоне, чтоб зеков пугануть покрепче. Мол, на хрена родили меня такого. Урода. Не школу заканчивал, а воровать пошел в пятнадцать лет. Сперва карманником. Так вот я тогда уже заметный был среди нашего брата. Да у нас почти все лизуны были, ну, мелкие, неопытные. Фармазоны, в основном. Косили под деловых воров, а на  самом деле – мелкота была одна.

      А я был такой везучий карманник, всё делал на кармане аккуратно, без ошибок, чемоданы даже на вокзале  спокойно брал, незаметно. Для меня брючные карманы подрезать монетой заточенной или в трамвае из любых пиджаков тырить было всегда легко, везло всегда фантастически. Денег было навалом. Я их, в натуре, из ничего делал. Стасик, я никогда ничего не придумываю. Как было – прямо говорю. Ничего не придумываю, не хвастаюсь, говорю не как воришка, который только учится, а как профессионал, везучий, фартовый авторитетный вор. Уважаемый, а не первоход какой-то. Кошельки из дамских сумочек так ловко выдергивал или вырезал, часы с мужиков и мелкие дамские часики так шустро снимал, что даже переодетые сотрудники из органов, которые по двое в трамваях карманников отлавливали и за порядком следили – и те ни разу меня не поймали ни на одном моём фокусе. Ни в трамвае, ни на вокзале, ни тогда, когда я форточником по хатам шнырял. А я на любую домушную кражу шел уверенно, спокойно. Потому, видать, и везло. Не  одну ведь хату почистил, да и не десять.

      Ну, вот, перевел я тебе с фени всё практически дословно. Теперь только на нормальном языке буду говорить. Честно если, мне эта феня самому давно вот тут сидит! Сволочной язык, то есть жаргон. Придумали-то его черт знает когда ещё. Для того, чтобы отделиться от лохов. От простого народа, значит, от честного. Который грабили, на гоп-стоп брали, чьи дома опустошали. Как враги, мля. Ну и чтобы понятно было: раз по фене ботаешь, то свой. Вор. Блатной, приблатненный или фраер – неважно. Главное, что тоже из преступного мира.

      Ну, про то, как я в первый раз на кичу залетел, то есть, сел в тюрьму, блин, я расскажу попозже. Сперва про детство поясню маленько. Оттуда жизнь моя кривиться начала незаметно. Я с 37 года. Питерский. Рос в блокаду. Началась она, мне и пяти лет не было. А закончилась, когда я почти девятилетним орлом был. В то время быстрее взрослели, чем сейчас. А блокадники-шмокодявки в семь лет уже, считай, ум и опыт взрослых людей имели. Я мало чего помню из начала блокады. Папка с  маманей работать ходили, как всегда. Они оба на молочном заводе пахали. Мама вроде кефир готовила в цехе, а отец  на  ГАЗоне, на ГАЗ-ММ, ну, полуторка которая, молоко развозил по магазинам. Меня, кстати, катал иногда вокруг квартала. Это я хорошо запомнил. Первый год блокады они ещё ходили, работали.  На второй год  летом завод закрыли. Это мне мама потом уже рассказывала, когда мне лет четырнадцать исполнилось. Она через свою тётку родную устроилась уборщицей в исполком нашего района. А отец на «эмке» год ещё возил зама директора мебельного комбината. Тот жил на Васильевском острове, с комбината уезжал поздно очень и мы отца почти не видели. Он приезжал к полуночи, я спал уже. А уезжал в семь утра. А в конце сорок второго, в октябре где-то и комбинат захлопнули. Материалов не стало, фурнитуры и, главное свет стали выключать почти на весь день. Рано утром давали и где-то с семи до девяти вечера. Чтобы успели поесть да помыться. Отец после войны уже рассказывал, что в сорок  втором зимой в домах и воды не стало. Потом батареи отключили, Отопления не стало. Мазут кончился  у тепловиков, а завезти уже нельзя было. Я вот этого ничего не помню – когда холодно стало в квартире. Просто помню, что было жутко холодно. Потом отец нашел на чердаке два больших листа толстой жести. Крест-накрест на пол под окно положил, концы загнул, потом с улицы приволок  доски от скамеек из сквера ближнего. И сухих веток из того же сквера. Половину комнаты всё это заняло. Они с маманей доски ломали и рубили отцовским маленьким топориком, потом батя строгал одну доску на щепки и в середине этого железа разводил небольшой костер. Железо накалялось, было почти тепло. Может и жарко могло быть, но он открывал форточку, чтобы дым уходил, поэтому с улицы холод все-таки залезал в хату. На этом костре и варили, пока находили, что можно сварить. Грелись возле почти красной от жара жести. Мама рассказывала после войны, что очень много ленинградцев умерло за блокаду. Особенно с конца сорок второго и до января сорок третьего, когда пробили дорогу по Ладоге. Но ещё тяжелее даже мне, пацану сопливому, было слушать от неё же, что люди сбегали из города. Много убежало-то. Существовали, оказывается, дорожки, по которым можно было живыми уйти.

      А радио у нас на улице работало. Здоровенный такой белый рупор. Орал на всю улицу. Кроме маршей и арий из опер он иногда слова говорил. По этим словам, в которые надо было верить, потому, что государство врать народу не имело права, выходило, что все ленинградцы как один стойко переносят блокаду и об эвакуации говорят брезгливо и ругательно. Сколько убежало народа и что за публика это была  – никто точно не знает. Но это были не люди. Это были крысы, сваливающие первыми с тонущего корабля. Они свалили, а нас всех оставили подыхать от голода, холода и страха. Летом мы ещё что-нибудь ели. Траву рвали, за городом полезные всякие растения, листья и сорняки, варили это всё. Отец откуда-то притаскивал рыбные консервы и иногда тушенку, которую солдатам давали к сухому пайку. Он их не воровал. Давал кто-то, Кто, не говорил батя. Ну, вот у нас так жизнь шла. Летом немного очухивались, а  зимой вымирали толпами. Вот что я сам запомнил, так это смерть незнакомых и знакомых людей от голода, холода, бомбежек и от помутнения рассудка. Кто с ума сошел, тот и  вешался, и топился в прорубях на Неве, и вены себе вскрывал, с крыши прыгал. Я таких много видел. Зимой мы, пацаны с ближайших дворов, собирались и шли помогать взрослым отвозить мертвых. Да и летом возили по несколько человек сразу на большом куске брезента. Ополченцам давали как защиту от дождя и снега, потому, что они постоянно дежурили на границах города. Летом прямо во дворах больших или на пустырях ямы рыли и закапывали. Зимой спускали под лёд на Неве.

      И ещё запомнил на всю жизнь, как тушил с дружками и мужиками да тётками зажигалки. Бомбы зажигательные. От них половина Питера сгорела. Говорили так после войны. Может и брехня это. Но нам на улицы по всему городу привозили мешки с песком. Мы какие-то с мужиками  таскали на крыши, а какие-то оставляли на земле. Страшно было, когда с мессера летели зажигалки. Мессер и сам воет как черт, а из зажигалок, пока они летели, такой стон  жуткий шел, что с непривычки казалось, будто они ожившие привидения и стонут от ненависти к живым. Пацаны на крышах ждали. Падает зажигалка, пробивает шифер или тонкую жесть и начинает искры из себя выбрасывать. А крыши, стропила и перемычки  – всё ведь деревянное. Схватывалось огнём быстро. Вот надо было успеть зацепить вдвоем эту зажигалку и воткнуть её задницей в песок. Потом, когда завоняет какой-то гадостью и задымит черно-желтым, хватать её за голову, которая не нагревалась, и бросать с крыши. Их потом собирала машина специальная и увозила. Больше ничего не помню от блокады. А, нет! Помню, мне ж тогда уже семь лет было, конец блокады. Двадцать седьмого января сорок четвертого. Когда Ладожскую дорогу пробили, немцы сняли блокаду. Народ чуть ли не голышом выскакивал на улицу, песни пел, ура кричал, все обнимались и целовались. А отец тогда сказал, что радуются рано. И точно.

      Восстановили всё, что для жизни надо, года через три. Свет, тепло, дома отремонтировали, окна вставили. Мертвых выкопали и увезли на могилы за город, а тех, кого под лед спустили, так никто и не искал. Продукты медленно поступали в город. Одежда, мебель. В блокаду народ свою всю спалил в буржуйках да в уличных кострах. А за хлебом и крупами всякими, которые так и давали по карточкам, как в блокаду, я стоял за отца с маманей в километровой очереди еще не один год. Ну, короче, повезло нам. Выжили.

      А я на восьмом году жизни стал не ребенком уже, а маленьким мужичком. Всё видел: смерть чужую, нелепую, не в бою. Видел жирных, которых блокада как бы обогнула стороной. Так ты представь, Стас, тут кругом люди мучаются и мрут как клопы под кипятком, а эти козлы со шмарами в кабаках сидят, водку жрут. Говорили, что шесть ресторанов аж работало в самый разгар блокады. Может и врали, конечно, но сытых, с иголки одетых и розовощёких я сам видел и запомнил. Вот тогда я понял, что жизнь взрослая – такая скользкая штука… Что беда  в натуре объединяет только тех, к кому она уже пришла. А тем, кого она ещё не догнала, всё было по хрену. И смерти чужие, и страдания, и голод повальный. Ой, многие убежали от беды!

      С тех пор даже не пытаюсь понять человека и поверить любому только по его речам и клятвам. Только когда лично вижу его поступки  и точно знаю, что у него есть слово, достоинство и совесть, тогда могу с ним разговаривать и дела иметь. Ты извини, что высокопарно сказал, но рос я тяжко и детства не имел, поэтому характер стал тяжелым, а жизнь меряю воровскими понятиями, которые, мля, честнее и справедливее, чем коммунистические правила и лозунги. Включая сюда и кодекс строителей коммунизма Написано красиво, а исполняется как хреновая музыка пьяным в задницу оркестром. Загрузил я тебя блокадой. Извини. Но это самая главная часть моей жизни. Ты же просил меня про жизнь рассказать. Рассказал немного.

      Ну, а потом пошло-поехало. Понесло, мля! В школу пошел с восьми лет. Ни хрена там не учил, идиот. В основном во дворе с пацанами в лянгу играл, в бабки да кости. Но и в школу временами ходил. И семилетку окончил спокойно. На второй год нигде не заторчал. Тут гляжу, блин, а мне-то уже пятнадцать! Отец с маманей постарели, у мамы язва желудка, у отца сердце сбои стало давать и почки. На работу не берут никуда. Старые. Да и не отстроили столько ещё, чтобы и старым места хватило. Они дома и сидели. Денег на лекарста  – хрен да копейка. То есть, вообще не было. Ели, что попадя. Обноски с войны надевали и на будни и на праздники. Жалко мне их было, аж сердце ныло.

      Вот тут во дворе и объявился старый вор. С погонялом Банкир. Откуда он взялся – никто не знал. Может «откинулся» и  приземлился у нас, может просто «сделал ноги» от кого-то, кому был поперек  дороги, может с кичи , из тюряги, значит, ломанулся. Но то, что он нам показал, малолеткам, было не фокусом, а чудом. Банкир вежливо подходил к прохожим, а мы смотрели. Он что-то спрашивал, ему показывали пальцем куда-нибудь в сторону, он благодарил, пожимал руку мужикам и элегантно кланялся дамам, на миг прикасаясь к ним в знак благодарности. И приносил на часы, лопатники, кошельки то есть, портсигары, цепочки с камнями и прочую ерунду. Мы с открытыми ртами смотрели и не понимали – как он это делает. Никто из нас не замечал, что он лезет в карман или под рукав пиджака за часами, а, тем более, на грудь женщине  за цепочкой. Но все это добро лежало перед нами. Причем все из нас знали, что у Банкира до этого никаких цацек в карманах не было. Он вообще был в трико без карманов.

        Вот Он нас троих и приголубил. Меня, Валерку Зыкина и Сашку Носатого. Выбрал из пятнадцати желающих научиться карманы шмонать. Сколько мы упражнений на пальцы сделали  – не посчитаешь. Сколько он нам подзатыльников навешал за ошибки – сдуреть можно. Но за год я научился работать чисто и элегантно. И Банкир сказал, что работать будем по понятиям. Он наводит. Мы работаем, и по двадцать пять процентов ему скидываем честно. Поймает на крысятине – плохо будет.

      Короче, с благословления Банкира двинул я в широкую, вольную, просторную и рисковую большую воровскую жизнь.

      То, что я фартовый, мне не было известно. Это Банкир мне сам сказал месяца через три.

      –  Везёт тебе, Толян,  – сказал Банкир.  – Это хорошо. Но ты никогда не забывай, что жизнь вора –  это дело не Божеское. Оно, наоборот, от нечистой силы происхождением. Никогда ещё дьявол у Господа не выигрывал. Маза всегда за Всевышним. Так что – не бойся, но знай, что тебя всё одно поймают и посадят. У вора не бывает другой судьбы. Вещи, которые ты ловкостью пальцев отнял у людей, постепенно отнимают у тебя свободу. И однажды отнимут совсем. Хорошо, если ненадолго.

      –  Буду помнить,  – ответил я и отдал Банкиру его пачку папирос, которая была заткнута у него на талии за резинку трико.

      Ну, сука какая!  – восхитился Банкир.  – Ладно, мечи дальше. Процент приносишь по субботам сюда, на скамейку. Не сомневаюсь, что ты не алямс – трафуля.

      Перевожу тебе, Стасик: несерьёзный, значит, человек.

      И вот два года я усиленно работал бабочником. Карманником, по человечески говоря. Оделся как фраер. Мотоциклы себе и бате купил. «Ковровец-К 175Б.

      Отца с матерью одел  богато. Отцу всё бостоновое и коверкотовое. И костюмы, брюки, и пальто. Шапку ондатровую достал ему, сапоги-ботинки теплые, туфли на лето шикарные, чешские, ну и много всяких мелочей ему добавил. Маманю упаковал как графиню. Всё у неё было забугорное. От одежды нижней и верхней, до посуды. Серебряный набор ложек и вилок нашел на двенадцать рыл, машинку швейную взял у барыги одного новую. «Зингер». Лучше неё не бывает. И постельное бельё на всех по три комплекта. Польские наборы. С вышивкой в виде лепестков розы по углам подушек, наволочек, простыней и одеял. А сами комплекты голубого и розового цвета. Розовый маме. А нам с отцом голубые. Еду покупал в дорогих магазинах и на рынке. В комиссионке отцу купил настоящий виски. Литровую бутылку. Он по пятьдесят граммов пил раз в неделю. Берёг. Ну и, конечно, обеспечил всеми самыми лучшими лекарствами и водил их в больницы к самым известным докторам. И, представляешь, вылечились родители за год полностью. Клянусь! Лучше, чем тогда, когда они поправились, мне в жизни никогда не было.

      А потом, когда мы год с Банкиром поработали, Валерку, одного из нашей тройки, на перо посадили. Ну, зарезали. В подъезде. Домой шел из кино.

      Банкир даже не удивился. У него, говорит, врагов много было. Кому-то путь пересёк. А я знал, что Валерка не всё положенное Банкиру отдавал. День, говорил, не фартовый был. И ведь как-то Банкир пронюхал это дело. Он и натравил своих дружков на него, видать. И я понял, что честный вор – это не юмор. Это очень серьёзно. И я ни разу хозяина своего не кинул. Отдавал и процент, а иногда и выше. На всякий случай. Один раз как-то у одного знакомого башкомника, спекулянта, по-простому, купил Банкиру волыну, револьвер, и семь пачек маслят. Патронов, то есть. К новому году подарок вроде.

      –  Толян,  – сказал Банкир и подарок не взял.– Я ерик (старик, значит). Мне эти феники – чистый яман, ( перевожу: для меня это плохо). Я на складку (на убийство, значит) не пойду и по старости, и по закону. По понятиям я в нашем воровском мире  – Ли (перевожу – авторитетный вор), а не сявка (начинающий блатняк), готовый мочкануть человека. Надо авторитет держать умом и умением, а не рогулькой.

      Ну, это револьвер по фене. Короче, не взял он. Я его себе оставил. Промаслил, в тряпку завернул и закопал вместе с маслятами под одной автобусной остановкой с крышей. Слава Богу, не пригодился. А через два года кайфа я сел на два года. Поймали меня на вокзале в буфете. Я там  сармак, ну, кошелек с хорошими башлями, у одного толстого штымпа, (а это обычный человек, у которого я наметил сбондить лопатник ) дёрнул, но не просёк, что за угловым столиком два парня сидели. Эти парни были как раз оперативниками из железнодорожной милиции. Новенькие. Я их не знал. Они меня и взяли. И на два года поехал я по этапу из крестов под Джезказган по общему режиму. Пока сидел – думал. Сиделось-то неплохо. Но это была не та жизнь, которой я хотел. Ты не поверишь, но когда я обеспечил старость родителям, меня тошнило воровать. Делал это только из-за Банкира. Я был для него курицей, которая несла большие золотые яйца. И сдёрнуть от него было тухлым делом. Судьба Валерки мне не подходила. Но завязать как-то надо было. И я придумал как.

      На зоне брался за любую работу, делал хорошо, рисовал стенгазету «Дорога на волю», в библиотеку записался, читать стал натурально, без фонаря, то есть, без обмана, а для себя. Хотелось. В самодеятельность записался. Танцевал хорошо всякие танцы. Даже грузинские. В школе музрук был клёвый. Не только на аккордеоне играл, но и танцы знал. Он и научил. Я из-за него и в школу-то ходил. Да на физкультуру тоже. Короче, отсидел я из двух лет десять месяцев и семнадцать дней. И вышел до звонка по УДО. За примерное поведение и полное исправление. Было мне тогда семнадцать лети десять месяцев. То есть, я вышел и через пару месяцев сам побёг в военкомат, показал справку об освобождении и попросил забрать меня в армию. Чтобы окончательно забыть про воровскую жизнь. И попал я в стройбат под Кишинёвом. Ушел от Банкира хитро, без обид, по закону на целых три года. Тогда три года служили. Я думал армия – это моя палочка-выручалочка. Но вышло чуток по другому. Пятьдесят пятый год. Десять лет уж как после войны пролетело, а в армии порядки были ещё те, военные.  К стенке, правда, не ставили, но чмырили крепко. За каждую мелочь. Подворотничок косо пристебал  – на тебе «губу» суток на пять. Постель заправил с кривым уголком, не под линейку – трое суток сохни там же, на «губе». И вот так все время. Чуть где напортачил – гауптвахта. А оттуда гоняли туалеты выскребать да мыть, на кухню таскать горбом мешки то с сахаром, то с рисом, то ящики с тушенкой. Не старался на работе, значит, будешь вечером перед отбоем по двору полчаса ходить гусиным шагом. Садись на корточки и семени лаптями. Да лапти бы еще ладно. Они легкие. А в кирзе кругов сорок намотаешь вприсядку – жить неохота. Строевым тоже часами топали, отжимались до упаду. Короче, «губа» не дура. И, что обидно, никогда не угадаешь, за что сядешь. А на тюрьму, на крытку, похожа она как две близняшки. Только там хоть понимаешь, за что сел, а тут бестолковщина полная. Ты вот представь, что  на гражданке ты по улице пилишь, тебя ловит патруль за то, что шнурок развязался или кепка слишком на лоб наехала. И  пару лет тебе  паяют. Зону топтать. Нормально?

      Психу и то такое не приснится.

      Тогда я подумал так. Ну, раз идет такая пьянка, раз ни за что грузят тебя тюремным почти режимом, то пусть делают это по серьёзному основанию. А самое серьезное нарушение что в армии? Правильно. Подпольное пьянство и самоволка. Пить я не любитель, а вот на самоволку намастырился основательно. Стал бегать через забор за бараком хозвзвода чуть ли не через день. У нас стройбат был, но мы не строили ничего. Кирпичи делали. Два кирпичных цеха у нас на территории было. Я на обжиге работал, на печи. Те, которые на сырце пахали, горб гнули без роздыху. Потом сырец высыхает, а уж после сушки к нам на обжиг идет. Короче, пятеро нас было на печи и все работали со свободным временем. Ну, я с парнями договорился, чтобы подменяли меня, а сам  сваливал часа на три, на пять. Что такое пять часов для хорошего вора? Космос! Куча времени делового. Садился я в автобус, который неважно куда ехал. На работе заточил три копейки до остроты парикмахерской бритвы и подрезал сумочки, карманы, даже портфели дерматиновые. Потом выходил, пересаживался и ехал обратно. Таким же макаром. Брал деньги  и всякие приличные штучки вроде зажигалок, портсигаров, маленькие флакончики духов, пудру, крем всякий для лица. Огуречный почему-то часто попадался. Ну, иногда женщины кулоны с хорошими камешками держали до работы в сумочке или в кармане плаща, а там, на работе, уже прихорашивались. Брал я и это, хотя рыжья, золота, значит, не попадалось. Цепочки в основном из серебра плохонького. Потом  быстро ехал на вокзал, мгновенно вычислял там барыг. Это скупщики краденого. И толкал им все цацки по дещевке. И бегом в разные магазины. Накуплю всего, от водки с закуской до конфет дорогих, сыр там всякий, колбасу копченую, хлеб подовый, печенье,  чай-заварку индийскую, и бегом в часть. Башли ныкал под забором в жестяную коробку от конфет, чтоб дождь не расквасил бумаги казначейские, а потом – в ямку и камнем прикрывал, пылью присыпал. Денег за три года набралось! Рублей восемьсот вроде. До шестьдесят первого года это очень хорошие деньги были. Я их после дембеля мамане отдал, сказал что в стройбате заработал.А батя зубами скрипел, но молчал.

      Вот мы с парнями выпьем по чуть-чуть, наедимся до  онемения желудка и потом в такой рабочей силе кирпич жжем. После первого же забега я себе купил гражданские брюки, рубаху, свитер, куртку, кепку и ботинки, завернул в слюду, которую купил в цветочном магазине, и спрятал в схрон под тем же забором.

      И по городу мотался как бешеный студент, на занятия опазывающий. И вот ты, Стасик, прикинь теперь. В самоволку я бегал дней двести  из всего года. За три года службы, получается, я не служил почти шесть месяцев, если в среднем гулял по четыре часа. А ловили меня на возвращении девять раз. Давали по пятнадцать суток «губы» Это ещё сколько? Девять на пятнадцать – сто тридцать пять суток. Получается, что служил я две трети срока, а треть службы  пробегал, шнырял по карманам, в кино ходил и в библиотеку записался. По справке об освобождении. Военный билет  светить нельзя  было. Книжки брал в часть вместе с продуктами. Причем просил у библиотекарши совета, что надо прочитать обязательно. Она мне давала Пушкина, Толстого, Чехова, Горького, Достоевского и много разной документальной литературы по физике, механике, химии и философии в популярном изложении. Клянусь, прочитал всё. Что-то с большим интересом, что-то просто  кое-как осилил. Но осилил! И вот там, в армии, навылавливал я столько умных и правильных мыслей, что твердо решил: отслужу и в жизни больше никогда воровать не стану. Никогда! На работу пойду, женюсь, после работы буду с детишками своими возиться, жена мне станет борщи варить, да антрекоты жарить. Малина!

      Пока, работал, служил то есть, пока бегал по самоволкам, читал, да строевой шаг шлифовал, тут незаметно и дембель подкрался. Сделал я дембельский альбом из любительских фотокарточек. Красивый получился. Я там ещё и нарисовал всякие вензеля, раскрасил карандашами. Вышло  – закачаешься.

      Вот с ним я вышел из двери КПП, помахал части нашей ручкой и пошел  всё выкапывать из-под забора. Переоделся в гражданку, зашел в галантерейный магазин  неподалеку, купил приличный чемодан, всё  разложил, а деньги сунул под майку. Воров-то вокруг прилично шлындит. Не я один. Ну, и на майдан рванул. Купил билет до Питера, Ленинграда, блин. Дома был уже через сутки и восемь часов.

      Попили мы с отцом водки трое суток без передыху, маму освободили от всего, сами всё готовили, мыли, убирали. А она всё время глядела на меня и радостно плакала.

      Потом три дня я в себя приходил. А на четвёртый  рванул устраиваться на работу. Объявлений с текстом «Требуется» было завались. Переписал адреса и стал их объезжать. И вот тут, Стасик, поймал я такой облом, что в первый же день глаза вылезли на лоб, а голова перестала соображать вообще. Меня не брали никуда, никем и никто. Ни в первый день, ни в пятый, ни в двадцатый. Месяц я шарахался по городу, готов был пойти хоть «вратарём» на какую-нибудь забубённую овощную базу, ворота открывать машинам и пропуска проверять. Но отказывали везде, причем сразу после того, как я говорил, что паспорта у меня нет, а есть военный билет и справка о досрочном освобождении за примерное поведение и хорошую работу.

      И я за месяц спёкся. Запил на неделю. Спал, почти не ел и матерился по пьяне прямо в окно на долбанную нашу конституцию, на наше вшивое равноправие всех людей и на социалистический гуманизм. Мать крестилась и бога молила, чтобы меня не забрали за поругание строя нашего. А отец молчал, читал книжку и ждал, когда я  начну трезветь. А когда дождался, сказал, что мы вместе завтра пойдем к одному хорошему человеку и он устроит меня на работу.

      –  А сразу нельзя было с него и начать?  – спросил я отца дрожащим пока голосом.

      –  Надо было самому прорваться попробовать,  – батя похлопал меня по плечу.-Чтобы до тебя дошло, что ты никто и звать тебя никак. Ты вор и дембель. Дембель и вор. Чуждый элемент нашему честному обществу и расцветающему государству. И место твое без подмоги – у параши. Так, вроде, у вас на кичмане говорят?

      Через два дня отцовский друг приехал к нам домой и доложил, что мне нашли постоянную работу прямо под Ленинградом, возле городка Павлово -на – Неве, на притоке Невы – речке Мга. Работа на песчаном карьере в бригаде, которая обслуживала земснаряд. Машину, которая из воды тащила на берег землю со дна, песок и гальку. Я очень быстро, быстрее пули, согласился. А утром уже считался обыкновенным советским чернорабочим, пролетарием по статусу, гражданином по конституции, нашему основному закону и своду коммунистических правил, понятий, проще говоря. Воровской мир продолжал жить по своим понятиям, а я уже перековался в честного  фраера и принял веру в коммунизм.

                          Глава шестнадцатая

      Окончание рассказа бывшего уголовника Толяна о проклятом прошлом, оптимистическом настоящем и светлом будущем.

      И поехал я на трамвайчике поутру до конца Ленинграда, до Кировского района, на Келколову гору рядом с городком Павлово-на-Неве. Горы там давно никакой не было. Скопали гору, оставили только её верхушку, на которой пару сотен лет разрасталось кладбище. Текла в Неву левым притоком речка Мга, суетился рядышком поселок Мга, который важным был и значительным, несмотря на свою микроскопическую мизерность. Он был железнодорожным узлом. Места эти я знал с детства. Летом, в блокаду, мы, маленькие шустрики дворовые, кучковались и ездили в Келколово на кладбище. Там родственники мертвых оставляли на могилах свои кусочки хлеба от карточного пайка, а мы их ели.

      Сейчас я ехал на Мгу под Келколово. Там уже много лет работал песчаный карьер. Песок для кирпичных заводов доставал вместе с водой  древний земснаряд 350/ 50 Рыбинского мехзавода. Тут меня встретил знакомый по воровским делам юношеским Федя Лысак, который давно завязал блатовать и честно вкалывал на карьере. Земснаряд закидывал сырой песок в кузов грузовика, а Федя и ещё двое орлов лопатами равняли горку песочную по бортам, стучали по кабине, прыгали из кузова на мягкий песчаный подстил и подгоняли под земснаряд другую машину. Ну, к ним вот я и должен был пристегнуться. Влиться в коллектив бригады.

        Бригадир, лысый краснолицый и плотный, будто утрамбованный со всех сторон  мужик по фамилии Востряковский, принял меня почти как друга старого. Обнял, долго жал руку, спрашивал, как дядя Миша себя чувствует и что делает мой отец, которого он знал со школы ещё. Кто такой дядя Миша я понятия не имел, поэтому сказал, что живет он неплохо, но иногда прибаливает.

      –  Да,  – пожалел его Востряковский.  – У него и тогда пошаливала печень. Говорил ему, не пей ты столько пива. Нет же, как же – послушается он! Настырный ведь, ну ты знаешь. А батяня твой, слышал я, сердечком хворал. Как сейчас, не хуже ему?

      –  Да подлечил я его. Выздоровел отец. Сейчас опять шоферит на молокозаводе. Восстановили его после войны. Он там и до неё  вкалывал. Нормально всё.

      Бригадир посмотрел мой военный билет, справку об освобождении по УДО и поинтересовался, когда я паспортом обзаведусь. Я пообещал, что через неделю. Просто некогда было после армии сразу бежать в паспортный стол.

      –  Надо сделать паспорт поскорее,  – бригадир посмотрел на земснаряд, потом снова на меня.  – У нас тут контроль. Проверки постоянно. Беглых отслеживают и бичей собирают в приюты.

      А работать будешь вот с Кузей в паре. Вон твоя лопата. А вон и Кузя лично. Он крикнул Кузе: «Эй, Кузьма, подойди». Познакомились мы с Кузьмой. Добродушный такой парень, с сильными руками, белобрысый и улыбчивый. Мы подружились с ним попозже накрепко. Он философом был внутри. Мыслителем. Знал до фига. Читал всего много. Рассуждал понятно и доступно  о таких высоких материях, до каких я и не пробовал дотянуться никогда. Ему бы в институте преподавать. Но он на земснаряде уже семь лет пахал, потому что после филфака ЛГУ он сразу женился на любимой сокурснице, которая впоследствии оказалась отпетой шалавой и клеила ему рога по всему телу лет пять. Кузя очень волновался, расстраивался и переживал. На работе, в музее истории Революции, где он попутно писал кандидатскую, всё понимали, жалели Кузьму, но когда он с горя запил на месяц, вытурили из святого места за два дня без выплаты положенных отпускных.

        Но зато по собственному, по тридцать второй статье. Пить Кузя не перестал, но от жены ушел. Жил у друзей разных понемногу. Потом один из них отвел его, пьяного, к знаменитой  в Питере бабке, которая избавляла людей от  алкогольной погибели. Бабка что-то глухо и долго бурчала ему в ухо, потом зажгла свечку, подержала её над Кузиной головой и с ходу воткнула свечку пламенем в  шею ниже затылка. Пьяный Кузя боли не почувствовал, дал бабке три рубля и они ушли. Вот с того момента он не то, чтобы пить, он  даже от запаха чужого перегара морщился и в компании пьющих ходить перестал. Потерял таким макаром кучу приятелей. После чего ему стало совсем приятно жить. Он  официально развелся с женой и через знакомых устроился вкалывать лопатой на земснаряде. И почувствовал здесь, на свежем воздухе и рядом с простыми людьми что-то вроде счастья.

      –  Чудны дела твои, Господи!  – часто повторял Кузя в пустоту неба и радовался как первоклашка первой пятерке по чистописанию.

      Да, честно говоря, я тоже радовался. Получил паспорт недели через две. Там, правда, одна неприятная запись была со штемпелем. О судимости. Но всё же, не считая этой малости, я имел теперь полный статус равноправного гражданина. Голосовать имел право. Во как! Я вообще-то мог его иметь уже в шестнадцать лет, как все. Но раз уж всё вывернулось иначе, то и пёс бы с ним. Востряковский данные из паспорта в свою книжечку переписал и сказал. Что испытательный срок я прошел без замечаний и теперь у меня будет не минималка-зарплата, а полная, целых восемьсот рублей в месяц.

      Это для начинающих жалование было. Через год я получал уже тыщу триста, ещё через год – тыщу восемьсот. И это было хорошо. Некраденные деньги тратить на фу-фу было жалко да и не в падлу. Лопатой-то я за них песка наворочал гору целую. Спина побаливала, руки тоже, а пальцы стали толще, грубее и по карману бы уже точно не пошли с фартом. В блудняк попал бы на первом же скоке. Ну, короче, поймали бы сразу. Но я и не жалел совсем. Жизнь воровская кончилась. Мне  почти двадцать четыре, считай, года. Жизнь впереди ещё вся,  почти нетронутая. Сам я – ничего себе экземпляр. Высокий. Крепкий. Лицо кирпичом не тёрли, вполне человеческая была рожа тогда. Ну, начал я жить по-людски. И пощло скоренько моё время, поскакало. Друзей завел путёвых. Двое из бригады: Кузя и Валентин Зайцев, бывший завклубом культуры, который на Мойке. Он там один. Шесть лет там оттрубил, поднял культуру района на голову выше. А потом на танцах байда какая-то произошла с дракой и поножовщиной. Кровью залили и полы, и стены. В итоге  – два трупа. Следователь попервой на завклубом и наехал. Мол, контроля нет, отсюда и весь разврат. Зайцев ему талдычит, что сроду разврата здесь не было никакого. А следователь его прессовал тем, что два трупа за один раз  – это ещё какой разврат! Потом он за два дня нашел натуральных трёх зачинщиков побоища, которые и зажмурили, убили, значит, двоих студентов. Провел их по расстрельной статье. Но суд дал  одному девять лет строгача, а остальным по семь общего режима.

        Когда их посадили, Зайцева вызвали в райотдел культуры и освободили от должности за неумение вести культмассовую работу. Хотя до этого дали ему как раз за это умение семь похвальных грамот и один раз отправляли на отдых в Пятигорск по профсоюзной путевке.

      Валетин обиделся на райотдел и месяц сидел дома. В кино иногда ходил с любимой девушкой Наташей, на которой не смог жениться, потому, что она неожиданно полюбила майора из какого-то военкомата и мгновенно стала майоршей. Зайцев решил не иметь больше никаких дел с культурой и девушками и пошел проситься на работу в милицию. Оперативником. Но в армии он, оказывается, не служил. По причине плоскостопия. Ну, само-собой, в милицию его не взяли. В газете городской он нашел объявление о том, что требуются рабочие на песчаный карьер и попал к Востряковскому. Пашет здесь уже семь лет и  рад как докладчик политпросвета бурным и продолжительным аплодисментам. Ну, ещё было трое друзей со двора, которые не фордыбачили, а жили нормально, семьи имели, детей малолеток. Мы с ними в домино играли на детской площадке за крохотным столиком и спорили по вопросам заграничной жизни, про которую знали из ругательных статей в «Правде» и «Известиях», выясняли правдивость предположений наших ученых о том, что все мы, люди, происхождением из пучины морской. Из воды вообще. Что сперва у нас даже жабры были, а после отпали, когда мы на сушу выползли. В итоге все были не согласны с учеными. Искали друг на друге следы отсохших жабр. И не находили. Короче, не скучно жили мы с кентами. Мне не хватало только любви. Женщины не хватало, которую хотелось на руках носить по набережной Невы, а не мацать в грязных подъездах. Но не везло мне с любовью почему-то. Я пять лет оттрубил на земснаряде, до двадцати семи лет без каких-то копеек. Там у нас женщин не было, не считая бабушки Таси, табельщицы. Ей перевалило за шестьдесят и её очень уважали за обходительность и мудрость. Всем, кому она давала житейские советы, удавалось всё, если они  исполняли их так, как баба Тася указывала.

      Пошел я к ней. Рассказал, что не могу знакомиться с девушками, а мне уже под тридцать. И жить хочется по-мужски. То есть, с женщиной и своими детишками, а не придурком, который только книжки читает, да в домино долбится с дружками. Баба Тася подсказала мне умную идею. Надо было спасти девушку от хулиганов или от пожара, ну, на крайняк – вынуть её из речки, когда она тонет. В спасителей своих девки влюбляются автоматически и с таким смелым и надёжным защитником готовы жить хоть в шалаше, хоть в общаге. Вот я потратил год, мля, на то, чтобы отловить ситуацию. Но никто, мля, не тонул ни хрена, На пожары раньше меня прилетали брандмейстеры. А хулиганы приставали к таким пройдам, на которых и клеймо уже некуда было лепить. Порядочных тургеневских наивных и нетронутых  грязными лапами девушек никто и не трогал.

        Тогда я договорился с Кузей и Зайцевым, что они в  Петергофе, куда забредают романтичные неиспорченные девчушки поглазеть на прелести архитектуры и фонтаны, сыграют шпану мелкую, привяжутся к симпатичной, не старше двадцати пяти лет кукле, а я её от них спасу и познакомлюсь на законном основании. Даже домой провожу, чтобы такая же шваль её снова по пути не осквернила лапанием за грудь и за задницу. Пошли мы в Петергоф, слонялись там часа три  пока не попалась красивая одинокая девушка с каштановым курчавым распущенным волосом, с ридикюлем в руке и загадкой в глазах. Мужики пошли к ней приставать, а я изготовился в сторонке для внезапной смелой помощи. Когда Зайцев стал стягивать с неё сумочку, а Кузьма нахально обхватил  девку из-за спины за плечи и уложил свои грабли точно на её выдающуюся грудь, она заверещала что-то наподобие «ой, мамочка моя!», я орлом выпорхнул почти с небес и с ходу двинул Зайцева в дыхалку, а Кузю схватил за руку, оторвал его от девчонки, развернул и со всего маху воткнул  мордой в ближайшее дерево. Оба свалились как обезглавленные командирской саблей, а девушка кинулась мне на шею, тряслась и бормотала что-то невнятное вперемежку со словами: «Я так Вам благодарна!».

        Пока она висела на шее, я сказал, что нужно валить по-рыхлому, а то сейчас набегут мусора и повяжут без разбора всех. Она ничего не поняла, но схватила меня за руку и прошептала, что теперь боится идти одна, и что  было бы хорошо, если бы я проводил её домой.

      Что в это время пела моя душа – не передать. В ней играли духовые оркестры самые бравурные марши, а многоголосый, похожий на церковный, хор исполнял что-то совершенно ангельское. Я довел её до дома, который был всего квартала за три от Петергофа, поддерживая её нежно за талию. При этом я нес какую-то хрень про наглую шпану на улицах, намекал, что лучше ей по городу ходить со мной. Причем не просто ходить, а беседовать на культурные темы, есть мороженое и посещать Мариинский театр временами, а в промежутках заглядывать в кинотеатры и библиотеки. Перед домом мы познакомились. Звали её Светлана Юсупова. Она была из рода графа Юсупова, работала шлифовщицей оптики на заводе «ЛОМО» и  заочно училась на философском факультете ЛГУ. Папа у неё был начальником треста «Ленспецстрой», а мама преподавала математику в политехническом институте. Я сказал, что зовусь Анатолием, отслужил в Советской армии и работаю  сейчас на земснаряде. Добываю чистый речной песок для изготовления бетона высшего качества, из которого строят мосты и речные дебаркадеры, а также дамбы.

      Мы друг другу понравились и договорились встретиться завтра же в восемь вечера возле её дома. Пойдем поужинать в ресторан, а потом погуляем и поболтаем о жизни.

      –  С вами мне ничего не страшно,  – пропела она, уходя.  – Мне с Вами спокойно и интересно.

      И скрылась в сумерках парадной. От радости я пнул как мяч тротуарный поребрик, подпрыгнул и побежал домой с такой скоростью, что и сам изумился. Раньше я так быстро не бегал.

      Утром на работе Зайцев со мной даже не поздоровался, а Кузя, украшенный синяком на всей левой половине лица, объяснил мне, почему я являюсь идиотом и добавил, что такой запущенный идиотизм вообще не лечится. Но зато мы с ним не поругались. Он не обиделся, а просто удивился тому, что уж больно крепко я его приложил. Сошлись на том, что я ставлю ему пузырь армянского в четыре звезды.

      -Где ты только его достанешь?  – съехидничал Кузьма.

      –  Не жухай, чернявая!  – отшутился я по блатному.  – Сказал «ставлю», значит будет.

      Ну и пошло сумбурное время внезапной и случайной любви. Я и не понимал, даже не догадывался, что любовь, она как раз вот такая. Потому, что раньше ведь не любил. Опыта не имел. Но морочили мы со Светой друг другу мозги и сердца целый год. Спорили, ругались, ревновали, не верили, сомневались, пылали страстью, горели желанием и верили в чистоту обоюдных помыслов.

      И всё это помещалось в одну упаковку. В  итоге мы всё же поругались вусмерть на почве моей неприязни к графьям,  князьям и прочему высокомерному  народцу, презирающему простых людей вроде меня.

      –  С тебя такой же простой, как с меня жар-птица. Ты спишь и видишь только одно: как бы породниться с людьми графского сословия. Я давно тебя раскусила. Поэтому – прощай. Нашему роду холопы не требуются.

      Она крутнулась на каблучках и быстренько удалилась, смешалась с массой, текущей туда и оттуда по тротуару, и пропала навсегда.

      Долго я болел душой. Переживал. Страдал даже. Водку пил прямо возле земснаряда. Матерился. Называл её сукой голубых кровей, а в расцвете мук и разочарования в любви потерял где-то лопату свою. Единственную мою ценность. Источник законной зарплаты и высоких показателей в труде.

      –  Ты иди на три дня в отпуск,  – сказал Востряковский. Он узнал от Кузи о моей трагедии.– Отпейся. Отоспись. Сходи на Фонтанку. Там найдешь себе усладу плоти своей на ночь. И пройдет всё. Не переживай. Была бы любовь, вот этой глупости бы просто никто из вас двоих не придал бы значения. Значит, не было любви. А без неё чего впустую по кабакам, да по музеям бегать? Суета одна…

      Пять  лет на земснаряде пролетели как неделя. Я много торчал в библиотеке, в читалке. Умнел и получал неучитываемое никем и нигде образование. Стал писать стихи в тетради с толстым переплетом из настоящей кожи. Записался в секцию мотоциклетного спорта. Гонялся  на кроссах по пересеченной местности. А вечерами шел в центральный Дворец культуры в танцевальный кружок. Учился настоящему гопаку, индийским и бразильским танцам. Там же записался в секцию, где занимались «охотой на лис». Невероятно интересная игра в спортивное радиоориентирование. Выезжали в ближние леса и там до седьмого пота гонялись с приемниками и длиннющими антеннами за сигналом передатчика. Время было занято под завязку. За четыре последних года в этих самых кружках и секциях я снова находил любовь, страсть,  разжигал пожар в душе и снова гасил его, разобравшись, что и это не любовь. Так и жил. Ночью уже аккуратно проникал в квартиру, старался не разбудить родителей. Утром рано уходил. Ехал на работу с двумя пересадками. Мотоциклы к тому времени продали уже. Зарплаты у всех были маленькие. Даже моя. Не хватало на лекарства родителям  и они тихо угасали, таяли на глазах. Я помогал изо всех сил. Но силы-то были, а вот денег не хватало. И мама умерла первой. А через год на работе, прямо за рулем отца достал инфаркт и он умер на ходу, врезавшись в угол какого-то дома. Похоронил я их по очереди рядом на Келколовой горе, возле своей работы.

      Прошло чуть больше пяти лет с того прекрасного дня, когда я попал на земснаряд. И однажды Востряковский пришел весь подавленный, с красными глазами, и доложил, глядя вбок, что нас ликвидируют. Не будет больше здесь земснаряда. И нигде его пока не будет. Всё выбрали, что было. Весь песок. Тот, что остался – не подходит для тонких работ.

      –  Получите, хлопцы, расчет. И зла на меня не держите. Я бы с вами ещё сто лет работал бы. Но…

        Он вжал плечи, отвернулся и медленно, как во сне, пошел к верху песчаного откоса и  пропал из вида. Расчет мы получили. Символически выпили немного за нашу бывшую хорошую и нужную работу, погрустили немного и разошлись.

      И вот сижу я на скамейке в Петергофе, рядом с тем местом, где встретил первую свою любовь, и держусь за голову.

        Мне скоро тридцать лет уже. Почти как Иисусу Христу к моменту распятия.

      Но он  воскрес потом. А я смогу?  Подумал. Решил, что точно смогу. Костьми лягу, а будет у меня и семья, и работа, и спокойная, нужная мне, семье и  людям в моем городе жизнь и польза от неё. Только бы суметь воскреснуть…

      И вот следующие три года я изо всех сил делал себя хорошим, порядочным человеком. С паспортом, хоть и была в нём отметина о лишении свободы, жилось все же полегче. Поступил я на заочное в техникум связи. Через три года мне дали диплом мастера-наладчика коммутационных телефонных систем. Проще говоря, я должен был сидеть на каком-нибудь коммутаторе и следить за исправностью передающих и принимающих блоков, а если что – либо пропаять пробои в схеме, а то и весь блок поменять. Ну, пока я заочно обучался, писал рефераты, решал всякие задачки по физике, механике и конкретно  по постоянному электротоку малых значений, сдавал зачеты и экзамены. Самое интересное, что я ведь на самом деле всё это учил по специальной литературе, лично всё писал своей рукой и натурально отвечал по билетам на зачетах и экзаменах. Так что, честный взял диплом. Но три учебных года этих я работал совсем в других сферах и направлениях. Год просидел сторожем на складе посуды для общепита при тресте Главпищеторга. Зарплата там была как раз для нищих. Совпадала вровень с прожиточным минимумом. Но зато работал через сутки. Пустой день проводил в мотоклубе за городом. Летал по набитым чужими колесами  ухабам и рытвинам на дурной скорости, причем с большим удовольствием. Кроссы успокаивали меня и добавляли сил и терпения. Риск всегда укрепляет волю и добавляет терпения и бесстрашия. У меня и без мотокросса этого добра хватало, но он добавлял ещё дозу. И она не была лишней. Я продолжал настырно искать себе пару. Желание  иметь семью стало просто маниакальным. В мотоклубе  я даже женился на двадцатилетней девчонке Галочке, которая училась на экономическом факультете в каком-то институте. Ну, женился – громко сказано, конечно. Не расписывались мы. Просто жили вместе у меня дома. Жили весело, непринужденно, без особых обязательств и избытка страстей. Плохо было только то, что она ни расписываться не хотела, ни  ребёнка родить. Потому, что ей не время было пока. Надо было институт закончить и место получить с хорошей зарплатой. Она говорила, что если ей будут платить столько же, сколько мне сейчас, то мы не вытянем ни воспитания ребенка, ни нормального житья, которое не унижало бы её как личность. Ходили мы с ней часто в кино, в Эрмитаж раз двадцать, гуляли по кладбищам, где много могил очень больших знаменитостей и подолгу стояли перед памятниками и стелами. Она считала , что душа умершего всегда находится возле могилы своего тела и её энергия, а также способности частично поглощаются душами тех, кто с добрыми чувствами пришел сюда и думал тепло и светло об ушедшем в иной мир. Я не спорил. Девочка была слишком молода и жизнь её ещё не трогала, не кусалась. Галочка была просто доверху напичкана всякими похожими поверьями и гипотезами, верила в потусторонние силы, искренне боялась козней дьявола и считала, что это пришествие на Землю у неё уже восьмое. Мы разбежались с ней после того, как она получила диплом и по распределению уехала в Ростов-на-Дону. Меня она не позвала с собой. Да я бы и не поехал.

      Со склада посуды я после её отъезда ушел. Надоело полное безделье. То хоть девочка разбавляла мою сторожевую грусть-тоску. А теперь некому стало. Искал месяца три, куда бы приткнуться, чтобы не сдуреть от тупого сидения как на посудном складе.  Но по специальности, которая еще не была подтверждена дипломом, устроиться не вышло. В Ленинграде все семь АТС были забиты спецами, которые торчали на одном месте по десять лет, а кто и по двадцать. И у всех были какие-нибудь дипломы.  А диплом, он ещё шибче паспорта. Он подчеркивает твой статус, повышенный знаниями и общей эрудицией. Её, эрудицию, учебные заведения отсыпали студентам вёдрами, а некоторым – бочками. Девать некуда было эту универсальную эрудицию.

      Я подумал и не стал больше бегать по городу, а снова пошел на склад посуды. Меня там встретили как родного, потому что пока я сторожил, со склада не пропала даже пустая коробка от тарелок. И не разбилось ничего. А, главное, не украли даже граненый стакан. Там я как родной, с той же прежней удачей, отсидел ещё два года. И наконец получил свой заветный диплом в техникуме связи. Вор, хоть и бывший, с дипломом среднего специального образования, это было фантастическое событие. Насколько  я помню, среди нашей братвы таких извращенцев не было. Пришлось опять уходить из сторожей. Диплом обязывал перескочить на уровень повыше.

          Я со своим серьёзным документом, обозначающим мою специальную образованность, сунулся в проектный институт «Ленводхозпроект». Там придумывали сооружения для регулировки уровня рек, каналов и озёр. В отделе кадров покрутили мой диплом перед носом человек пять. После чего начальник отдела дал мне место слесаря в опытной лаборатории, где правильность проектов проверяли на макетах. Здесь я точил всякие мелкие детали из латуни, меди и алюминия. И просидел я в проектном до шестьдесят седьмого года. Но не просто просидел, а ещё и женился вполне официально, с росписью в ЗАГСе и свидетельством о браке с лаборанткой Валей Жигановой. Мы стали жить у неё в отдельной двухкомнатной квартире в доме рядом с Невским проспектом. Хорошая была женщина тридцати лет. Разведенная. Муж к другой у неё сбежал. Я-то сгоряча и забыл поинтересоваться, чего сбежал мужик-то. А потом выяснилось. Ребенка она тоже не хотела. Любила хорошие компании, марочное вино, играла на гитаре и, самое ужасное, была полностью погружена в творчество. Она делала из красной глины, которую покупала на керамическом заводе, фигурки ангелов-хранителей. Она когда-то по случаю в букинистическом магазине купила журнал французский, целиком посвященный этим самым ангелам. Каждый ангел был хранителем судеб не всех поголовно, а только граждан с соответствующими датами рождения. Ну, там, скажем, какой-то ангел брал на себя охрану жизни публики, родившейся с 1 января по  седьмое, другой подхватывал людей от восьмого января до шестнадцатого. И так далее. До хрена было и ангелов, и глины, а народу вообще тьма. Копировала Валя  их образы с рисунков, лепила красиво, тонко прорабатывала всё вплоть до глаз и пальцев, обжигала в электрической духовке, которая стоила аж сорок  рублей новыми, хрущевскими. Потом она покрывала фигурки глазурью, сушила и по субботам и воскресеньям пихала это мистическое фуфло на барахолке. Разбирали всё влёт. Валя была богатой женщиной, но деньги скидывала на сберкнижку. Поэтому жили мы бедно и скучно. А в шестьдесят седьмом осенью мне внезапно стало аж тридцать лет. Валя про день рождения не вспомнила. Сам я тоже не особо радовался. Пошел в ближайшую тошниловку, вмазал три кружки пива с вяленым лещом, поздравил себя с наступающей старостью, потом выпил ещё сто пятьдесят «московской» на разлив, пришел домой и рухнул, не раздеваясь, на диван. Допраздновал уже во сне.

        Прошло дня три и вот, в пятницу, когда жена пощла на очередную свою гитарную вечеринку с марочным вином и самопальными бардами, я поехал в свой двор. Домой хотел заглянуть, взять кое-что, да потом с мужиками поболтать во дворе. Не виделись год, считай. Ну, поболтали про всякую чепуху вроде политики партии оценки её народом. Потом Славка рыжий, бывший малец, подросший незаметно до двадцати годков, говорит мне:

      –  А ты, говорят, блатовать завязал. Даже по ширме не работаешь. Лопатники не стрижешь, углы не тянешь. Честную фраерскую жизнь ведешь. И много платят за честную жизнь сейчас?

      –  Хреново платят,  – я засмеялся.  – Государство в себя приходит после разрухи. И никак не придет. Я вот с дипломом специалиста – мастера по связи, слесарю сейчас за девяносто рублей. А что?

      –  Да ты ж мастак мазёвый. Вечно в фарте был. Нам такой нужен как раз.

      –  Чего делать надо?  – неожиданно для себя спросил я и закурил. Заволновался от встречи с прошлым.

      –  Тачки отжимаем у жлобов да лохов.  – Славка тоже засмеялся.  –  Машины угоняем тут недалеко, за Питер. Там или на запчасти их барыгам потом скидываем. Или хорошие машинки грузинам продаем за полцены. Хочешь попробовать? Мы уже два года работаем. Четверо нас. Двое гоняют, двое разбирают. А на угон нам ещё один нужен. Идешь?

      Я походил вокруг доминошников. Посидел на бортике детской песочницы, выкурил ещё папироску и пошел к Славке.

      –  Лады. Иду. Где, когда, как и куда?

      –  Другой базар!  – Славка пожал мне руку.  – Сюда завтра к семи подруливай. Побакланим чуток. В курс введем. А в субботу работаем уже. Клиент нарисован уже. Наколки проверены. Давай. Ждем.

      И он ушел, повернув кепку козырьком назад.

      Я даже вспотел. Что-то азартное, забытое уже, пробудилось и заныло в груди. Это загулял адреналин, дремавший во мне уже много лет. Я сидел ещё долго на пустой скамейке. Оглянулся. Доминошники как-то тихо тоже разошлись. Так вот и просидел я почти час на родной с детства скамейке. Как порядочный, честный, законопослушный гражданин посидел. А потом плюнул под ноги себе и поднялся. Поднялся уже вором.

      Работа со Славиком была для меня развлечением. Они меня наводили на тачку, я среди бела дня при болтающихся мимо людях, спокойно проталкивал между  резинкой-уплотнителем и дверной стойкой проволоку с полупетлей. Подводил её к придавленной кнопке, обозначающей, что дверь на замке, накидывал полупетлю-полукрючок на кнопку и аккуратно поднимал её вверх. Замок и открывался. Сигнализаций тогда не было. Я соединял провода зажигания и уезжал медленно, ехал только в потоке по большим улицам, а потом в условленном месте на окраине Питера ставил тачку возле одного промтоварного магазина, оставлял дверь открытой и уезжал с остановки напротив в центр. Потом домой. Честно говоря, работа была без куража. Обыденная какая-то. Не было ни азарта, ни подсознательного страха, что сейчас схватят за руку. Дальше всё делалось уже без меня. Где находится агба, то есть место, куда девают потом машину, которую я увёл, мне было неинтересно. Я на следующий день шел вечером на бурву, ну, на место условленное, где делёжка, брал свои бобы, деньги, то есть, и мы разбегались до следующей наколки на «телегу». За два года я  вертанул десятка два «побед», «москвичей» и  ГАЗ -21М. А в феврале шестьдесят девятого как раз на бурве, когда мы раскидывали «джоржики», деньги, по-русски говоря, нас неожиданно повязали опера. Следили, значит. На суде все мы вчистую дали раскладку. Значит, признались во всем. Каждый получил свой «аркан» по статье. Ну, срок, стало быть. Я лично закрылся на семёру. Семь лет дали. Всё рассказывать про отсидку не буду. Долго и не интересно. Только, ты же знаешь, опыт бродяги, сидельца, уже имел я хороший. На зоне снова в активисты не лез, куму не барабанил про братву, а пахал как иван-работяга, не косил на больничку, вел себя примерно, аккуратно. Опять самодеятельность, стенгазета, три раза организовывал зоновскую спартакиаду между отрядами. Бегали, прыгали, штангу тягали и боксерские турниры проводили. Да! Ещё шахматный турнир я три раза проводил, хотя сам не играю.

      Ну, ты уже догадался, да? Правильно. Через шесть лет, летом, в середине июля, пошел по УДО на поселение под Лугу. Это всего сто пятьдесят километров от дома моего. Дали мне койку в общаге для поселенцев и работу на заводе абразивных материалов. Ну, там отрезные круги делали, шлифовальные, тигли всякие. Я чернорабочим там обустроился. Мешки с абразивным порошком, камни точильные возил на тележке по цехам на доводку до ума. Работал по человечески, не дурковал. На заводе хорошо ко мне отнеслись. Правильно.

      А вот  жизнь за забором завода не задалась с первых дней. Я встал на учет в мусорскую. В городское управление внутренних дел. Дали мне ксиву, что я досрочно освобожденный уголовник и памятку на двух страницах: что можно делать, а чего нельзя. Куда ходить отмечаться раз в месяц. А приглядывал за всеми нами, условно свободными зеками, участковый того района, капитан Кудрявцев дядя Витя. Было ему за шестьдесят. Фамилию свою оправдывал на двести процентов. Кудрявый был как девка после химической завивки. Толстый, пузатый. Ремень брючный почти на помидорах висел. Сапоги носил хромовые, настолько усердно отполированные, что когда он заходил к нам в комнату на троих, то в сапогах его отражались тумбочки, ножки железных кроватей и наши ботинки возле них. Когда он зашел, все просто лежали и сразу вскочили. А я дремал. Спал почти. Устал тележку с камнями гонять. Поэтому встать вместе со всеми не успел.

      –  Подъём!  – скомандовал  участковый – Пять секунд до стойки смирно!

      –  Мы ж не на зоне,  – вяло сказал я, медленно возвращаясь в реальную жизнь.  – На шмоне у нас и то так не орали. Станцевать тебе не надо? А то я там первым номером в самодеятельности плясал.

      Вот эти слова и стали моей роковой ошибкой и стимулом для капитанской ко мне ненависти.

      –  Встать немедленно!  – заорал он срывающимся голосом.– Умный, значит!?

      Во-первых, не «тебе», а «Вам, товарищ капитан». Повторить немедленно!

      –  Я Вам, товарищ капитан, не попугай повторять,  – мне стало тошно от одного вида этого безобразного создания в форме и фуражке с узкой кокардой, из-под которой вился кучерявый чубчик, как у донского казачка.  – Вас чего к нам приставили? Смотреть, нарушаем мы режим и предписание, хулиганим, водку пьём, баб в общагу водим. А не под кума косить. Да у нас и кум сроду так не орал. Полковник, между прочим.

      Всё это я произносил, не отрывая головы от подушки.

      –  Ах ты, сука! Пыль ты лагерная!  – Кудрявцев стал красным и потным.  – Пять минут тебе на сборы. Жду в коридоре. Идёшь парашу мыть!

      –  А ты, дядь Вить, раньше не вертухаем служил?  – я сел на кровати, свесил ноги и очень медленно, разделяя слова, прошипел.– Меня по суду освободили. Я вольный. Твоё дело – ловить меня на нарушениях и стучать в управление. А я нарушений ещё не делал. Ни одного. И не сделаю. А сейчас вот встану, сам пойду в управление к майору Володину и вложу тебя за то, что ты без оснований издеваешься над свободным человеком. Где ты тут парашу видел? У нас приличный туалет с кабинками. Парашу мыть…

      –  К Володину пойдешь?– капитан засмеялся. Стал ещё краснее и его пот  с трясущегося жирного лица долетал до меня.  – Посмотрим, кто раньше дойдет до Володина.

      Он развернулся по-военному на каблуках и вышел, оставив за  собой ветерок с привкусом вонючего пота и гуталина с хромовых сапог.

      –  Сожрет он тебя,  – мрачно сказал Гена-Штырь из «четверки» под Тамбовом.  – Кто ему поперек глотки встал – хана тому. Могут обратно на зону кинуть. Уже были случаи.

      Утром рано, до работы ещё, когда я брился, пришел нарочный. Сержант из управления.

      –  Антропов кто?  – спросил он, оглядывая хаты сверху до низу.  – Майор Володин ждет его через десять минут у себя.

      Я добрился, надел чистую рубаху в клетку и пошел в Управление.

      –  Ты Антропов?– спросил майор.–  Вон на тот стул падай. Чего бузишь-то?

      Старого человека козлом назвал, пришить пообещал при случае. На хрена метлу не держишь? Следить надо за метлой.

      –  Я похож на сумасшедшего?  – удивился я словам майора.– Вы, правда, верите, что я такое мог сказать капитану?

      Володин вынул из стола бумагу. Дал мне. Я прочел слово, написанное большими буквами: «РАПОРТ». Читать не стал. Подвинул бумагу обратно.

      –  Нет, не верю,  – майор улыбнулся.  – Но ты теперь с ним поаккуратнее. Он тебя теперь и рапортами завалит. Вернее, меня. И жить не даст спокойно. Опять же, ни тебе, ни мне. Вот тут распишись, что с рапортом ознакомлен.

      А я тебя должен наказать.

      –  Наказывайте.  – Мне стало интересно.– Обратно на зону, что ли? Так я не против. Напишите, что пил, буянил, не отмечался, из Луги десять раз за неделю уезжал и капитана убил участкового. Дадут пожизненное. Участковый будет счастлив.

      –  Ёжик,  – майор взял подписанный рапорт с моим автографом.  – Всё. Свободен. Запомнил, что я сказал?

      –  Так точно!  – ответил я, попрощался и вышел. На улице, по дороге к остановке автобуса меня ждал участковый Кудрявцев. Он успокоился за ночь, улыбался и пошел рядом.

      –  Короче так, парень,  – поправил фуражку дядя Витя.  – Ты лучше сам попросись, чтобы тебя на зону вернули. Там тебе год гнить. А тут будешь все три пропадать.

      –  Чего это – три?– хмыкнул я.

      –  А закон новый вышел ещё в позапрошлом году. Уклоняющимся от трудового перевоспитания и нарушителям установленного режима – продлять время надзорного поселения на срок, втрое превышающий недосиженный на зоне. Понял?

      –  Чего тебе, капитан, надо от меня? Несёшь хрень всякую. Конкретно скажи -

      чего на меня взъелся? Зэков раньше не видел похлеще меня?

      –  Разных видел. Ублюдки были ещё те. Но и они передо мной на цырлах ходили. Не хотели обратно на кичу. А я про тебя почитал в деле. И вор ты авторитетный, и зону уже топтал, и характер у тебя непокорный. Умный ты, книжки читаешь, специалист дипломированный. Короче, не смердь босяцкая.

      –  Ну?  – я стал злиться.  – Дипломированный. Да. Специалист. Книжки люблю. Спину перед вертухаями не гнул. Западло мне. И чего? Гнуть начинать? Так вот хрен в зубы! Поздно мне начинать.

      –  Да это про тебя в деле так написано, что ты всегда неформальный лидер, что имеешь чувство собственного достоинства, уважением заслуженно пользуешься и у зэков и у командиров кумовских. А! Ещё у тебя есть тяга к честному труду, дальнейшей учёбе, повышению уровня образования и социального статуса. Я, падла, про тебя всё наизусть выучил и всё выговариваю. Как стихотворение этой заумной дурёхи Ахмадуллиной.

      –  Всё так,  – сказал я.  – Там правильно написали. И что? Ты вот капитан. Тебе лет сколько?

      –  Шестьдесят два.

      –  Ты ж на пенсии сто лет уже. С внуками балуйся. Учи их распорядку дня. А ты нас пасёшь. Тоже статус повысить хочешь? До майора? Так не дадут уже. Только если в запас уйдешь.

      Он пропустил едкие слова мои мимо. Даже вроде и не вникал в текст. Вроде как я просто чихнул мимо него.

      –  Это ты внутри себя такой развитый, правильный и нацеленный на честную достойную жизнь. Это призрачное будущее твое. Это мечты. Воображение.

      Я вот в участковые после пенсии пошел. Подрабатывать. Семья большая. Жена болеет. А вообще я до пенсии служил военспецом по системам электронного слежения. Кандидат  технических наук. Три книги написал. Шесть изобретений. И по званию я в сорок пять лет на пенсию ушел подполковником. Это здесь мне предложили капитана. И работу гадскую. С вами, упырями, нянчиться. Ну, согласился я.  Внуков у меня пятеро. А тут – к пенсии прибавка. Есть и на лекарства, и пацанят побаловать чем – тоже есть.

      –  А ты к чему клонишь, а, дядь Витя?  – насторожился я.

      –  А к тому, парень, что я не из вашей системы. Это они, вертухаи ваши, вас на путь исправления ставят и сами, дураки, в это верят. Вон какие характеристики сочиняют вам. Плакать  хочется от умиления.

      –  Так ты считаешь, что в бумагах этих всё врут про меня?  – я остановился. Он тоже.

      –  Да нет. Про тебя точно – не врут,  – капитан снял фуражку и стал обмахиваться ей, как веером. Было уже довольно жарко.  – Но для меня ты  – вор! Повторяю, я не из вашей системы. Поэтому я хрен клал бы на твои мечты и праведные цели. Ты – вор! Ты обидел и унизил много людей. Обычных, честных, работающих трудно и за мизерные деньги. Мужиков, женщин. У которых дети, старые больные родители, кому деньги, которые ты у них втихаря отнял, как костыли безногим. А я почитал в деле: украл ты много. И воровал долго.

        Это тебе смогло простить государство. Раньше на волю выпустило. То, что ты обокрал не очень обеспеченных людей, тебе может простить и твоя перевоспитанная совесть. Не простит только Бог. В которого ты не веришь. И я не прощу. Потому что в него верю. И потому, что ненавижу вас, воров всех уровней. Все вместе – что вы со страной сделали!? Такую  богатейшую и сильную, вы, все вместе, от государственных воров до вас, карманников и домушников, опустили как шваль последнюю, все перья из неё повыдергивали. И только благодаря вам, мерзавцам, страна наша становится нищей и больной. А поднимется ли? Пока такие как ты есть наверху, которые тащат миллионами, и в середине массы людской, и вы внизу, карманы да сумки шмонающие, страна загнётся. Из великой в нищую попрошайку превратится.

      Поэтому я сделаю всё, чтобы именно такие как ты, склонные к лидерству, авторитетные воры, не вылезали из зоны.

      -Я не собираюсь больше украсть даже копейку,– сказал я тяжело и серьезно.  – Я больше не могу и не хочу.

      –  В общем, готовься к худшему.Ты сядешь снова. С увеличением срока. Это я тебе не просто обещаю. Я клянусь. Сделаю всё.

      Он повернулся и пошел в обратную сторону, надевая на непослушные кудри фуражку и пожимая плечами.

      С этого дня целый месяц я прожил в каком-то непонятном, но очевидном кошмаре. У меня набралось одиннадцать серьёзных замечаний по несоблюдению режима, по оскорблению поселенцев, рукоприкладству и антисоветским  призывам к бывшим заключенным с попытками организовать бунт. Я был замечен в краже с завода мешкотары в количестве трехсот штук с целью продать их на вещевом рынке. По этому факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

      Я зашел к Володину, прождал в приемной час, а когда попал к нему, то он даже не стал разговаривать на тему всего этого блудняка.

      –  Я тебя предупреждал,  – тихо сказал он.  – И я не шутил. Крутись теперь сам.

      На следующий день утром я вышел из общаги, сделал три круга вокруг квартала, убедился, что хвоста нет и только потом бегом побежал из города. На трассе поймал попутку, доехал до Питера и, никуда не заходя, рванул на вокзал. В кармане было тридцать рублей. Можно было доехать до любой точки СССР. Самый ближний поезд был на Горький. Туда я и поехал. В городе походил по кремлю, полюбовался и спросил прохожего, как пройти к Волге. Очень хотелось увидеть эту былинную чудо-реку. Прохожий молча показал на угол кремля и согнул ладонь вниз. Через десять минут я стоял на берегу и не верил сам себе, что я гляжу на великую Волгу. Сел. Просидел рядом с берегом часа три, вдыхая аромат огромной воды и слушая пение волн.

      По берегу ходили люди в желтых и оранжевых жилетах. Я подошел к одному. Он стоял возле бакена и прилаживал к нему цепь, на конце которой был прикреплен большой якорь.

      –  Слушай, батя!  – крикнул я, перешибая голосом гудение волн.  – Где бы мне на Волге работу найти?

      –  На Волге не найдешь,  – бакенщик с трудом приподнял якорь и достал из-под него застрявшую цепную петлю.  – Глянь туда. Видишь, слева течет река Ока, а вот здесь соединяется с Волгой. Место зовется Стрелкой. Вот ты иди вверх по Оке против течения. Через километр поднимешься на берег. Там автобусная остановка, Езжай до города Павлово. Там спустишься за пристанью на берег и иди прямо. Наткнёшься на бригаду людей. Там четыре или три человека сейчас. Это рыболовецкая артель. Ватага. Там работа есть. Я сделал всё, как сказал бакенщик. И пришел к Наилю, Дмитрию Алексеевичу и Пахлавону. Дождались вечера. Приехал бугор. Ватаг наш. И взял меня. Был 1975 год. А мне тридцать восемь лет. Кроме этих лет у меня не было ничего. Ни паспорта, ни денег, ни желания жить. А потом прошло два года и я сросся с этим берегом, этой рекой и людьми. Сорок лет – сто сорок бед. Но я про них начинаю забывать.

      Уже виден был приближающийся паром. Толян приказал мне проверить билет. Я проверил. Мы стояли на пристани, к которой тихо подкрадывалась спарка из катера-тягача и огромной баржи. Причалил паром и люди вперемежку с машинами стали прорываться на него, как будто шел бой и враг уже готов был сдаться.

      –  Напишешь до востребования Антропову Анатолию Сергеевичу?

      –  Обязательно! Привет всем нашим передай. Приеду – напишу.

      Мы обнялись и я почти последним спокойно взошел на паром. Через полчаса Толян мне уже махал рукой с уходящего назад берега, а я тоже махал портфелем Толяну и думал о том, что от Мурома пойдет отсчет моим новым и, хорошо бы,  полезным и удачным приключениям, ведущим меня всё ближе и ближе к дому.

                          Глава  семнадцатая

      На пароме было весело, как на свадьбе до первой драки. Впереди, ближе к носу, кто-то громче гусей уговаривал гусей, которых вёз в больших клетках с деревянными прутьями, не орать так громко. Но это ему казалось так,  потому, что рядом с клетками стоял. А по-настоящему громко, даже буйно, верещали две тетки шагах в десяти от меня. Одна кричала, что Мишка сволочь последняя и желала ему провалиться сквозь всё и там потом издохнуть. Вторая возражала чуть громче и визгливей. Она верила в Мишку и матом предполагала, что пить он завяжет и человеком станет ещё лучшим, хотя и сейчас хороший.

      –  Он же  Наташку твою по голове не бьет даже когда нажирается, как свинья? Два раза-то и бил всего. И то по горбу! А она ему штаны не зашивает, когда он их рвет на работе!

      –  В пивной он их рвет!  – надрывалась первая, залетая голосом в третью октаву, почти в колоратуру.  – Они там дерутся так, что одёжку насмерть рвут, не починишь. И Мишка твой – главный зачинщик в мордобое. Не зря его с работы турнули. Он и там с похмела бригадира в стог соломы воткнул. Одни ноги торчали. Три мужика его оттель выковыривали. Тьфу!

          На тёток никто не обращал ни малейшего внимания. Посередине парома от кормы до носа почти в два ряда стояли машины. Молча стояли только они. А со всех сторон песни лились на два, даже на три голоса. Молодые сивые парняги с двумя девчонками лет восемнадцати танцевали под транзисторный магнитофон «Романтик» что-то заграничное, две семейных пары с детишками лет пяти травили друг другу по очереди похабные анекдоты. Остальные человек сорок, кого мне было видно через автомобили, гудели нечленораздельно о своём, размахивая руками и наклоняясь друг к другу. Как будто в этой словесно-музыкальной каше можно было что-нибудь разобрать издали. Я был в белых тесных штанах, которые имели глубокие карманы спереди. Туда я сунул собранные в ватаге деньги, а руку, вспоминая первую поездку на «Ракете», держал для их охраны в этом кармане. Ну, вроде бы стиль у меня такой. Но близко ко мне так никто и не подошел. У всех на пароме были свои увлечения. Кто-то орал, кто-то танцевал, а многие сидели на своих мешках и сумках, увлеченно разглядывая родные берега.

      Берега слева и справа никак не напоминали Оку. Ширина этого водного коридора была не более ста метров. Росли на берегах какие-то почти фиолетовые кустики и редкие маленькие деревья похожие на осину.

      Мой сосед справа держался одной рукой за поручни, а другой лениво ковырял спичкой в зубах.

      –  Это не Ока?  – спросил я соседа и тоже облокотился о поручень.

      –  Первый раз тут?  – узнал для начала сосед. И когда я кивнул, он вынул изо рта спичку, кашлянул пару раз.  – Затон это наш, навашинский. Сейчас кончится. Выйдем на Оку, потом ещё три километра до Мурома. Часа через три доползём. Сам откуда?

      –  Из Москвы через Павлово  добираюсь в Казахстан, домой, в Кустанай.  – Я подвинулся к нему поближе чтобы не драть горло, перекрикивая  шумных жителей Навашино.  – А как мне побыстрее до трассы на Владимир дойти?

      Сосед снова воткнул меж зубов измочаленную спичку.

      –  Побыстрее будет на самолете. Но нет тут их, слава Богу. А пешком пойдешь вдоль леса. Направо сразу иди с парома. В Муром не заходи. Тогда дольше будет. А иди через Якиманскую слободу прямо до Благовещенского. Там налево свернешь и по-над лесом чеши конкретно до трассы. Оттуда до Владимира сто тридцать километров.

      Мужик был явно не местный, хотя ориентировался хорошо. На нем был шерстяной синий спортивный костюм с белыми полосками на воротнике, кеды и бело-голубая спортивная кепочка. Рядом с ногой стояла красная спортивная сумка из кожзаменителя. Пока я его разглядывал он поймал мой взгляд и рассказал, что он сам из Рязани. Бывший футболист. В Муроме тренирует местную команду. А жить ему в Муроме дороговато. Зато в Навашино снимает целый дом с садом и огородом. И банька есть.

        Паром вынырнул из затона на большую воду. Слева по борту сквозь марево, дрожащее между холодной рекой и тёплым небом, проступали далёкие купола нескольких церквей и  темно желтые стены « хрущевок». От Оки влево и вправо убегали тоненькие речушки, похожие на ручьи, тихие спокойные заводи вдавливали берега метров на пятьсот вглубь. На этой неподвижной  как безветренное небо воде почти не было пустого пространства. Оно было заселено разноцветными весельными лодками, из которых в одинаковых позах высовывались фигуры рыбаков. А от каждой фигуры веером разбегались сразу несколько удилищ. Население окрестных поселков чуть ли не всем составом, кроме женщин и маленьких детей, добывало к обеду рыбу.

      По берегу всех заводей, больших и крохотных, гуляли куры и индюки. А возле берегов на мелководье плавали сизоголовые и белые утки, изредка наклоняя головы к воде, собирая с поверхности ярко-зелёные водоросли. Подальше от воды, там, где уже росла густая трава, стояли как обожженные глиняные скульптуры, толстые ярко коричневые коровы и нагуливали вес. Мы плыли мимо хорошей, тихой, размеренной и навсегда установленной свыше деревенской жизни к районному центру Мурому, шумному и суетливому по местным меркам месту, где родился и бездельничал до тридцати лет легендарный Илья-богатырь, где в заповедных и дремучих страшных муромских лесах ждал на кривых тропинках одиноких путников Соловей-разбойник, Одихмантьев сын. Ну и лешие когда-то лихо шарахались по чащам как кони по ипподрому. Это было всё, что я с детства знал о Муроме. И только в юности случайно добавил к этим сказочным знаниям одно реальное. Тут, оказывается, родился и вырос изобретатель великого и ужасного телевизора Зворыкин. Правда российским изобретением телевизор ухитрился не стать и до сих пор считается, что Зворыкиин изобрел его в Америке, куда сбежал от полного непонимания властями  величия перспектив  уникального аппарата.

        С приближением Мурома на левом берегу стали обозначаться мелкие пристани для лодок и катеров, стояли какие-то странные сооружения из дерева, напоминавшие старинные амбары из глухих сибирских закутков. А потом  к ним пристроился узкий прозрачный лесок, который тянулся, радуя глаз странной резной листвой, почти до самого города.

        Толкач парома, прикрепленный к  огромной барже толстой подвижной металлической балкой, посвистел несколько раз протяжно и надрывно. Подходили, значит, к пристани. Здесь, на муромском берегу, куда я сошел снова последним, чтобы не портить впечатление от спокойного пути, закончилась моя эпопея путешествий по воде и жизни рядом с Окой. Начинались приключения на суше, у которых, естественно, была и специфика другая, и неожиданности.

      Мне, конечно, очень хотелось зайти в Муром. Я и тогда любил церкви да монастыри, хотя в Бога не верил. Не подтянули родители к религии с малолетства. Они и коммунистами не были, а просто оба не понимали Веру. То есть они оба рассуждали так: «Раз уж Бог сумел создать гармонию во вселенной и в природе земной, то и любые безобразия, творящиеся у него под носом, он должен был  поправлять и снова  обращать в гармонию. А то нескладуха получалась. Сотворить гармонию сотворил, а потом плюнул и опустил Мир, созданный собой, в полное дерьмо, продолжая при этом любить каждого сотворенного и всё сущее». Бабушка моя, мамина мама,  иногда крестилась, казалось мне, вообще невпопад. Или если у неё что-то пригорало на печке, или где-то возле горизонта гром гремел. Но молитв не читала, обрядов не блюла и в церковь не ходила. Она говорила раза два об этом. Объясняла, почему она, старая, в бога не верит. После того, что он допустил зло, которое всю семью изуродовало. Деда это зло расстреляло, а остальных выгнало и из Польши, и с Западной Украины голых, босых и голодных. Хорошо, что удалось попасть в Казахстан, где жили хорошие, добрые люди, и который не сразу, но стал родным домом. Мама отца обряды соблюдала, яйца красила на пасху, а на троицу засыпала все комнаты в доме берёзовыми ветками. И всё. Церкви в деревне Владимировке не было. Но иконы, на которые никто из наших не обращал внимания, в красном углу все же висели.

      Я пожил до двадцати примерно, покрутился по жизни с ветерком и увидел, что правы-то мои папа с мамой. Хорошего на свете было достаточно, но всё оно с горем пополам как-то плавало в бардаке несправедливости, жадности, хамстве, прелюбодеянии, воровстве, зависти и злости. И это при том, что человек  у нас в СССР был любому другому человеку другом, товарищем и братом. А на западе, где человек, изуродованный изнутри проклятым капитализмом, был такому же человеку волком – всё смотрелось из СССР совсем плохо. И Господь всё это не только допустил, но и не пресекал развращение душ людских и не возвращал мир к гармоничному идеалу. А православные церкви, храмы и монастыри  я любил за их внутреннюю тайну, которая наружу высовывалась только на самую малую малость. Куполами золочеными, колоколами, от звона которых что-то волновалось в душе, за красоту внутри, за гипнотизирующий покой многочисленных икон, расписанных такими непорочными и светлыми ликами, что, находясь в церкви и глядя на них, можно было и впрямь на полчасика забыть о смурных и скучных от бесплодной суеты  лицах несвятых моих сограждан.

      Подумал я, постоял, посмотрел издали ещё раз на купола и пошел вдоль Оки,  как посоветовал мужик в трико из Рязани. Впереди меня брела уставшая от экскурсий по музеям муромским и церквям с монастырями бригада туристов из пятнадцати человек. Я догнал их, пристроился к крайним слева тёткам в панамах и полосатых шортах до колен.

      –  А вас в чащобу муромскую не водили?  – Я сначала поздоровался, потом и спросил.

      –  Не… – с сожалением ответила высокая белокурая дама лет сорока пяти. Из тех, которые «ягодки опять» Она была сильно напудрена, имела слой тяжеленной густой помады на губах и замысловатую прическу, на которой панама держалась двумя шпильками.  – Сказали, что там не пройдешь никуда. Метров на десять продраться можно, а потом обратно. Пока волки не задрали. Одна наша знакомая сама сюда ездила позапрошлым летом. Нет, ещё раньше на год. Познакомилась тут в кафе с каким-то ухарем из Тамбова. Они нахрюкались коньяка с виноградом и пирожными, а потом их понесло вот в эту самую чащу. И всё.

      –  Пропали?  – Я сделал вид, что ужаснулся.

      –  Ну, не в прямом смысле, конечно.  – Тётка мизинцем подтерла контур помады на нижней губе.  – Вернулась домой в Томск через три года. Рассказала, что с осени до весны они плутали по лесу. Выйти не могли. Построил мужик шалаш. Сделал лук, стрелы заточил камнем острым, тетиву сплел из какой-то болотной травы. На зайцев охотился, на куропаток и глухарей. С земли ели ягоды разные да грибы. Костры аккуратно жгли до тех пор, пока у него в зажигалке бензин не кончился. Он, правда, пробовал камнями искры высекать, палку тонкую крутил ладонями в дырке на старом пеньке. Раза три у него фокус с палкой получился. Пожарили они что-то там.

      Напоследок. А потом  месяц всё сырое ели. Представляешь, парень?

      Я сделал сначала круглые, потом квадратные глаза и  очень торопливо замахал руками. Давайте, мол, дальше. Жутко интересно.

      –  Ну, так выбрались же они из леса!  – извлекал я из себя правдивую радостную интонацию.  – Домой приехала. Хорошо. И приключение поимела, и отдохнула на все сто, и мужик имелся путевый. Смелый и сообразительный.

      Я всё это произнес с искренней радостью за  счастливый финал приключения.

      –  Погодь!– вскинулась тётка строго, но почему-то улыбалась.  – Так ты мне веришь или придуриваешься? Это ж муромский лес! Таинственный и колдовской! Веришь, что они с осени до весны там шарахались? Это бесы их водили-блудили! Лешие, то есть. Или ты думаешь, что я способна такое насочинять и врать безответственно?

      –  Ещё как верю!  – Я  даже чуть крестом себя не осенил. Но удержался и  вместо этого честь отдал. Ладонь к «пустой» голове торжественно приложил.

      –  Ага,  – оживилась тётка и пошла ещё медленнее, разглядывая меня с удивлением.  – Ты же не из нашей группы? Сам по себе? Ну, ладно. Не отбивайся от нас. Тут пропадешь – никто и не заметит. А подруга наша из леса через полгода выбралась. Из травы сплели они себе осенью и штаны толстые, свитера, даже пальто и шапки на головы. Перезимовали в домике из снежных кубиков. Мужик сделал. Потом весна. Они голодные. Зимой-то охота похуже была. Ели совсем маленько. Начали весной всякую траву лопать. Опять же – ягоду раннюю. Травились раз пять до полусмерти. А потом лес кончился. И вышли они почти там же, где и вошли. Круг дали  – километров сорок по чаще непролазной. Вышли прямо под село Борисоглеб. Около двадцати километров от Мурома. А в селе этом древнейший монастырь. Черт знает с какого века стоит. Ну, они туда вломились. Отогреться и отоспаться чтоб. И поесть нормально. Так ведь и остались там оба ещё на  два с лишним года. Она в женском отделении монастыря, он – в мужском. Но, всё одно,  как-то они встречались. А когда почти полтора года они там смиренно и бесплатно вкалывали Бога ради, Машка ни с того, ни с сего  забеременела и настоятельница это заметила первой, да выгнала её как блудницу. С позором и волчьим билетом. То есть с запретом возвращаться в этот монастырь, дабы не сеять в нём скверну среди монахинь. Ну и поехали они с мужиком к ней домой. В Томск. А в Томске у неё муж был и пацан пятилетний. Вернулась – пацану уже восемь. Во втором классе уже мучился. Муж её через пару лет мысленно похоронил после ответа из милиции, что розыск результата не дал. Портрет её увеличил в фотомастерской и поставил в черной рамке на трюмо. Сынку сказал, что мамка в отпуске заболела холерой и в далёкой неизвестной больнице богу душу-то и отдала. И могилки нет. Сожгли мамку, так как от жутко заразной напасти померла она. Сынок поплакал дня три, а потом записался в школьную футбольную секцию и про неё, бедолагу, забыл напрочь.

      –  Так вернулась-то она не одна. Это ж смертельный номер – приехать через три года с новым мужиком к старому, но живому,  – вставил я скороговоркой, так как тётка говорила беспрерывно и самозабвенно.

      –  Ну, так и я про то!– воскликнула она.  – Жуткая была картина. Соседи рассказали мне потом.  – Мужики стали беседовать на кухне с глазу на глаз. Ну и новый, лесной леший этот, глаз старому мужу и подбил. Даже два. И с лестницы его спустил. Догнал, дал пендаля и приказал исчезнуть из его и Машкиной жизни, раствориться в пространстве и пропасть совсем.

      Утром законный с прошлых девяти лет муж пришел с двумя друзьями. Хотел коллективно удалить новенького ханыгу из семьи разбитой им, гадом.

      Но за шесть месяцев лесных испытаний и приобретения монастырской праведной веры в Божью справедливость, тамбовский волчара этот, одичавший в чащобе и келье монастыря до звероподобия, отделал всех троих убедительно и нещадно, связал всех бельевой веревкой, поймал на улице пустой грузовик, закинул с шофером всю связку в кузов, дал шоферу много денег, которые не потратил в лесу и в монастыре, и велел ему отвезти груз на Урал в город Кыштым по такому-то адресу и передать их такому-то человеку. И записку шоферу лично запихал в нагрудный карман. Чтоб не забыл в Кыштыме передать его другу. Всё. С тех пор всё утихло. Родилась девочка. Назвали её Мурой. В честь Мурома, где их судьба лбами столкнула. И живут хорошо. В отпуск недавно сюда ездили. В лес сходили. Вышли через час весёлые. Потом в монастырь пошли. Поздороваться. И в заключение нарезались коньяка в целях освежения памяти и чувств. После чего сразу дунули на автовокзал  муромский и уехали, как им казалось, домой. В Томск. А каким-то боком их занесло по пьяне в Тамбов, к нему домой. Там, ясное дело, жена, двое детишек погодков, тринадцати и четырнадцати лет. Жена его увидела с Машкой, поплакала минуты три, а потом выгнала их обоих с помощью крышки от кастрюли. Чемодан с его вещами потом в окно выбросила. Машка сразу протрезвела, взяла этот чемодан, дождалась первой легковушки и уболтала шофера отвезти их на вокзал. Через двое суток они уже были в Томске и снова стали жить-поживать, да добра наживать. Счастливые, блин, аж слюнки у меня бегут. Вот тоже приезжаю третий раз в Муром. В кафушке этой, если посчитать,  в общем недели две просидела. Пила всё подряд. И коньяк тоже. Но впустую. Это я к тому, что чужую судьбу напрокат не возьмешь и к себе не приладишь. Живу одна. И хорошо. Езжу вот куда хочу. Мир смотрю.

        Тётка зевнула, улыбнулась и пошла своих догонять.

      Метров через десять она обернулась и крикнула, поправляя шпильки на панаме:

      –  Хороший ты парень! Добрый, видать. Поэтому тайну тебе открываю. Соврала я только про то, что они с осени до весны по лесу бродили. Через три дня они выбрались на самом деле. Но всё остальное правда истинная! Чистая, как моя слеза. Ну, почти правда! Имею же я право тебя чуток разыграть?  Зато как весело шли, да? Ладно, счастливо тебе! И ты верь  людям, в жизни такое бывает, что и не придумаешь специально. Ну, пока!

      Я обалдел от такого навороченного сюжета и сначала решил, что она абсолютно всё просто придумала на ходу. Но тут же вспомнил как начались и пока никак не закончились мои приключения, и частично ей поверил. А когда поверил даже в самую малость её сумасшедшей фантазии, открылись глаза мои, затуманенные переживанием чужой истории, и увидел я невероятной красоты церковь. Она была совсем рядом. Метров пятьсот до неё оставалось. Это и был старинный Вознесенский храм. Небольшой, но светлый и святый. И показалось мне, что приближаясь к этой церкви я начинаю чувствовать дыхание Господне и любовь его ко мне.

      –  Этого еще не хватало!  – сугубо атеистически подумал я.– Так и в сети религиозные вляпаться легко.

      Постоял. Посмотрел на Вознесенскую издали. Полюбовался отсветом солнца от трех куполов. И повернул влево. На тонкую травянистую тропинку, которая тянулась к страшному сказочному и непроходимому муромскому лесу.

      Иду, думаю о хорошем. О том, что недавно было в ватаге, о ребятах  с судьбами битыми и  помятыми, но оставшихся добрыми и душевными. Долго вспоминал всё, что прожил после того, как попрощался с Высшей Комсомольской школой. Кстати, о самой школе  повспоминал малость самую. Странное и в чём-то даже зловещее назначение у этого элитного по статусу заведения.  Вообще-то в Москве всяких элитных ВУЗов навалом, перечислять замаешься. Но ВКШ переплёвывала любой из них. Если в остальных институтах и универах готовили профессионалов для реальной технической или гуманитарной работы, то здесь ковали советские руководящие кадры высокого ранга. Профессии такой не существует -руководитель ничего и ничем. Ничего конкретного делать выпускник ВКШ не умел. Он мог только высоко сидеть, далеко глядеть и обязан был верно ориентировать и твёрдо направлять народ в своей местности по светлому коммунистическому пути. И следить, чтобы данный ему в управление народ, пытающийся жить с собственными идеалами, не  ставил их выше идеалов, установленных ленинской партией. И вот поступил избранный обкомом партии экземпляр туда с мелкой должности, а возвращался туда же, откуда прислали по разнарядке, но уже тузом бубновым. Экзаменов вступительных не было. Всех почти посылали в эту школу уже с высшим образованием. После чисто коммунистического собеседования ты выходил уже гарантированным будущим секретарем горкома или райкома комсомола, или инструктором обкома и даже ЦК. То есть, после выпуска тебя вставляли в рогатку как драгоценный камешек и потом выстреливали тобой вверх, к партийным, советским и журналистским вершинам «олимпов», в добротно сплетенные номенклатурные сети, из которых уже нельзя было выпутаться. На лекциях и семинарах там говорили правду обо всём. ВУЗ был настолько закрыт и засекречен, что жители окрестных микрорайонов, налепленных вокруг станции метро «Вешняковская», рядом со школой, вполне могли думать, что там готовят либо разведчиков, или вообще  «агентов 007»

      Школа занимала особняки изгнанного советской властью графа Шереметьева. Огромная территория отделена от мира мощным трёхметровым забором, в который были вмонтированы всего два входа с военизированной охраной. Чужой на территорию попасть мог только с помощью подкопа под забор. Или он должен был иметь высокий спортивный разряд, чтобы одолеть забор сверху.

      А правда в ВКШ состояла в том, что слушателям рассказывали не прописные мифические вымыслы о нашем прошлом и настоящем, а делились реальной информацией о нашей ковыляющей экономике, о политике, не трогающей за душу простых граждан, о настоящем месте страны в мировом сообществе и действительном отношении жителей СССР к обещанному светлому будущему. Руководитель идеологического фронта должен бы знать как и что есть на самом деле, чтобы на этой основе без ошибок и путаницы поддерживать внедрённые в массы мифы и легенды о скором всеобщем счастье почти райской жизни.

        В общем, элитным ВУЗам до суперэлитной  ВКШ было так же далеко, как белке до конца круга в колесе. Там и столовая была как нормальный ресторан, бассейн построили – хоть олимпийские заплывы в нём устраивай,  общежития занимали часть графских особняков, ну и ещё размещались в шикарных многоэтажках с квартирной системой. Преподавали там лучшие знатоки своих специальностей по истории, философии, психологии масс, мало известной тогда социологии и прочим, менее существенным наукам. Партия запросто ангажировала для лекций и практических курсов самых крупных и популярных в своих отраслях людей, которые не могли даже в страшном сне увидеть, что они осмелились отказать в услуге Центральному Комитету КПСС.

        На факультете журналистики, где я учился, даже актерское мастерство было. Не понятно к чему. И были у нас на семинарах крупнейшие журналисты братья Аграновские, Рубинов, Чайковская, великие спортсмены Третьяк, Петров, Рагулин. Они рассказывали о зарубежных странах, куда летали часто. Мастерство актера показывали любимые артисты Высоцкий, Хмельницкий, Золотухин с Таганки, да и сам Любимов пару раз приходил. Владимир Высоцкий приезжал на своём «мерседесе» цвета морской волны с перламутром и ставил его прямо перед парадным входом в главный учебный корпус, где у графа Шереметьева, наверное, была резиденция для приёма высочайших гостей.

      В общем, я точно знаю, что ничего похожего по обособленности и элитарности на Высшую Партийную и Комсомольскую Школы наши в Союзе тогда не было. Даже МГИМО в этом смысле далеко отставал. Много чего ещё можно рассказать про ВКШ. Но я и так увлекся. Тем более, жизнь моя в номенклатуру так и не нырнула. Сбежал я от неё. На время…

      И вот после неожиданных, но полезных приключений топал через пару месяцев после выпуска к муромскому лесу. В него жутко хотелось заглянуть. Начитался много и наслушался в детстве о чудесах чащобных, колдовских да волшебных. А когда из леса выберусь, сразу на трассу. Ловлю попутку до Владимира, где без билета в поезд не сядешь, а из Владимира рвану в сторону Москвы, на какой-нибудь мелкий полустанок, где прикинусь бедолагой, которого кондуктору станет жалко. И поеду прямиком домой поездом номер сорок три. «Москва-Кустанай-Алма-Ата.» Где мама ждет, отец, друзья, дочь, работа и родные мои желтые акации, и запахи нашего ветра, укротителя близких к городу степей.

      Конец 17 главы.

      Продолжение следует.

      СТАНИСЛАВ МАЛОЗЁМОВ

                          ОТ ДОРОГИ И НАПРАВО

                          (Глава восемнадцатая)

      Шел я, в общем-то, наугад. Почти наощупь. Мужик с парома, тренер по футболу, путь мне нарисовал только до села Благовещенского и до этой церкви. Дальше надо было самому выбирать, как попасть на трассу, проложенную до Владимира. Вариантов имелось три. Первый – двинуть вперед по берегу Оки вдоль леса. Он тянулся почти на 10 километров. Потом можно было обогнуть его слева, подняться вверх ещё на двенадцать километров и начинать ловить попутку. Против этой дороги я сформулировал для себя предположение, что сразу за лесом к трассе не будет даже тропинки. Потому как на ближайшем к нему ландшафте лежали разнообразные сёла и поселки. И от них уж точно бежали грунтовки до шоссе. Но далеко эти селения от леса или прямо под ним я понятия не имел. Можно было повернуть и сразу вляпаться либо в болото, либо в сорняк по пояс. Дошел бы тогда до трассы к ночи. Второй вариант экономил мне расстояние. Напрямик через лес от церкви я бы прошел всего двенадцать километров. Но вот прошел вообще бы или нет? Как идти я не знал, что за путь эта сказочная муромская чаща, тоже неизвестно. А спросить некого. Кроме туристов даже коровы не паслись рядом. Они бы хоть что-нибудь да промычали бы насчет смысла ломиться сквозь просторное жилище леших, соловьёв свистящих и аналогичных упырей. Поэтому двинул я по левому краю. От берега, мимо Мурома, по жиденькой тропке, которую натоптали либо гномы-лилипуты, либо кто-то  очень пьяный брёл от реки домой в Муром на карачках.

      Карты я не имел. Но рязанский спортсмен ещё на пароме мне намекнул, что на восемнадцать километров выше Мурома, где и лесу конец, стоит большое село Борисоглеб с невиданной красоты церковью и мрачноватым древним монастырём. Да и тётка-туристка тоже приключения подруги Машки с ухарем  живописала именно в контексте той борисоглебской стороны. Портфель свой я метнул за спину в противовес, наклонился вперед, чтобы инерция движения не замирала, и бодро чесал вперед. Слева под Муромом, в зоне природного отдыха для туристов, лепились к одиноким, но  раскидистым деревьям, всякие забегаловки, кафушки мелкие и пельменные. Откуда-то из-за них выползал и над землёй плавно плыл в лес запах шашлыка, лука резаного и уксуса. Пройти эту полосу соблазна было так же тяжко, как полосу препятствий на ученьях в армии. В последний раз я ел шашлык в Кусково, приусадебном парке Шереметьева. Там туристам, стадами набегающим на удивительной красоты дом приёмов гостей и на красный итальянский  особняк во дворе, его жарили чуть ли не под каждым деревом.

      Глотая слюну, выделяющуюся строго согласно учению Павлова, пронесся я через это сладострастное препятствие и, пробежав ещё метров пятьдесят, сел на траву и стал слушать звуки. Из Мурома попутный ветер транслировал магнитофонные музыкальные шлягеры последних пяти лет, сигналы автомобилей, дамский хохот, заряженный коньяком или сухим вином до высоких нот и могучей силы, и неясные хрипловатые реплики сильной  половины человечества, тоже облагороженные парой стаканов «столичной».

      Из леса, начинающегося  метров через десять от меня, слышно было только истеричное, похожее на  призывы базарной продавщицы свежего молока и густой сметаны, пение какой-то крупной, судя по голосу, птицы и тихие шорохи, падающие от верхушек неизвестных мне высоких деревьев с  сизыми стволами и зеленовато-фиолетовыми листьями.

      Пришибленный  дерзкими и вкусными запахами из зоны отдыха, я машинально открыл портфель и сунул в него руку, чтобы отломить кусок от начатого давно пряника. Вместо него под руку попалась бутылка. Это Толян, вор-виртуоз, ещё на берегу незаметно заложил в портфель воду, налитую в ватаге. Без воды, о чем я и не подумал второпях, было бы мне рано или поздно кисло. Культурно и образно говоря. Сметал я под три глотка из бутылки кусочек пряника и стало мне легко и весело. Сытый, удачно проскочивший почти до владимирской трассы, впервые прокатившийся на пароме, поболтавший с литературно одарённой    туристкой, нанюхавшийся всех запахов хорошей еды из кафешек, сидевший на травке возле легендарного муромского страшного и фантастического леса – это был я, бывший слушатель ВКШ, бывший  уже корреспондент « Ленинской смены», бывший работяга из рыболовецкой артели, а теперь «вольный казак», которого хоть вперед кидай судьба, хоть в сторону, а он, воодушевленный свободой последних на пути к дому приключений, долетит теперь до малой родины как телеграмма-молния.

      Я закрыл портфель, отряхнул с белых штанов крошки нескончаемо пряника и капли воды, поднялся, потянулся, закурил с удовольствием и стал искать взглядом место, подходящее для погружения в чащобу, где «страшна нечисть бродит тучей и в прохожих сеет страх». Нашел.

      –  Ну,  – подумал я с оптимизмом.  – Раз уж раньше не пропал, то и теперь не пропаду.

      Молодой был. И не то, чтоб дурной совсем. Но глупой смелости было во мне  больше, чем ума. Собственно, так до старости всё и осталось. Это просто к слову. Реплика, так сказать, из настоящего времени.

      Я прохромал через противопожарную, распаханную крупным отвальным плугом полосу и ввалился в лес, вытряхивая на ходу землю из туфель. Решил так: пойду вперед метров триста, потом сверну налево. Значит, буду двигаться вдоль Мурома. Погляжу всё внимательно, снимки сделаю интересные, сувениров из «страшного муромского» в  портфель накидаю. Ну, там, шишек сосновых, коры березовой, мха кусочки. Потом ещё раз, километров через пять-семь зарулю влево и пойду на волю. А там – Борисоглеб и трасса. Но после этого все пошло не по графику и против всех моих усилий. С первых же метров лес, который издали виделся как просто плотный, оказался сразу же непролазным. Деревья разные и непонятные. Высокие и пониже, росли близко друг к другу. Ствол к стволу. Между ними монолитно сомкнулись странные травы. Их было пять или шесть видов. Одни липли к одежде и тянулись за мной, как  будто я телом разматывал свернутые в клубок гибкие лианы, которые с моей помощью сами мечтали выскочить из леса на вольную землю. Другие протыкали брюки и впивались в ноги до колена. Ноги уже через двадцать шагов горели так, будто я шел по колено в кипятке. Какая-то трава, когда я наступал на неё, выделяла вверх, точно в нос, вонь, похожую на запах гниющего мяса. Ещё росла трава с мелкими желтыми цветочками. Была она моего роста. Примерно метр восемьдесят. Эти цветочки я задевал головой и с них ссыпалась серая пыльца. Было её столько, что она никак не могла бы поместиться в небольшом цветке. Но, блин, помещалась же! Ещё через десять шагов я был весь серого цвета и начал чихать так безудержно и громко, что лешие, если бы они гуляли неподалёку, разбежались бы как от посвиста Соловья-разбойника, Одихмантьева сына. Ну, а самым главным препятствием, мешавшим освоению лесного великолепия, был бурелом. Это, во-первых, сдернутые непонятной силой с деревьев толстые корявые ветки. Во-вторых, молодые, засохшие в тени огромных деревьев с непроницаемыми для солнца кронами ростки вязов, берез, елей и сосен. А ещё осыпавшиеся от нехватки воды верхние ветви.  А ещё лежащие под разными углами к земле большие, как будто сами упавшие от могучего толчка сбоку, деревья  диаметром сантиметров в тридцать.

        Я перелезал через них, подминал под туфли сухостой, тянул за собой  липкие лианы, чесал на ходу горящие под исколотыми брюками ноги и уже с усилием сдувал и стряхивал с себя пыльцу. В туфли набилось с боков что-то твердое, мелкое, похожее на шарики с неровными краями. Туфли терли подошвы как наждачная бумага с фракцией 0.1. Грубая, в общем.

      Я сел на поваленное дерево, вытряхнул из туфель весь мусор, Очистился минут за пятнадцать от пыльцы, а лианы пришлось просто порвать напополам на расстоянии от одежды, потому что отодрать их было невозможно.

      –  Вот и сходил, блин, за хлебушком!  – сказал я вслух и огляделся. Путь, по которому я вошел в лес, выглядел девственно нетронутым. Будто и не шел я там, а сверху пролетел. Теперь надо было повернуть налево и ломиться дальше. Как запланировал. Я глотнул воды. Взял с земли ветку-палку, чтобы хоть как-то раздвигать перед собой траву. Сфотографировал всё подряд вокруг и вверх, сунул камеру в портфель, сказал несколько неприличных для человека с двумя высшими образованиями слов, энергично выдохнул и поплёлся влево. В голове крутилась фраза из песни Высоцкого: «А мужик, купец и воин, попадал в дремучий лес. Кто зачем, кто с перепою, а кто сдуру в чащу лез». Ну, я остановился на том, что полез не с перепою и не сдуру. Правда, легче от этого продираться дальше не стало. Но и выхода другого не было. Как и куда теперь идти назад можно было уточнить только у нечистой силы. Но её, блин, в тот день рядом не было. Поэтому я ещё раз высказался о ситуации не по цензуре и как бульдозер попёр как бы влево. Посмотрел на часы. И с изумлением отметил, что шарахаюсь я по муромским дебрям уже третий час. Надо было выковыриваться на волю. Радостные и необычные ощущения от прогулки, вёдрами выливающие из меня адреналин, я (слава моей спортивной подготовке) вроде получил в полном комплекте.

      Но вот этот поворот налево сделал я напрасно. Лучше бы пошел обратно. Ну, помнил ведь, где был затылок, когда пёрся сюда… Надо было просто развернуться и на место затылка поместить физиономию. А потом шевелить ногами строго прямо. И, возможно, испытав ещё раз те же ощущения, на свет бы я вынырнул. Только в этом случае мне даже самому себе было бы стыдно рассказывать, что я ходил по непролазному муромскому лесу. Значит, надо было достойно завершить эту мучительную прогулку, чтобы хоть и не героем, а нормальным, не очень трусливым мужичком, появиться дома. Там ведь обязательно душу из меня вытряхнут, но заставят рассказать про все приключения. А врать я не любил и не стал бы. Поэтому взял портфель в левую, палку в правую, штаны закатил выше колен, чтобы не разорвать о травы, похожие на иглы дикобраза, и  медленно, раздвигая перед собой узенькую полоску, внизу которой возле корней трав проглядывала коричневатая, будто солнцем пожаренная земля. В эту прогалину я медленно и осторожно ставил ногу, раздвигал следующую полоску и помещал туда ногу вторую. Попутно руками, утяжеленными портфелем и палкой, я  разводил в стороны тонкие сухие и живые отростки больших деревьев. Через поваленные стволы не прыгал, даже не переступал, а обтекал их как волна случайный камень.

      И пошло движение! Почти без травм и гадких  неожиданностей  вроде пухлых, пустых внутри невысоких грибов серого цвета, на которые не стоило наступать. Когда его раздавишь, раздается глухой хлопок и вокруг сантиметров на тридцать разлетаются липкие розоватые тонкие пластинки. Они приклеиваются ко всему намертво. Ни отодрать, ни соскоблить. Левая нога моя так и смотрелась. Будто я родом из авторитетного индейского племени, где все разрисованы аляписто и бессмысленно как стены в общественном солдатском сортире.

      Вот так успешно полз я вперёд или вбок. Точно не скажу. Но не назад – определенно. Число метров, а, тем более, километров, которые остались за спиной, посчитать было невозможно, а пытаться угадать – глупо. За час я мог прорваться на целый километр примерно. А за два следующих – метров  на двести. Я читал давно уже, что вокруг Амазонки и где-то в Камеруне джунгли такие, что все, кто лезет в них по делам, прорубают себе дорогу короткими мечами или топорами с широким лезвием и длинной ручкой. И что никакой дурак  в одиночку туда не пойдет, хоть руби его на мелкие части тем же мечом перед первым деревом джунглей. Сколько там народа пропало, и не считает уже ни одно правительство. И мне подумалось, что надо бы сюда, под Муром, затащить в местную русскую чащу амазонских лихих парней и затолкать их уговорами хитрыми в самые дремучие места. Думаю я, что присвоили бы они через месяц слепого блукания по буреломам и лесным болотцам муромских дебрей  если не первое, то хотя бы третье, почетное, место. Как почти непроходимым и погибельным местам на Земле.

      Я уже накатал ритмику своего продвижения по непролазным кущам, успокоился, два раза прикладывался на ходу к прянику и бутылке, в которой воды почти не убыло, что-то насвистывать стал. Вошел в себя, значит. Главное, что не было испуга заблудиться, потеряться и дать дуба под вековой сосной без оркестра, трогательных речей и слёз родни. Я уже и не пытался определять север по мху на стволах. Мох был со всех сторон. Да я, собственно, и не задумывался перед лесом, откуда я вхожу – с юга или с востока.

      Вот тогда я целиком пришел в себя и восстановился морально, физически и укрепился в мысли, что я, возможно, и не герой. Но мужчина, достойный уважительного поцелуя английской королевы, Как доблестный покоритель дикой природы и первооткрыватель заповедных мест, на которых ещё не стояла ничья  нога.

      Ещё метров пятьсот пролетели гораздо быстрее черепахи. Раза в два. Уколам в ноги я больше не сопротивлялся, точнее никак на них не реагировал. Видимо, едкая трава внедрила под кожу достаточное количество легкого яда, который уже работал там как анестезия. У меня даже появилась возможность по ходу  передвижения оглядывать себя со всех сторон точно так же, как я разглядывал окружавший меня лес. В себе я ничего интересного не обнаружил. Кроме глубоких царапин на руках, радужных пятен на брюках и кофте, да неглубоких дырочек на ногах, на которых засохла кровь. Ну, правда, сами ноги выглядели живописно. Розовые грибные споры вперемежку с этими окровавленными дырочками, с синяками от коленей до туфель и золотистый налет пыльцы на всём этом создавали  приличную художественную работу природы в стиле очень абстрактном. А вот в лесу стал замечать и видеть то, что на первых километрах путешествия по дебрям было напрочь отодвинуто от восприятия слетающими на меня болезненными неожиданностями. Стал я слышать и других птиц кроме той, истеричной, которая почему-то всегда была очень близко. Я уставился в то место пространства, откуда разорялась как баба базарная эта не затыкающаяся ни на секунду птица. Я искал взглядом что-то большое с растрёпанными перьями и огромным клювом, из которого извергались эти ужасные звуки. Но там, откуда летели в округу сумасшедшие вопли, никого не было. Твёрдо верящий в то, что чудес не бывает, я стал высматривать объект поменьше. Кто-то же верещал так дико. И наконец засек маленькую, чуть крупнее воробья серенькую пичугу. Она сидела прямо над моей головой. То есть, все время перелетала поближе, не отпускала меня одного. Не открывая клюва, птичка выдувала из своего мелкого тела этот холодящий кровь звук, похожий на предсмертный вопль человека, летящего на асфальт с девятого этажа. Я сказал птице, что ей надо учиться петь правильно или хотя бы чирикать и  стал прислушиваться к остальным.  Другие птицы верещали, свистели, булькали, каркали и даже квакали как лягушки. Хотя это были точно не лягушки, которым абсолютно нечего делать на кронах деревьев.

      Повсюду торчали из плотной травы головки разнообразных пёстрых цветов.  Земля, которую я мог видеть только в колее раздвинутой палкой травы была буквально утыкана разными по цвету и  росту грибами и тонкими стебельками, на которых болтались по три-четыре штуки полупрозрачных ягод костяники. Она росла и у нас, в деревенских колках под Кустанаем, поэтому я рвать её не стал. Но самым интересным явлением этой чащи был мох на деревьях и под травой. Я насчитал семь цветов мха. От тёмно зеленого до почти рыжего. Какой-то мох был пушистый и рос довольно высокими буграми, а другие виды либо окружали стволы как широкие ленты, некоторые остроконечно высовывались из маленьких дупел и в самой верхушке своей свивались в кольцо. Такого я ещё не встречал нигде. Рассмотрел наконец и деревья, которые росли прямо, зелено и весело, свежо. Будто не в муромской чаще жили, а на солнечной лужайке культурного парка. Высмотрел я и сосны с короткими иглами, И ели тонкие, невысокие, задравшие свои худенькие ветки с редкими иголками к далекому и не видному небу. Росли сизые осины, редкие березы, кривые, будто кто-то их гнул специально, причем каждую по-своему. Торчали вихрастые кусты с необычными длинными ягодами фиолетового цвета. Нашла себе место  между тонкими деревцами и кустовая лесная вишни. У нас дома её называют  вишарник.

      Много  незнакомых деревьев, цветов, грибов и ягод увидели раскрывшиеся после первого нежданного шока мои глаза. И любоваться бы всем этим великолепием целый день, но надо было искать выход из леса и торопиться на трассу. Успеть до ночи въехать во Владимир хоть на самокате.

      Я наметил место, с которого опять сверну влево, и начну топтать себе путь к освобождению от захвата русских джунглей. Добрался за полчаса до него и присел на рухнувшую старую сосну перекурить.

      И тут начались те чудеса, о которых я читал и слышал, но встречаться с ними не мечтал. Прямо по курсу, буквально в ста метрах от меня, затрещали сухие ветки, понеслись ко мне между стволами звуки легкого ритмичного стука деревом по дереву. Я приложил ладонь ребром ко лбу и, вглядываясь в марево от теплой земли струящееся на пару метров вверх, увидел нечто. Оно было с меня ростом, расплывчатое, узкое сверху и широкое у земли. Оно было цвета защитной военной формы и широкое снизу как полутороспальная простынь. Оно уверенно двигалось прямо ко мне, стуча по стволам, охая и ахая. Временами оно нагибалось и исчезало из виду, а потом снова вырастало, но уже ближе ко мне, будто расстояние метров в десять просто перелетело. Нет, страх меня, конечно, не сковал и не обессмыслил. Но некоторая оторопь прихватила-таки. Даже пот прошиб и пальцы стали холодными. Я, само-собой, сразу отфутболил первую мысль, которая решила, что это вот как раз леший и есть. Или упырь. А, возможно и вурдалак. После чего я собрал в рот всю свою силу воли,  всё неверие в мистику  и сказочную фантастику, после чего заорал, как  лишенный разума и всех приличий.

      -Эй, мать твою перемать, быдло ты  поганое, чучело недоделанное! Стоять! Куда прёшь!? Стрелять буду! А ну, пошел вон!

      Предмет остановился. Слышно было как он шумно и хрипло вздохнул. Потом откашлялся человечьим вполне голосом и заорал погромче меня.

      –  Заткнись, сынок! Деда  Василия не признал?! Матом кроешь в культурном месте! Сейчас подойду, жди. Палкой врежу – забудешь как старших матюгать!

      Ну, я, конечно,  сразу понял, что это не леший и не Соловей-разбойник.

      А если не они, то своей палкой я бы это существо русскоговорящее тоже приголубил не слабо. Закурил ещё одну. Поволновался же немного. И стал ждать.

      Быстрее, чем я ожидал, передо мной, обогнув толстый сосновый ствол, объявился натуральный дед с рыжей бородой, такими же усами. В плащ-накидке военной и совершенно несуразной солдатской панаме, какие носят воины в Средней Азии.

      –  А ты чего подумал?  – засмеялся дед Василий вместо «здравствуйте»  – Небось,  шуганулся, что грабитель к тебе ломится? А чего отбирать-то у тебя? Даже грибов не насобирал. Отобрал бы я грибы. Точно говорю.

      –  Это если бы ещё я отдал,  – сказал я, разглядывая смешного деда.  – А ты, дед Василий, какой злой судьбой заброшен в эти дебри? Я вот из любопытства. И я рассказал деду очень коротко о пути своём до дома родного.

      Он скинул с себя сначала рюкзак, болтавшийся на спине, потом и накидку сбросил. Остался в толстой прошитой безрукавке, на голое тело напяленной, и в синих парусиновых штанах. На ногах дед имел кирзовые сапоги, старые и пыльные.

      –  Я грибник. Потомственный,  – он достал мешочек с табаком, листок от календаря-численника, послюнявил его, скрутил «козью ногу», аккуратно бросил в неё две щепотки табака и примял.  – Всю жизнь, сколько помню, собираю грибы. Опята и боровики. Грузди иногда. Бабка потом всё, акромя груздей, сушит, а грузди солит и всё это продает на трассе проезжим. Берут хорошо. Потому живём мы с бабкой при достатке, у детей своих копейки не берём. У меня тут, в лесочке, четыре дорожки. Я лет пятнадцать последних только по ним и хожу. И всегда рюкзак полный у меня к обратной дороге. А вот ты сейчас куда идешь-то?

      –  На дорогу. Из леса хочу выйти. Потом зайти в Борисоглеб и сразу –  на трассу до Владимира. Потом дальше. В Казахстан мне ехать.

      –  А ты бы и шел прямо. Туда вон. Слышишь, бензопилы визжат, топоры стучат. Трактор рычит. Ну, слышишь?  – Дед глубоко затянулся и выдохнул, выбросив мне в лицо порцию махорочного аромата.

      Я стал напряженно вслушиваться и через пару минут оторопел: как же я мог не среагировать на такие отчетливые механические шумы? Наверное, не поймал их мой мозг, потому что мне, городскому, шумы похожие были так же привычны, как звук работающего холодильника, на который никто никогда не реагировал. Видимо, шум бензопил слился в моём мозге со звуком привычной дрели. В домах наших все соседи всегда что-то сверлят. Это известно и привычно всем. Вот  ноющие бензопилы и проскользнули мимо ушей. Как и тупые удары топоров, напоминающие топот соседей сверху.

      –  Да ну… – я смутился и отвернулся. Дурацкая была ситуация.  – Не хотел на людей выходить. Самостоятельно припекло выход найти.

      –  Тогда иди вот так. Как будто самостоятельно.  – Дед Василий протянул вперед точеную и шлифованную палку с крючком на конце.  – Ровно иди, не виляй. Метров через пятьдесят ольха сплошная пойдет. Иди через ольху, не уклоняйся. И ещё через сто метров вылетишь из леса как из курицы яйцо. А я дальше пойду. Мне ещё надо до семи к телевизору успеть. «Спартак» сегодня «Зенит» долбить будет. Пропускать нельзя.

      Мы попрощались с дедом за руку, похлопали по плечам друг друга и разошлись. Через полчаса я добрел до массива из ольхи, а ещё через столько же вывалился из муромских дебрей на волю. Справа от меня, на час ходу, стоял Борисоглеб. На него я и нацелился. Шел быстро, попутно раскатывая до туфель от колен штанины, которые в расправленном виде смотрелись как меха у гармошки. Стучал себя со всех сторон ладонью, сбивая пыльцу, отрывал аккуратно и медленно от кофты и штанов присосавшиеся останки лиан, стряхивал с волос мелкие кусочки коры, веток и лепестки желтых цветков. В общем, привел себя в тот вид, которого не должны были пугаться встречные и попутные  местные жители.

      Ближе к Борисоглебу текла тихая неширокая река, через которую был перекинут добротный бревенчатый мост. У моста торчала длинная жердь, А на жерди правление города крепко приколотило синюю покрашенную дощечку с белой неровной надписью «Река Ушна». За Ушной  медленно и покато рос зелёный цветастый холм.  Я тихонько доплелся до верха холма и обомлел. Передо мной лежало старинное село Борисоглеб, а из его сущности, диковинной, как всё старое русское, росла несказанной красоты пятиглавая церковь. Белая, каменная, увенчанная золотыми головами-куполами. Вечерний закатный свет швырял от неё щедро в разные стороны мягкие и длинные золотистые блики. Они падали сверху на жестяные белые и коричневые крыши, на зелень верхушек деревенских тополей и вязов, создавая иллюзию волшебной и невыразимой словами фантасмагории. Я долго стоял, смотрел, фотографировал, а потом пошел в село. Первого же встречного, мужика на велосипеде, спросил как называется церковь.

      –  А это храм Рождества Христова,  – мужик не останавливался и последние слова долетели до меня с заметным угасанием.

      –  А монастырь есть у вас?  – закричал я вслед велосипедисту. Но он уже вильнул за угол, оставив за собой струйку прозрачной, тронутой светом куполов золотистой пыли.

      –  Есть, есть тут у нас монастырь женский.  – Сзади девичий голос ответил вместо шустрого мужичка. Я обернулся. Метрах в пяти от меня стояла девушка с ведром молока в одной руке и с маленькой дочкой в другой.

      –  Только потом там и для мужиков часть двора отгородили. Сейчас там и монашки и монахи. Праведные такие – сил моих нет!

      Она смущенно засмеялась и пошла, наклоняясь то к ведру, то к девчонке.

      Я походил недолго по селу, постоял возле церкви, в монастырь решил не ходить, вспомнил туристку с её рассказом про подружку Машку, её добровольное, чистящее душу заточение с хахалем на пару в женском монастыре и улыбнулся:  – Не врала, значит, тётка! Молодец!

      А на выходе из села уточнил у здоровенного парня, загонявшего во двор гусей, дорогу к трассе и уже через час шел по ней вперед, держа наготове руку, которой надеялся успешно проголосовать и уехать во Владимир на первой же попутке.

      Она появилась  когда я уже километров пять неторопливо плелся по обочине. Это был огромный ЗИЛ-157КД. Красивый, сильный, сделанный для Советской Армии.

      На гражданку его тоже отдавали. Туда, где очень тяжелые  дороги. Точнее, где слово дороги вообще желательно не употреблять. У него была просторная кабина и огромный кузов. Незаменимая машина там, куда всяким ГАЗонам и старым ЗИСам лучше и не соваться. Я вышел на край асфальта и поднял руку. Этот монстр автомобилестроения затормозил и как вкопанный встал так, что правая дверь с опущенным стеклом была прямо напротив меня. Шофер, молодой загорелый орел в кепке с козырьком назад и в обычной домашней майке на широких лямках, высунулся в окно рядом со мной и чуть громче мотора крикнул:

      –  Куда тебе?

      –  До Владимира.

      –  А чего тогда тут стоишь?

      –  А где мне стоять?  –  Я  повернул голову вправо.– Владимир же в той стороне?

      –  Шофер открыл мне огромную дверь и пальцем показал на сиденье рядом. Я запрыгнул, портфель поставил под ноги.

      –  Вот эта трасса идет на Горький,  – парень протер тряпкой  лобовое стекло изнутри. Закоптил папиросами, наверное.  – А ты стоял прямо на развилке. Так вот дорога поменьше, которая влево уходит, она идет в противоположную сторону. Потом соединяется с большой трассой, которая как раз на Владимир.

      –  Вот, блин!  – почесал я затылок – Получается, что мне неправильно объяснили. Или понял я не так. Мне в Горький не надо.

      –  А я и не еду в Горький. Я еду почти до Владимира, до села Байгуши. Это на Чёрной речке. Там выскочишь, а я влево сверну. Во Владимир три километра пёхом дойдешь.

      –  Да запросто!  – Я обрадовался тому, что всё же повезло сразу.

      И мы поехали. Дорога была похожа на военную, которую не просто часто бомбили, а ещё и точно попадали.

      –  Сейчас заедем в Молотищи, загружусь там. Семь тонн зерна в мешках. И поедем уже без остановок.

      Мне было уже всё без разницы. Хоть куда заезжай, хоть чем грузись, но до Владимира, считай, я уже почти добрался. В Молотищах мужики вшестером почти полтора часа таскали мешки с тока и кидали их в кузов. Двое стояли на приёме и расставляли их аккуратно от кабины к концу кузова. Когда закончили, шофер вылез из машины и расписался у старшего в блокноте. И только тогда мы рванули вперёд без остановок, если не считать остановками боязливые торможения перед особо ядрёными ямами и буграми.

      –  Если от Мурома ехать, то сто тридцать километров всего,  – сказал парень, не отводя глаз от калеченой дороги.  – А мы вилять будем до большой трассы. Поэтому получается все сто пятьдесят, хоть и от Борисоглеба тронулись. А он сам от Мурома почти двадцать. Но по-другому мне никак. Загрузиться-то надо.

      –  А я уже не спешу,  – мне стало весело и я рассказал шоферу о том, как добираюсь до дому. И, главное, сколько времени. Полтора месяца, считай.

      –  Володя я,  – протянул руку шофер и машину сразу же швырнуло вбок.

      Я тоже сказал как меня зовут. А потом спросил, сколько стоит моя поездка до Владимира. И зря это сделал. Володя тормознул резко, остановился, посмотрел на меня внимательно и спросил:

      –  Ты русский вообще? Не из Америки приехал? Это там за всё платят. А тут, мужик, родина моя. Россия, мать её! Я зарабатываю грузами. Вожу всякую хрень. И зарабатываю работой. А тебя везти с твоим чемоданом работа, что ли? Одно удовольствие. Языки чесать будем. Ехать не скучно. Ещё раз заикнешься про деньги – высажу. Жди автобуса. Там и заплатишь. Или пешком иди. Или лови другого. Может у него совести не будет, так он и возьмет с тебя трояк. А я тебе просто добраться помогаю. За человеческую помощь обычную кто деньги берет? Суки и берут всякие. Жлобины. Слава Богу, у нас тут таких нет пока. Своих, я имею в виду. Понял всё?

      –  Понял, Вова,  – я закурил и стал глядеть в окно направо. Мы ехали вдоль небольших лесных колков, маленьких озер и тонких петляющих речушек. Между ними как-то помещались длинные или, наоборот, квадратные деревеньки , поставленные тут, похоже, пару столетий назад. Вид у них был такой, что прямо на ходу хотелось выпрыгнуть, поправить деревенские заборы косые да кривые, слепленные из жердей, дома побелить, крыши подтянуть, чтоб дыр не видно было.

      –  Как тут живут люди?  – спросил я в общем то-то сам себя.– Деревни драные, как вроде Мамай через них прошел с войском.

      –  Живут…– Володя сказал слово и умолк минут на пять. Потом очнулся от своих раздумий и ответил.

      –  Здесь плохо живут. Здесь делать нечего. Земли отдали большим совхозам. Технику сюда не дают. Ну, на кой чёрт она тут, если делать нечего? Мужики ездят на лошадях работать в совхозы. Бабы стирают, детей пасут, да жрать готовят. Мужики целыми днями за пятьдесят километров ездят вкалывать. Приезжают как побитые. Когда им заборы править и крыши? Ну, когда? Если ты с утра до ночи то на услужении, то в дороге. А платят с гулькин хрен. И убежать отсюда некуда. Везде одно и то же.

      Он многоэтажно выматерился и плюнул за окно.

      –  Я сам в таком селе живу. Повезло просто. Машину дали в Муроме. Отцов друг там начальник большой. Пристроил меня. А так бы сейчас тоже мотался за семь вёрст киселя хлебать. Жидкого. В какой-нибудь совхоз-гигант передовой… Хвосты коровам крутить за сорок рублей. Мать её так, эту жизнь дешевую. Никому мы тут, на своей земле, толком не надобны. Так, подай-принеси…Тьфу ещё раз!

      Он надолго умолк и ехали мы, трясли свои внутренности, подпрыгивая головами до потолка кабины. Но ехали. Приближались к заветному месту. Откуда мне до дому уже не беда добраться. А полбеды. Или даже меньше того.

      На Черной речке мы пожали руки. Я вышел, не успел уклониться от пыли с обочины, которая развеселилась мгновенно от бурного старта огромного грузовика. Всё пришлось чистить и отряхивать снова. Владимир – не Забубенновка какая-нибудь вам, а цивильное место, почти мегаполис. Пришел я туда быстро, сел в автобус, в центре перепрыгнул в другой, который шел на вокзал. Там встречающие уже бежали по отполированному ногами цементному перрону вдогонку  нужным им вагонам. Только что прибыл поезд Красноярск-Москва. Пассажиры из тамбура метали точно в руки своих, догнавших вагон, сумки, чемоданы, мешки и ящики. После чего ссыпались на твердь Владимирскую и, пошатываясь от остаточного воздействия  долгого пути, брели с радостными лицами  вслед за своим багажом. Все они выглядели как Иисус, снятый только что с креста, но сил у них, однако, хватало на главный вопрос, который слышался ото всюду:  –  Ну, как вы тут?

      На перроне было много служащих вокзала. Я пошел к последнему вагону и примостился рядом с двумя мужиками в железнодорожной форме. Оба были с галунами на лацканах и двумя синими полосками на концах рукавов и на фуражках. Видимо, это не простые проводники были, а представители руководства.

      –  Извините!  – промямлил я, приближаясь к ним нетвердой поступью измотанного судьбой гражданина.  – У меня не хватает денег на билет. На  поезд  «Москва – Алма-Ата». Ограбили недавно. Вот как мне теперь до дома, до Кустаная доехать?

      Врал я вдохновенно. Деньги у меня были. Но мало. По пути из леса до Борисоглеба я не справился с щекочущим внутренности голодом и съел в туристической забегаловке две отменных порции пельменей, бутерброд с сыром и бутерброд с колбасой. Запил это всё бутылкой «крем-соды». После чего от семи рублей шестидесяти копеек у меня осталось ровно четыре рубля.

      Железнодорожникам было очень жаль, что меня обчистили, но они оба посоветовали побыстрее исчезнуть с вокзала, поскольку я выглядел как бичара закоренелый. Который и не мылся последние годы, брился очень давно и одеждой был неказист. Мог привлечь внимание милиции, которая на бичах план приводов в отделение выполняла и перевыполняла.

      –  Ты вон иди вокруг поезда,  – посоветовал один из начальников.  – Иди прямо через все пути. И дойдешь до желтой будки с флажком на крыше. За будкой идут узкоколейки внутренней службы. «Кукушки» ходят по ним и дрезины.

      Дрезины есть ручной тяги, рычагами, к ним не ходи. Иди на те, которые с бензиновым движком от мотоцикла. Они идут до сортировочной. До Орехово-Зуева под Москвой. Там твой поезд проходит и стоит на загрузке почты семь минут.  Суйся сразу к последнему вагону, туда начальство не доходит. И проси проводника. Лучше сразу на коленях. Может, возьмет.

      –  А больше и никак без денег-то,  – вставил второй.

        И они ушли, говоря о больших и важных вопросах железнодорожного смысла.

        Мне жутко хотелось есть. Я понимал головой, что денег осталось ровно на взятку проводнику. Что надо было засунуть их под носок, в туфель. Чтобы труднее было взять оттуда. Но в голове находился, похоже, только ум. А подсознание перебралось из мозга в желудок. Оно подхватило меня так, как ветер срывает с осеннего дерева сухой лист, и понесло на бешеной скорости в вокзальный буфет. В нём я очнулся и вполне респектабельно выпил две бутылки ряженки, съел три слоёных пирожка с мясом, потом выпил обычного лимонада пузырь, в дорогу купил кефир и три бутерброда по тридцать пять копеек с какой-то удивительно пахнущей колбасой. Сунул все это сверху на пряники, блокноты и футляр камеры. После чего медленно, вразвалку двинулся пересекать пути в неположенных местах.

      Нужную мне дрезину нашел через сорок минут. Засёк по часам. Дрезинщики, мужчина и женщина лет пятидесяти, по поведению супруги, складывали на платформу одинаковые мотки черного провода и коробки с керамическими блестящими белыми изоляторами.

      –  А до Орехово-Зуева не подбросите?  – спросил я без твёрдой надежды. Даже не останавливался. Шел мимо и просто так спросил. На всякий случай. До разводящей стрелки  этих дрезин стояло не меньше десятка. И народу копошилось вокруг них побольше. Туда и шел.

      –  Эй, паренёк!  – позвал меня мужик.  – Ехать будешь или как? Чего бежишь?

      –  А возьмете?  – мне захотелось подпрыгнуть, захлопать в ладоши и вернуться к дрезине вприсядку с весёлой народной песней. Но я солидно повернулся, солидно подошел и, пока они бегали за проводом и ящиками, посчитал деньги. В общем-то деньгами это назвать уже нельзя было. Мелочь одна. Пятьдесят пять копеек. Погулял я безвольно, конечно. Мягко говоря, сдался желудку без сопротивления, с поднятыми руками.

      -Денег только пятьдесят копеек у меня,  – сказал я грустно женщине.

      –  Ну и на кой чёрт они нам, твои пятьдесят копеек?  – мужик закинул последний ящик с изоляторами и сел на место машиниста.  – Тут ехать всего три часа до Орехова. Вот если бы трое суток, то мы бы твой полтинник взяли на соляру. Садись давай. Вон на те провода.

      Я запрыгнул на платформу. Сел на край мягкого мотка провода в резиновой оплётке и мы поехали. Дрезина – не тепловоз, конечно. Скрипит, тарахтит, мечется между узкими рельсами будто соскочить с них хочет. Но едет равномерно, с  приличной скоростью, километров сорок в час. Движок у меня за спиной, орёт не громче мотоцикла. Сносно ехать.

      Проехали мы молча половину пути. Они, видимо, между собой наговорились лет за тридцать совместного бытия, а мне просто не хотелось. Смотел по сторонам. Много всякого мелькало. Дома, озера, холмы невысокие, Склады какие-то, наполовину в землю врытые.Только широкие  ворота наверху, да ограждение из колючки. А склады сами внизу. Под землёй. Важное что-нибудь там хранится, раз колючей проволокой обнесли, да под землю спрятали.

      Наконец выбрались из пригорода на вольный ветер. Тут мужик повернулся ко мне и назвался:  – Дядя Игорь. А жена моя Нина Викторовна. Тут мы сейчас будем одно место проезжать. Так я предупреждаю заранее. Чтобы в штаны не наложил. Будет мистика жуткая. Так ты смотри, но не бойся. Мы сами тут по два раза в день ездим. Потому и привыкли. Так смотрим просто, как кино вроде. А сперва, без привычки, аж с сердцем становилось плохо.

      –  Стреляют в вас, что ли?  – хмыкнул я.  – Или ведьмы на мётлах вокруг носятся? Я недавно в муромском лесу был. В самой чаще. Почти день из него выбирался. Так нет там никого. Ни ведьм, ни вампиров. Леших, и тех нет. Зайца даже не встретил. Ни одного.

      –  Тут не ведьмы,  – мужик мелко перекрестился. Жена глянула на него и тоже перекрестилась.

      –  Здесь на дорогу прямо. На рельсы значит,  – Нина Викторовна повернулась ко мне.  – Выходит на рельсы баба. Совсем голая. Молодая, но с сединой и шрамами на всём теле. Выходит из-за кустов, встанет на дороге и стоит как памятник. Только волосы шевелятся от ветерка. Мы ей сигналили поначалу, орали на неё. Ну, мол, уходи, чего выставилась! А она стоит как вкопанная, не улыбнется, пальцем даже не шевельнет. Мы один раз остановились. Игорь пошел к ней, чтобы с рельсов увести. Задавим ведь. А нам долго стоять не положено. Расписание. Ну вот, он подошел тогда к ней, постоял рядом, потом бегом назад. И говорит, что там нет никого.

      Я ему:  – Как нет никого, когда я на вас обоих смотрела и обоих видела? А потом ты побежал обратно, а она как стояла так и стоит. Ты чего, Игорёк?

      Вон она стоит. Он повернулся, увидел её и аж зубы у него застучали. И побледнел лицом. Как песком белым его осыпали. Отбежал в сторону, поднял с обочины штук пять камней и давай швырять в неё. Два камня стороной пролетели, а три – прямо сквозь неё. Как вроде через пустое место. И упали позади неё. Тут она улыбнулась и ушла за холм. Уплыла. Ногами  не перебирает, а идет. Ну, мы вроде проехали, оглянулись – нет никого. И так каждый день. Звали милиционеров. Они поехали с нами. Остановились мы за километр до этого места. И милиция пошла её искать. Всё облазили. Час возились там. Не нашли. Нет её и всё.

      А на следующий день едем – стоит на рельсах как обычно. Я Игорю говорю, чтобы не останавливался, а ехал прямо через неё. Он испугался. Ну, мол, задавим же человека. А я ему говорю, что не человек это. А призрак. Привидение. Или, если без мистики рассуждать, то галлюцинация.

      Ну, он и проехал сквозь неё. Глаза закрыл, да проехал. Потом мы повернулись. Смотрим, а она обратно за холм уплывает. Целая.  Рассказали потом в депо. Наши не поверили. Они же тоже по этой стрелке ездят. Ничего никогда не видели. Ржут. Вы, говорят, таблетки никакие не пьёте? Или водку на дорожку? Придурки.

      –  О!  Глядите!  – зашипел дядя Игорь, мотнув головой вперед.  – Вон она, красавица. Стоит. Нас ждет. Через неё ломим, как всегда?

      –  А ты чего, объехать с рельсов можешь?  – засмеялась Нина Викторовна. Прямо! Полный газ!

      Я повернул голову по ходу движения. В чудеса я не верил, поэтому повернулся с улыбкой, которая мгновенно превратилась в гримасу изумления, смешанного с холодком в животе. На полотне стояла красивая, высокая, белокурая девушка лет двадцати пяти. На ней не было никакой одежды и красивая фигура её просвечивалась так, что сквозь неё были видны кусты, камни и наши рельсы. Она глядела прямо мне в глаза. Или мне так показалось. Я не сдержался и крикнул очень громко, чтобы она уходила. Дрезина на скорости приближалась к фигуре. Я в последний раз глянул на девушку, когда мы были уже метрах в десяти от неё. На меня смотрели ласковые, но холодные, бесцветные глаза, не выражающие ничего. И, самое главное, наша дрезина в этих глазах не отражалась. Тут я зажмурился и сжался. Очнулся от хлопка по коленям.

      –  Назад глянь!  – крикнул дядя Игорь.

      Я оглянулся и увидел только белые локоны, уплывающие за этот проклятый холм.

      –  Это что вообще было-то?  – я спросил хрипло и, видимо, испуганно. Потому, что и дядя Игорь, и Нина Викторовна громко засмеялись.

      –  Иллюзия, наверное,– сказал  дядя Игорь.

      –  Фата-моргана,  – выдохнул я, глядя на пустой голый холм.

      –  Или чей-то злой дух. Ждет кого-то. Но не нас, видать. Слава Богу…– жена его три раза перекрестилась, тихонько нашептывая непонятные слова.

      До Орехово-Зуева доехали снова в полном молчании.

      –  Тут тебе выходить и идти вон туда,– дядя Игорь показал пальцем.  – Там пассажирские от Москвы останавливаются. Последний вагон во-он там аж. Тебе надо только на последний вагон. К другим не ходи.

      –  Спасибо, что подвезли!  – я спрыгнул с платформы и пошел туда, куда меня направили. Через отдельно валяющиеся шпалы, мимо  пустых жестяных бочек и уже широких рельсовых линий, вдоль них и поперек. Шел к своему последнему приключению, вспоминая с неясным чувством тягостной тревоги только что пережитое короткое, но потрясающее наваждение. Я так и не понял, что это было.

      –  Ничего, в поезде обдумаю,– сказал я себе вслух, закинул привычно портфель за спину и ускорился в направлении платформы, куда вскоре подкрадется медленно сорок третий поезд. Моя последняя надежда. Моё последнее приключение с полтинником в кармане и почти тремя тысячами километров дороги домой.

                          Глава    девятнадцатая

      Станцию Орехово-Зуево рожали, похоже, в сладких муках самые изощренные и прожженные железнодорожные мыслители. Они наворотили

      умопомрачительную головоломную канитель из чугунных паутин рельсов, шпал, семафоров и стрелочных рычагов, передвигающих тяжеленные металлические ленты. С помощью этих красно-синих рычагов смурные дядьки в несвежей старой форме каждые пять минут меняли рисунок паутины. Дядек было много. Если смотреть на чугунную головоломку сверху, то дядьки напоминали оркестрантов, которые исполняли свои партии в симфонии о бурлящей жизни чугуна и дерева. Вся композиция исполнялась слаженно и, если прислушаться, то почувствуешь, что приглушенный звон чугуна при движении стрелок – это продуманная, хорошо сложенная музыка разбегающихся дальних дорог.

        Да и с горы, где живут большие ценители художественного искусства, эта графическая абстракция чугунных хитросплетений смотрится, наверное, как значительное произведение. Шедевр железнодорожно-художественных талантов, вложенных в неповторимые рисунки из грубых чугунных змей, которые то ли сматываются в клубок, то ли из него расползаются. А я смотрел как раз сверху. С пешеходного моста, который лихо перескочил  провода для электровозов и рельсы для всех. С моста я мечтал первым увидеть медленное проникновение поезда номер сорок три в зону видимости, а потом уже бежать вниз, к последнему вагону и валиться в ноги проводнику.

      Зелёная голова зелёного питона, ползущего по маршруту «Москва – Алма-Ата» вынырнула по стрелке прямо из-за последнего вагона, пылящегося на передержке товарняка, с трудом волоча за собой своё сытое тело, насыщенное людьми и чемоданами. Я бегом побежал с моста, попутно приводя себя во всемогущее предстартовое волнение, которое всегда помогало в спорте. Оно усиливало желание выиграть и могло вместе с тобой всё делать для этого вовремя и правильно. Последний вагон встал прямо под мостом. Кроме проводницы, тётки лет сорока в белой форменной юбке и в берете, из него никто не вышел. А в первые два вагона на полусогнутых ногах, придавленные тяжестью огромных чемоданов,  прошлёпали  трое мужиков и исчезли в ненасытном теле питона.

      Я почти строевым шагом подошел к тётке и торжественно сообщил ей, что сил моих пытаться доехать до дома больше нет, как и денег, поэтому, если она меня не возьмет до Кустаная, я лягу на рельс прямо под последнюю пару колес, когда поезд тронется. И что её за этот кровавый финал моей пропадающей жизни расстреляют прямо на этой же станции.

      –  Юмор у тебя хороший,  – проводница оглядела меня как член комиссии, набирающей новобранцев в армию.  – А денег  прямо-таки совсем, что ли, нет?

      –  Вот,  – я сунул руку в карман и достал мелочь.  – Пятьдесят пять копеек. Всё.

      –  Ему полтинник уже и не деньги!  – тихо и шутливо ахнула тётка.  – Да на них ты  целых двадцать пять стаканов чая у нас можешь выпить. С заваркой, но, правда, без сахара. И нам прибыль неплохая: целых пятьдесят копеек.

      Проводница  сама была с хорошим чувством юмора.

      А!  – вскрикнул я, запуская руку в недра портфеля.  – Я могу ещё целый пряник дать. Уникальный. Из города Городца. Полкило веса, не засыхает, вкуса со временем не теряет, а вкус такой, что меня из-за него чуть насмерть не убили. Хотели отобрать.

      –  А чего ж не отобрали?  – захохотала тётка.

      –  Так я этим пряником их обоих и вырубил,  – серьёзно сказал я, протягивая ей пряник.

      –  Ну, ты весёлый! Люблю весёлых. Не так тошно кататься в вагоне четыре тыщи километров туда, да обратно. Может, тебя в Алма-Ату  довезти?

      –  В Кустанай. К маме с папой!  – я пал на колени. Как вроде саблей мне мгновенно отсекли конечности.

      –  И к жене,  – проводница прищурилась.

      –  Жены больше нет. Вот разводиться и еду, да, боюсь, праздник будет без меня. Заочно разведут.

      –  Как это?  – проводница посерьёзнела – А так разве можно?

      –  Тесть у меня бо-ольшой там человек. Он может всё. Ну, вру, конечно. Президентом США не может стать.

      –  Вот бы мне заочно с моим развестись… – мечтательно вскинула глаза к небу она.  – Видеть его не могу. Даже в ЗАГСе на разводе. А твой тесть не поможет?

      –  Поговорю. Он человек хороший. Любую гадость делает с отвращением.

      Стукнули буфера. Поезд затрясся и задрожал как от страха перед дальней дорогой.

        Проводница поднялась на нижнюю подножку, достала желтый свернутый флажок.

      –  Ну, чего прилип к земле? Коленки протрешь. Давай, прыгай зайцем. Потому как зайцем и поедешь. Будет у тебя четвёртая полка. Там всё самое дорогое ездит. Чемоданы.

      –  Да мне хоть восьмую полку. Все пойдет!  – я влетел в тамбур как стрела из лука.

        Поезд тронулся. Уже смеркалось. Был ранний вечер, который в начале сентября довольно быстро превращается в ночь. Но поезду было без разницы время суток. Он бежал по ровным рельсам без колдобин и ухабов на большой скорости. Потому, что при его тяжести соскочить с рельсов было невозможно.  И мы с ним вот так быстренько поехали ко мне домой. Он на двадцать минут. Я – насовсем. Так мне тогда казалось.

      Проводница затолкала меня в первое  от туалета купе. Там сидели четыре бабушки. Одна другой моложе. Младшей было под шестьдесят. Мы с проводницей молча сняли  из боковой ниши наверху скромные сумочки бабушек  и затолкали их под сиденья.

      –  Здесь будешь жить. Если выживешь.  – проводница улыбалась дружелюбно и открыто.  – Давай полтинник-то. Зажучишь ведь. А я тебе на эти большие деньги чай буду носить. Двадцать пять стаканов. Я слово держу.

      В нишу я укомплектовался с усилиями, но без мук. Там лежало байковое свернутое в рулон одеяло. Его я пристроил под голову. Портфелю тоже нашлось место сбоку.

      Ноги пришлось согнуть как это делают опытные йоги. В нише было душно и пахло то ли сапогами нагуталиненными, то ли пылью, впитавшей в себя все запахи чужой обуви, несвежей трехдневной курицы и плохого вина. Плохое плодовоягодное стоит рубль и двенадцать копеек за пол-литровый пузырь.

      Но я ехал! Я смотрел в окно на убегающие назад киоски, столбы и грязные грузовики перед шлагбаумом. И было мне так хорошо, будто мне подарили чешскую двенадцатиструнную гитару или кимоно, доставленное прямо из Японии. Так радостно мне было! Не передать. Я ехал в родимый Кустанай. В конце концов.

      Банальщину повторять неприлично, но необходимо. Поездную аксиому я знаю давно. Ездил часто на соревнования. Так вот, все в поезде почти беспрерывно едят. Мне кажется, что едят по трем причинам. От страха перед вероятным спрыгиванием тепловоза с рельс. С тоски, которая настигает любого, кто уже болтался сутками из стороны в сторону, заключённый в камеру-купе размером полтора метра на полтора. И ещё – ради коротания срока путешествия. Потому что тщательное пережевывание пищи занимает много бесполезного времени и очень притупляет сознание. Ты как бы в полусне ешь, жуешь по правилам медицины, любые мысли в это время становятся липкими, как пальцы от варёной вчера курицы. И мысли эти все ни о чём.

      Так, мысли просто и всё. Но, что интересно, на самом деле есть никому всерьёз не хочется. Аппетит, видно тоже укачивает вагонная амплитуда колебаний. Бабушки, соседки по счастью моему и по купе, кушали от начала пути и до незаметного выхода где-то поздней ночью. Лопали они колбасу трёх видов: полукопченую, докторскую и любительскую. Одна из них единолично метала  сало с черным хлебом и луком. Всё это они заедали огурцами и помидорами, а запивали томатным соком из двухлитровой банки. Потом все дружно достали из-под сиденья сумки и извлекли на столик конфеты разные и самодельные плюшки. Самая древняя бабушка сгоняла к проводнице и вскоре они вернулись обе. Проводница несла поднос с чаем в позолоченных подстаканниках, а бабушка из последних сил удерживала на весу фаянсовый чайник с заваркой и железный – с кипятком.

      Пытка удаленной от меня едой длилась вечность. Я пробовал уснуть, но аромат полукопченой колбасы разваливал дремоту, как ребёнок одним пальцем рушит прочную на вид пирамидку из кубиков. Желание откусить кусок от шмата сала и зажевать его черным хлебом могло подавить только курево. Я исполнил сложный цирковой номер, в котором мужик сперва втискивается в небольшой стеклянный куб, а потом, выворачивая все части туловища как  штопором, выковыривается на волю. Я из ниши выбирался так же. По отдельности. Сначала руки высвободил и взялся за стеклянный фонарь  под потолком, потом поочередно вынул ноги. После этих манипуляций с крепким телом, вынул я на волю и остаток организма. Встал ногами на края двух нижних полок, достал портфель, вытащил пачку «Примы», спички, и пошел в тамбур.

      Стою, курю, сбиваю аппетит и воспоминания о чужой еде, к которой меня не подтянули. Но бабушки были старые и вполне могли иметь кроме прочих болячек и положенный им по возрасту склероз. Они просто могли забыть, что вместо чемоданов на четвертой полке пухнет с голоду молодой орел в расцвете лет. Да, скорее всего, они все были поражены склерозом.

      В тамбур зашел юный паренёк, хлипкий на вид и желтый на цвет. Ехал, видно, давно с пересадками в разных городах, включая Москву.

      –  Курить дашь?  – спросил он меня почти девичьим голосом.

      Я дал ему сигарету и спички. Пацан закурил, спички вернул и уткнулся лбом в стекло двери. Так он стоял минут пять. Потом обернулся и пропищал:  – Тоже в Алма-Ату едешь?

      –  В Кустанай,  – гордо ответил я.

      –  А вы, деревенские, все « Приму» да «Беломор» курите? Я вот  «Казахстанские» только. Или «Медео». Кончились сейчас. На первой. станции куплю. Тут в тамбур ввалился толстый лысый мужик в хлопчатобумажном трико с отвисшими коленями и локтями.  В руке он держал пачку «Беломора» и  зажигалку, похожую на охотничий патрон  двенадцатого калибра.

      Пацан окинул его взглядом и нежно спросил:  – Закурить дадите?

      Мужик дал ему беломорину, спички. Пацан закурил снова и пошел к окну. Уткнулся в него лбом. За окном был сумеречный сероватый пейзаж без деталей. Без деревьев, домишек и бегающих хаотично куриц. Ровное поле лежало до горизонта и сливалось с ним так плотно, что, казалось, будто никакой разницы между небом и землёй больше нет.

      В тамбур выглянула проводница. Увидела меня и поманила пальцем. Я закрыл за собой дверь и она сразу же стала охать и ахать. Мол, а что, если сейчас контроль пойдёт с проверкой билетов? Или старший по поезду вдруг? А то и железнодорожная милиция. Патруль по составу, засланный в поезд для сохранности спокойного равновесия. Тогда, мол, кранты и тебе, и мне!

      Ну-ка, быстро в нишу! Мы уже и Владимир проехали, и Горький. Пока ты дрыхнул. Там могли сесть проверяющие. Ну да ладно. Авось, до последнего вагона не добредут. Напоят их наши проводники по пути. Сейчас едем по Башкирии. Так что, далеко от окна не уходи. Фантастические фильмы смотрел вообще? Так вот, скоро фантастику живьём увидишь. «Горящая планета» называется. Сильно только не пугайся. А утром, ближе к одиннадцати Казань будем проезжать. Стороной. По мосту через Волгу. Так  мост этот не пропусти. Такого ты ещё точно не видел.

      –  Вас зовут-то как?  – пробираясь мимо неё, спросил я.

      –  Что, не тяну уже, чтобы меня на «ты» звали?  – улыбнулась проводница не очень радостно.  – Наташа я. Тридцать два года живу. Фамилия у меня простая. Васильева. Живу в Алма-Ате. Будешь у нас – позвони. Я тебе потом телефон напишу на листочке.

      Она была, блин, всего-то на четыре года старше меня. Но смотрелась на  сорок пять. Скукожила, похоже, её и жизнь на железных колесах, да муж-негодяй, с которым она даже на бракоразводном процессе видеться не желала.

      –  Я в Алма-Ату сто раз на соревнования республиканские ездил. Сейчас  вот в Кустанае начну тренироваться снова, так, может, и приеду. Пиши телефон. Приноси.

      Наталья присела на закрытый деревом и толстой сеткой  радиатор отопления.

      –  Прямо-таки позвонишь?

      –  Да запросто!  – мне стало смешно.  – Спрошу  у мужа твоего, можно ли нам с тобой в кино сходить. Разрешит – нет?

      –  Мы три года с ним не живем.  – она поднялась и отвернулась к окну.  – Он другую полюбил. Которая в промтоварном работает. Каждый день дома. До 9 утра и после семи вечера. И выходные все дома. И праздники. А я восемь дней в рейсе, неделю всего дома. Он решил, что раз я в рейсах бываю больше, чем дома, то дом мой в вагоне. И что у меня тут каждый рейс новый хахаль. Я молодая. Как без мужика терпеть? А терплю же. Домой приеду, он от меня шарахается, как от шалавы прожженной. Так я на нервной почве и сникла. Смотрю же в зеркало. В зеркале баба возрастом под полтинник. Ну и ушел он три года уж как. А нормальный был мужичок. Не пил. За шесть лет не тронул ни разу и пальцем. А я раньше-то в городе устроиться хотела. Только образования нет. И опыта было – ноль. А потом беда была. Мама с отцом на озере отдыхали и перевернулись на лодке. Там водоворот был от родника. Нашли их через две недели. Жить мне не на что.

      Делать не умею ничего. Пошла на стройку, на каменщицу учиться. Несли с напарником носилки с кирпичом. Ручка сломалась. Кирпичи мне на ноги ссыпались. Почти месяц  перелом голеностопа лечила на стационаре. Вышла, хромала ещё полгода. Потом случайно у подружки с Николаем познакомилась. Он с другом, ухажером её, пришел. И я там была. Через два месяца поженились. Двадцать три мне было. Ему тридцать. Он зарабатывал прилично. Крановщиком работал. Там за риск добавка была неплохая. Ну, всё вроде пошло как надо. Детей только не народили, не получалось чего-то, а так  – жили поначалу как все. И вот через год я устала сидеть дома, а мне девки мои присоветовали пойти в проводницы. Пошла на свою голову.

      Она вытерла глаза белым платочком, заткнутым за пояс юбки.

      –  Ладно, иди к себе наверх. Сейчас чаю принесу. Потом договорим.

      Я снова упаковал себя в нишу и стал вспоминать свою жизнь. Она в воспоминаниях была не такой мрачной, как у Натальи. Десять классов. Институт. Попутно спорт и ранняя женитьба по юношеской нетерпеливой любви со страстью. Дочь родилась. В  институте мне пробили свободное посещение. Редактор областной газеты ректора уговорил. Стал я штатно работать корреспондентом, ездил по командировкам и попутно учиться успевал на факультете иностранных языков. А жизнь по привычке вёл дворовую, со старыми дружками из нашего буйного района «Красный пахарь». Хулиганство, постоянные драки, дружба с откинувшимися уголовниками. Палец в драке ножом отрубили. Весело жил. Насыщенно.

      А женился на сокурснице. Замечательной, красивой и умной. Но только на свадьбе узнал, что она – дочь секретаря обкома партии, второго человека в области по номенклатурной высоте. Моя жизнь стала походить на раздвоенное змеиное жало. Одна часть жала была верным другом шпаны, родной с детства, а вторая пролезла в светское общество, в хорошо сыгранный аристократизм и добропорядочность. Тут я и поплыл как ветка по реке. Работа культурная – корреспондент. Иняз – элитный факультет. Спорт – уже первый взрослый разряд в двадцать три года. Стихи писал. Музыку. В детстве школу музыкальную окончил. Песни авторские писал под гитару. Но со старыми дружками не раздружился. Всё те же драки через день, разборки, дружба с блатными. Гремучая смесь. Адский коктейль. Домой приходил поздно, иногда вообще не приходил. Протестовал, значит, как мог, против светской жизни, верхом сидящей на высоких идеалах  коммунистической морали.

      Потом в армию призвали. Отслужил, дембельнулся. Выяснилось, что жена не шибко меня жала, не особенно скучала. Съездил я в район к другу семьи, настучал ему в рыло и стали мы с ней дальше жить. А тут папа жены решил её послать в аспирантуру. В Москву. А меня оставить одного не решился. И выбил мне место в Высшей Комсомольской Школе при ЦК ВЛКСМ, где ковали руководящие кадры. Мы с ней уехали в Москву. Встретились там пару  раз и разбежались без шума и шороха.

      То есть, полнокровной жизнью пожил я до двадцати восьми лет. Единственное, что меня коробило при этих воспоминаниях, так это то, что некоторые мои кореша из нижних слоёв общества знали, на ком я женат и то, что по пятницам нам домой шофер тестя привозил ящик с деликатесами. А я их ел. В то время, как обычный народ уже не помнил, как они выглядят и пахнут. Собственно, эта обычная для советского стауса семьи привилегия и стала быстро созревшим до раскаленной красноты яблоком раздора. Да ещё квартиру двухкомнатную мы получили почти сразу после свадьбы. А люди обычные, трудяги, кисли в очередях на жильё десятилетиями.

      Но я свою жизнь неудавшейся не считал. Ошибок было немало, но неудач не имел пока. Меня несло успешно вперед и вверх. Сил было много, да и способностями разными мать-природа меня не обделила.

      С Наташкиной  покоробленной жизнью, конечно, ничего общего. И вот приеду я сейчас домой, разведусь по чести и совести и прыгну с головой в любимые мои дела. Так я думал, думал и задремал. А проводница, конечно, чай мне приносила. Проспал я чай. Зато настроился на продолжение полезной, стремительной и нескучной своей житухи.

        Спал бы, может, всю ночь. Устал немного после пробежки по муромскому лесу, Борисоглебу, в грузовике, да на вихляющейся дрезине, пробуждающей привидения. Но прочно уснуть не получалось все равно. Меня настойчиво будил один и тот же звук. Стук чего-то хрустящего обо что-то твёрдое. Я с усилием восстановил все части тела в пригодное для  шевеления состояние и повернулся на бок. Лицом к окну. Внизу все четыре бабушки увлеченно стучали яйцами, сваренными вкрутую, о металлический ободок столика. Скорлупа с треском опадала кусками на столик и под него, бабушки  сыпали на очищенные белоснежные яйца соль и неторопливо их уничтожали. Били они скорлупу несогласованно, поскольку ели яйца с разной скоростью. Поэтому треск стоял долго. По моим подсчетам каждая бабуля слопала минимально по шесть яиц. Это был хороший, полноценный колхозный завтрак. Запахи желтка и белка висели под потолком, не смешиваясь. Петляя между ними, вился там же ещё и угнетающий мою психику тяжелый аромат копченой колбасы и сала. Мне очень хотелось спрыгнуть и моментально пресечь эту вакханалию чревоугодия. Ликвидировать смертный грех, растлевающий бабушек и  унижающий достоинство временно голодных. Правда, голодных во множественном числе не было. Есть хотелось только мне. Но вот почему? Я в жизни не страдал извращенной формой аппетита, обычно ел мало и не часто. Но, видно, повышенное желание наесться до упора диктовалось только отсутствием у меня еды. Это как с сигаретами. Пачка полная – куришь только по просьбе организма. Но если к ночи сигареты кончились, будешь страдать, искать по углам куцые чинарики, зажимать их с одного конца спичками и докуривать огрызок этот до последней крошки табака, обжигая губы. А потом опять побежишь искать другой окурок и радоваться, что он побольше. И не будет в тебе равновесия нервного пока не наберешь «долбанов» впрок, чтобы и утром, до открытия магазина, было чем с удовольствием отравиться.

      Вот когда этот пример всплыл в сознании, я решил бабушек не трогать и дать им возможность сжевать всё и не треснуть.

      Тут как раз появилась Наталья с двумя подстаканниками, в которых волновался от качки крепкий красно-коричневый чай. Она протянула их мне аккуратно, чтобы я смог в своём странном положении туловища их забрать. Получилось. Она сказала, что пить чай надо побыстрее, потому как через полчаса или сорок минут будем ехать по Башкирии, где и начнется та самая, та фантастическая огненная феерия «горящая планета». И смотреть её лучше не в окно купе, а с другой стороны, из коридора или тамбура. Доложила она это всё и исчезла.

        Громкое чавканье снизу уже не раздражало меня. Я отхлебнул большой глоток очень горячего чая и понял свою ошибку только  когда из глаз выдавились слезы и на лбу стало сыро от холодного пота. Подождал минут пять. Потом поставил на живот портфель, наклонил его к себе, вынул всё, что в нем было вплоть до зубной щетки. На дне портфеля толстым слоем лежали примятые вещами крошки бывших когда-то городецких пряников. Я доставал их щепотками не спеша и бережно. Щепотку крошек аккуратно закидывал в рот, держал их там до полного удовлетворения вкусом, а потом запивал останки пряника осторожными глотками чая, который хоть и остывал, но медленно. Минут через двадцать я был сыт и снова доволен жизнью. Крошек в портфеле оставалось ещё стаканов на десять чая. Это было оптимистично и укрепляло веру в то, что с голода я не окочурюсь стопроцентно.

      Ещё минут десять ушло у меня на спуск из ниши. Сначала я всё уложил обратно в портфель, снял его с живота и прилепил к стенке. Потом пустые стаканы поставил сбоку и акробатическими вывертами покинул нишу, забрал стаканы и отнес их Наталье.

      –  Посидишь со мной?  – без уверенности спросила она, помыла их горячей водой в бойлере напротив открытой двери и поставила  в общий ряд на полочку.

      –  Посижу,  – мне было очень жаль эту молодую женщину. Постаревшую от многолетних пыток железной дорогой и павшую духом от неугаданного заранее семейного краха, от неимения детей и нежданной  гибели родителей. Помочь было нечем, а утешать я просто не умел. Жизнь ещё не научила.

      –  Может, в «дурака» перекинемся?  – Наталья достала старую, затертую колоду.

      –  Да не играю я в карты. Только в подвижные игры. Футбол, баскетбол, бадминтон  и всё такое.

      –  И в шахматы не играешь?  – она, наконец, улыбнулась.

      –  И в шахматы тоже, угадала,  – мне было неловко. Приперся. Сижу как китайский болванчик, который только фарфоровой головой кивает. И вдруг осенило меня! Вспомнил.  – Во! Давай я тебе фокус покажу. Нитка есть? И ножницы.

      –  Давай,  – она достала из своей сумочки большую катушку ниток и маленькие походные ножницы.

      Я связал нитку. Получился круг. Растянул этот круг так, что между верхней и нижней нитками осталась узкая полоска.  Потом затолкал обе нитки в одно колечко от ножниц  и натянул. Ножницы болтались на середине. Я надел оба конца ниточного эллипса на Наташины большие пальцы и сказал, что сейчас, не разрывая нитки, сниму с них ножницы.

      –  Да ладно,  – засмеялась она.  – И с пальцев нитку не будешь снимать?

      Вместо ответа я сделал незаметно две петли возле её левого пальца и убрал руки. Ножницы  рухнули  на коврик при целой, хорошо натянутой нитке.

        Она снова засмеялась. Удивленно и с любопытством в глазах.

      –  Ничего так! А как это? А меня научишь? Ты что, в цирке работаешь?

      –  Да какой цирк! В редакции я работаю. Корреспондентом. Фокусу этому отец меня научил. Я только его и умею делать. Нет! Ещё знаю один. Потом покажу. Нам не пора уже «горящую планету» смотреть?

        Она глянула на часики свои, сразу же схватила меня за руку и вытащила в коридор.

      За окном было темно. Потолочные фонари в вагоне были, видимо, рассчитаны на то, что в поездах катаются граждане с избыточно острым зрением. Они тлели  как затухающие головешки в костре и похоже было, что тепловоз всю свою энергию употреблял на мощь двигателей и скорость движения, а крохотный остаток своей могучей мощи, которого было бы более чем достаточно для одного толкового охотничьего фонарика, нехотя отдавал  вагонам, поскольку в них пассажирам свет нужен символический, успокаивающий как ночник. Да и чего разглядывать в вагонах-то? Нет в них ничего, на что бы надо было глазеть при ярком освещении.

      Постепенно  начали чаще щелкать  раздвигающиеся двери разных купе и коридор потихоньку заполнялся народом. Похоже, один я ехал в этом поезде впервые.

      –  Ты что, весь вагон  на огненное шоу пригласила?  – я легонько дернул рукав Наташиной  блузки.

      –  Да нет,  – она прислонилась щекой к стеклу и поглядела вперед и вправо, по  ходу движения.  – Тут многие постоянно мотаются из Алма-Аты в Москву по делам. Ну, из всяких организаций союзного масштаба. На конференции всякие. На ковер к большим начальникам. На выставки разные. Я многих уже в лицо помню.

      Я хотел что-то ответить, но как раз в тот момент в другом конце вагона прозвучало слаженное, будто отрепетированное  протяжное, похожее на стон от удовольствия слово из одной буквы – «О-о-о-о!!!» Этот сладостный  выдох подхватывали остальные и через несколько секунд он накрыл и нас. То, что я увидел, помимо сознания вытащило из меня ту же эмоцию и ту же букву «О!», которую я тянул как приятную ноту. В одно мгновение ночь стала днём. Стало так светло, как не бывает даже в самый яркий и жаркий июльский полдень. Первое, что я разглядел – это огонь в небе. Пока не опустишь глаза к земле, видишь только бешено полыхающий небосвод. Свет пламени нёсся вместе с поездом. Так казалось. На самом же дели мы летели со скоростью  девяносто километров в час мимо замершего на одном  месте катастрофического небесного пожара. Если из окна смотреть не вбок, а вперед, то становилось страшновато. Пожар этот долетел до самого горизонта и завис как бы не только над башкирской землёй, а над всей планетой. Высоко в воздухе он смешивался в один багровый тон, чернеющий вверху. Высоко, там где кончалось пламя. Цвет  огня в разных уголках  расстелившегося над землёй и вибрирующего от напора снизу пламени был разным. В одном месте огненный столб был желтым, рядом с ним взмывал ввысь такой же стремительный, но зеленоватый поток, чуть дальше небо подсвечивалось голубоватым фонтаном огня. Были и красные струи, и золотистые, оранжевые, лимонного цвета. Все это вместе составляло картину-фантасмагорию, далёкую от реальности. Если глядеть только вверх, где высоко, выше облаков, столбы огня сливаются во вращающееся по горизонтали спиралью пламенное месиво, то видно, как в подсвеченное снизу тёмное небо вползают черные, широкие и лохматые шлейфы и на огромной высоте соединяются. Небо становится черным, твёрдым для глаз и непроницаемым, не пускающим ни звёздный, ни лунный свет. И от того выглядит неземным. Я смотрел на картину, написанную пламенем по холсту привычного, любимого романтиками неба, и силился вспомнить, что же напоминает мне этот сюрреалистический пейзаж. Да нет, скорее – натюрморт, поскольку  романтическая высь не выглядела живой, какой мы её видим с пеленок. И внезапно моё воображение само назвало эту страшную кроваво-черную, шевелящуюся от смены температур и ветров массу, Адом. Не видел его никто кроме, пожалуй, Данте Алигьери, который, возможно, тоже его выдумал. Но никакое другое слово к увиденному уже не лепилось. Пусть Ад в моем представлении будет таким.

      И только после этого я сбросил взгляд с неба на землю. Всюду, куда дотягивался глаз, торчали из земли черные, толстые, высокие трубы. Они росли из глубины пореже, конечно, чем колосья пшеницы, но все равно их было невозможно сосчитать. Начинались они в ряд метрах в ста от железной дороги и, уменьшаясь в размере, такими же стройными рядами заполняли землю до горизонта. Из каждой трубы, как кипяток из гейзера, извергался похожий на плазму расплавленный  столб огня высотой с двух или трехэтажный дом. В шестом классе на уроках физики я накрепко вбил в голову, что внутри, под мантией, земля расплавлена до состояния плазмы. То есть только снаружи тишь да гладь и птички чирикают, а в глубинах планеты рвется наружу, на волю вселенскую, расплавленное нечто. Само оно вырваться не может. Тверда и прочна мантия Земли-матушки. Давно уже, лет пять назад, я случайно пробежал глазами статью в журнале «Химия и жизнь»  о том, что добытчики нефти просто уничтожают попутный газ, от которого могут быть и деньги, и польза. Но статья как-то прочиталась и скоро забылась. А сейчас вот я сам вижу, что нашлись люди, которые ухитрились  джина из бутылки выпустить. Люди эти – нефтяники. Для них газ – ненужный продукт, находящийся рядом с пластом нефти. Он так у них и называется: ПНГ, побочный нефтяной газ. Они добывают драгоценную нефть, но при этом не менее драгоценный газ выпускают из земли и сжигают его просто так. Ни себе, ни людям. Завораживающее зрелище, потрясающее общей красотой  и мощью, на самом деле оказалось выброшенной как в помойное ведро, немереной, но и не нужной силой. В других  странах она превращается и в деньги, которым счёта нет, и в полезные, и недорогие, нужные людям вещи. Об этом я читал раньше и в других журналах, но большого значения как-то не придавал. Пока сам не увидел и не догадался сходу, что в воздух со столбами пламени улетают миллиарды рублей, которых у нашей замечательной Родины не настолько много ещё, чтобы плеваться ими, спрятанными в огненных языках газа, на небеса.

      Женщины в вагоне визжали и хлопали в ладошки. Огненное  представление, устроенное нефтяниками, смотрелось со стороны волшебно. Мужчины смотрели молча. Некоторые что-то бурчали неразборчиво или сдержанно покашливали, выражая этим далеко не восторженные чувства. Мужчина лет пятидесяти, стоявший прямо рядом с Натальей, всё время молчал. Мы ехали уже почти полчаса с приличной скоростью, а газовому фейерверку конца всё не было. Он посмотрел в окно вперед по ходу, отвернулся от окна и сказал нам с проводницей так, чтобы слышали все:

      -Вон то черное, которое выше пламени – это сажа. Летит, куда ветер понесет. На сотни километров. А в ней всё самое мерзкое. От тяжелых металлов до других вредных химических соединений. Болеют люди вокруг этих фонтанов на много сотен километров в округе. Да и не растет ничего как надо. Всё  хлипкое и больное. Зато нефтяникам хорошо. Потому что государство у нас доброе и их не ругает. По фигу всё и государству. Лишь бы нефть качалась и продавалась. Вы уж извините, что я так специфично всё  объяснил. Я сам химик. Из Москвы. В Алма-Ату еду на ВДНХ. Мы там свои новые работы по неорганике показываем.Так что, я по-другому не мог рассказать. Профессия не позволяет.

      Он попрощался со всеми, кто стоял в коридоре и, наклонив голову, ушел к себе в купе. Стало тихо. Мы ещё минут десять молча смотрели на пролетающие мимо черные трубы, украшенные сверху красотой неукротимых полыхающих фонтанов. В ладоши уже никто не хлопал.

      –  Ладно, Наталья, спасибо тебе за демонстрацию чудес наших советских. Потрясающее зрелище!  – Я мягко тронул её за плечо.  – Пойду спать. Если получится. Бабушки, наверняка, всё ещё жуют.

      –  Хочешь ещё чаю?  – Наталья быстро достала подстаканник, воткнула в него стакан, налила из чайничка заварки и кипятка из бойлера.  – А я тебе пирожок сэкономила. Валька из ресторана мне три штуки приносила. С ливером пирожок. Давай.

      Я с удовольствием употребил пирожок. Выпил запашистый чай. Договорился с Натальей о том, что завтра она мне найдет точку, с которой можно получше рассмотреть диковинный мост, поцеловал ей ручку, что смутило её чуть ли не до слез. Потом пошел в свою нишу. Забрался, попытался о чем-нибудь хорошем подумать. Но не успел. Уснул мгновенно под шелест промасленной бумаги, в которую бабушки заворачивали  неизвестно какую по счету недоеденную до скелета курицу.

      А как мне в ту ночь спалось! Какие сны про дом и Кустанай виделись! Не перескажешь. Да и не стоит. Я спал, смотрел приятные сны, бежало время, бежал поезд, бежала вместе с ними по правильному пути моя извилистая, но увлекательная жизнь.

      Тем не менее, всё проходит. Прошли и сны. Я утро почувствовал сначала ушами, а уж после того открыл глаза. Странной была тишина. Она меня и разбудила. Да нет, рельсы под вагоном шуршали так же, колеса на стыках отбивали привычный ритм, тепловоз изредка выдавал веселый утренний свист. Но эти звуки не слышатся всем, кто к железной дороге привык. Они , если много и часто ездишь в вагоне, не воспринимаются ухом как посторонние, а чувствуешь их как, например, собственный кашель, обыкновенно и безо всякого желания вслушаться повнимательнее и поглубже. Меня же разбудило отсутствие посторонних раздражающих шумов, к которым я тоже вроде успел приспособиться. Я резко высунул голову из ниши. Точно: на нижних полках не было бабушек. Никто не бил яйца об столик, не прыгали стаканы в подстаканниках и никто не размешивал в чае сахар, вышибая ложками жалостный звон из тонкого стекла. Запахи колбасы, яиц вкрутую, сала и заветревшейся курицы, правда,  бабульки с собой захватить не смогли, но уже за то, что они исчезли сами, я сразу же мысленно поблагодарил и самих бабушек, и высшие силы, которые не дали им проспать свою станцию.

      Мне захотелось выкарабкаться из ниши и лечь во весь рост на нижнюю осиротевшую полку с несвернутой постелью и тремя забытыми в суматохе карамельками в розовых обертках. Я бы там раздвинул на прежние места кости свои, да и душевно бы облегчил свой позорный статус живого багажа из ниши для чемоданов. Бабушки, родственницы, несомненно,  унесли с собой  генетически зверский, нечеловеческий свой аппетит вместе с недожеванными продуктами беспрерывного питания, чем облегчили-таки  мои  скрытые страдания голодного, но живого пока человека, который душил стойкое желание поесть сигаретами «Прима».

      Ноги мои сами, опережая все рефлексы и мозговую деятельность, выбросились из ниши, захватив с собой и тело. Через мгновение я уже растянулся на полке, грыз карамельку и думал о доброй своей судьбе, которая всегда повернется к лесу задом, а к тебе передом, если ты до этого не подохнешь от физических пыток в нише для сумок или с голодухи. Минут пять я ловил кайф от человеческого бытия и уже разворачивал третью конфету, когда судьба хихикнула и опять развернулась передом к лесу. Открылась дверь, вошла проводница Наташа, а за ней, путаясь в лямках дорожных сумок и авосек с едой, протиснулась довольно молодая семейная пара. Видимо, бабушки соскочили недавно, а эти вошли на той же станции. Я глянул на часы. Было семь сорок пять.

      –  Ну, я же просила тебя!  – прошептала Наталья, наклонившись прямо к уху.  – Давай обратно. У людей билеты с местами. На вторую полку тоже не лезь. Застукают – так тебя сразу расстреляют, а меня с работы попрут. Лезь. Сейчас чаю принесу. Я оценил сворованную у меня ещё в Орехово-Зуево хохму, лежа отдал проводнице честь, стукнув вытянутой ладонью по пустой голове, и без энтузиазма поднялся.

      Пока новенькие осваивались и переодевались, я вышел в тамбур и закурил.

      Следом из соседнего купе вывалился полусонный и, похоже, вчера хорошенько врезавший водки мужик в пижаме. Плохо гнувшимися пальцами в руках он держал спички и коробку «Казбека». Стояли, в окно глядели. Я курил, а он пробовал достать одну папиросу, а не все сразу. От нас убегала влево и назад длинная деревня, из которой по проселочной дороге вдоль нашей железной ехали грузовик, бензовоз и бежали штук десять гусей. То ли они из грузовика выпали на кочке, а, может, просто не успели с утра хлебнуть бензина и с надеждой догоняли бензовоз. Деревня была красивая. Вся в деревьях, в палисадниках разноцветных, забитых ещё летними цветами, вся такая солнечная от бившего в неё прямой наводкой рассвета! Это была маленькая страна шустрых гусей,  невянуших цветов, ласковых собак и  бликующих брызгами рассвета оцинкованных крыш. В ней сразу же хотелось остаться жить и ездить с семи сорока пяти на бензовозе или, черт с ним, на грузовике.

      –  Ты, парень, из Москвы сам?  – спросил мужик, мусоля во рту с трудом добытую папиросу.  – Тогда помоги прикурить земляку.

      Он не мог зажечь спичку. Промахивался ей мимо коробки. А если попадал, то в торец, об который спичка сразу ломалась. На полу подпрыгивали обломки спичек. Примерно половина коробки.

      –  Это я уберу без вопросов,  – мужик согнулся и остался в таком наклоне минут на десять. За это время деревню мы проскочили и смотреть было не на что. Чистое пшеничное поле без комбайнов, тракторов и грузовиков снаружи и согнутый напополам мужик внутри. Я прикинул, что ещё минут через пять он уже сам не разогнется, наклонился, взял все обломки спичек в горсть и поставил мужика в человеческую стойку. Он посмотрел на меня очень проницательно и сказал, что он меня знает. Потому как мы с ним живем на одной площадке  в доме восемьдесят два на шоссе Энтузиастов, строение третье, корпус «Б». Во-о!  Ты ж меня тоже знаешь. Я – Игорёк. Ты – Витя Мухин из шестнадцатой хаты.

      –  Ты тоже к Юрасику едешь?  – удивился он и сел на мусорный бачок.– А как ты узнал, что его уже посадили в «четверку» под Кустанаем? Я тебе не говорил. Я никому вообще не говорил ещё. Мать знает да я. Мы одни. А я еду потому как уже полгода пошло. Свидание дали на  двое суток. Братан же он мне. Родный. Я вот ему водки везу, пожрать, чаю десять пачек и «Казбека» шестнадцать коробок. Нет, уже пятнадцать теперь. Ну, ничё, пятнадцать тоже хорошо. А сидеть вообще-то я должен. Потому как лично я упёр вечером из ихней конторы, где он бухгалтером зарабатывает, телевизор цветной. «Таурас». Он у них один. В приёмной директора стоял. Мы с ним остались после работы по чуть-чуть вмазать портвешка, он потом уснул, а я взял этот телевизор и через три пересадки на метро до Перово допилил. Ничё! Никто не тормознул. Смотрел его три дня пока мусора не подплыли. Забрали телевизор обратно. А  Юрасика следователь допросил на другой день. И дурак  Юрасик сказал ему и бумажку подписал, что это он по пьяне телевизор домой отнес, потом вернулся ночью на работу, чего-то там по дебету покумекал и спать остался. Я на суде выступил и сказал, что Юрасик вводит суд в заблуждение. Что мы и сами не знаем, кто нам его домой привез. На руках такую тяжесть мы и вдвоем бы через всю Москву не дотащили. Но прокурор встал и сказал, что чистосердечное признание позволяет назначить Юрасику срок для исправления всего два года. Судья – шарах молотком по столу и говорит, что прокурор прав и можно уже Юрасика забирать. Конвой его вывел. А я к судье подошел и мамой поклялся, что меня судить надо, что я унёс телевизор этот чертов. А судья, грубый такой человек, без жалости к невиновным, сказал, что если я ещё раз сюда заявлюсь пьяный, то меня засадят на десять лет сразу. Дурак полный. Чего бы я в суд самоходом ещё раз пришел? Ну, ты ж видищь – нет справедливости негде. Я зажег спичку, запалил ему папиросу и похлопал его по плечу.

      –  Ты не переживай,  – сказал я.  – Тебя тоже посадят. Обязательно. Не завтра, так через год. А то и меньше.

      –  Тогда да!  – всхлипнул мужик, пуская дым в разные стороны.  – Тогда будет по закону. По справедливости. Я ведь должен сидеть!

      –  Должен, значит сядешь,  – я затушил сигарету и пошел к проводнице в купе.

      Она  протирала салфеткой стаканы, подстаканники и мельхиоровые ложечки.

      –  Наталья, а когда мост-то будет знаменитый через Волгу?

      -Ух, ты!  – встрепенулась Наташа, кинув взгляд на часики.– Чуть не профукали мост. Через пять минут подъезжаем к Зеленодольску. А за ним сразу и мост тебе, и Волга-матушка, широка да глубока.

      Она опустила окно у себя в купе-каморке и пальцем показала. Туда, мол, головы высовывай и наслаждайся.

      –  А чай кто обещал? Я за минуту выпью.

      Пока она наливала заварку и кипяток, я сгонял к себе в купе, Супруги спали, оставив на столе недоеденные помидоры с огурцами, лук и кусок любительской колбасы. Я набрал со дна портфеля горсть пряничных крошек и побежал быстренько пить чай. Крошки ещё на бегу успел заложить в рот, потом запил сладкое и сытное месиво крепким чаем, сказал торопливое  «спасибо» и  высунул голову как можно дальше в окно.

      На меня летел, пугая странным волнистым рельефом и блеском большого блестящего церковного купола, город Зеленодольск, прилепившийся одной своей окраиной к мосту через Волгу, а другой  – к маленьким озерцам, заводям, березовым колкам и тоненьким ручьям-речкам, которым тоже хотелось, наверное, слиться с могучей рекой. А, может, им и на своих местах было хорошо. Глядя на аккуратный, даже на первый взгляд довольный собой и своим приволжским статусом городок, думалось именно так. Хотя выше по течению, совсем недалеко, жил совсем уж счастливый, богатый и огромный, красивый и древний город-былина Казань.

      Через десять минут Зеленодольск улетел назад, а поезд  бросился в тесные объятия моста. Наталья успела раньше рассказать, что называется он «Романовский мост». Или ещё «Красный мост».И что построили его в 1913 году, а с тех пор только раз, в двадцатых годах, что-то ремонтировали.

      То, что я увидел, словами передается непросто. Но я попытаюсь.

      Казалось, что внизу, под поездом, на двадцатиметровой высоте вообще ничего не было. Только спокойная тёмная вода медленно двигалась вниз к Каспию. На воде под поездом плавали рыбацкие лодки. Их было много, как будто рыбу гипнотизировал грохот поездов и она ловилась именно под мостом. Если бы не вертикальные арочные и трапециевидные фермы,  если бы они не лезли в глаза с боков, то создавалось бы полное ощущение  свободного полета огромной и громкой змеи-гиганта через исполинскую километровую волжскую ширь.

      Я вылез из окна по плечи и стал смотреть вниз, туда, где колёса. Они были на месте. Крутились. Но рельсы не просматривались. То ли колесо наезжало на них быстрее, чем фокусировался глаз, то ли рельсов на мосту не было. По крайней мере, не было шпал. Точно. На чем лежали рельсы, знали только те, похоже, кто работал на мосту. Мой вагон парил над Волгой! Я сосредоточился и выключил из поля зрения боковые укрепления, высокие и массивные. Они отражали и усиливали стук колёс, но уже не мешали видеть под собой реку. Потом я заткнул уши пальцами и стал как натуральный орёл разглядывать в относительной тишине картину, написанную природой на этом куске планеты. Вагон бесшумно долетел до середины Волги и вдруг мне показалось, что время замедлило бег свой неистовый. Справа по течению под мостом медленно плыл большой и красивый речной теплоход. У него было две палубы и на верхней сновало много пёстрых туристов. Они задирали головы вверх и смело наблюдали, как с громом, хоть и без молний, над кораблем пролетает страшный, если глядеть снизу, длинный и тяжелый кусок металла. От дальнего берега отчалил большой паром и, спотыкаясь о поперечные волны, скучно побрёл к Зеленодольскому берегу. Рыбаки в лодках снимали шляпы, панамы, кепки, носовые платки, завязанные углами в узлы, размахивали ими вслед грохоту и скрежету чугуна и стали. Видно, это такая традиция у рыбаков. Не первый же наш поезд они увидели. Ритуал, наверное, как-то улучшал клёв. Я перестал замечать и колеса вагонные, и мощные продольные несущие балки, даже поперечных стальных перемычек уже не видели глаза. Только Волгу, маленькие волны, редкие воронки, ввинчивающие в дно всё, что в них заносило. Видел речные подъемные краны на баржах-платформах, снимающие с больших катеров круглые тюки и ящики в сетках. И у меня, как у настоящего хищника-орла, мелькнула мысль – спикировать вниз к волне и выхватить из неё отслеженную с высоты своего полета рыбину. Эх, лететь бы так да лететь! Романовский мост был чудом техники и архитектуры. Потрясающе, что на такие чудеса были способны люди мастеровые почти семьдесят лет назад.

      Внезапно время щёлкнуло и рвануло вперед, догонять себя же. Я вынул пальцы из ушей и, оглушенный гулом ферм, вынырнул с вольного простора в купе.

      –  Ну?  – спросила Наталья.  – Видел волю откуда её птички видят? Хотел бы птицей стать?

      –  Смотря какой птицей.  – я усиленно пробовал вернуть волос, вставший дыбом, на законное его место в бывшей прическе.  – Гусем, к примеру, не хотел бы. Это ж надо каждую осень всё бросать. Работу, маму с папой, друзей, и чесать на юг согласно инстинкту. На своих двоих крыльях. Потом обратно. А жить когда? Вот орлы не летят на юг. Но до орла я пока не дотягиваю.

      –  Да ладно тебе!  – она улыбнулась, намочила мне волос горячей водой из бойлера и причесала гребнем.  – Пусть так лежит волос. Сохнет пусть. Ты, парень, уже орел. В зеркало хоть смотришь иногда? Только пока молоденький, необлётанный. Подрастешь – сам поймёшь, что орел. Ты вон грязный сейчас и обтрепанный. Хуже гуся из лужи. А отмоешься, переоденешься да подрастешь лет на пяток – орел из тебя будет, я те дам!

      –  Мне вообще-то двадцать восемь. Подрос вроде,  – мне стало неловко. Взрослый ведь мужик, а принимают за  пацана-малолетку. Я глянул в зеркало и молча вышел из проводницкой каморки.

      –  Обиделся что ли?  – крикнула вслед Наталья.  – Ну и зря. Вы мужики, после тридцати пяти – мужики. Это нормально. Природа так сделала. Не злись.

      Я подошел к своему купе, но заходить не хотелось. Стал глядеть в окно.

      После Волги пошли мелкие, круглые и длинные озерца с крохотными островками. Озерца затянуло тиной и они отсвечивали зелёным. На островках лохматились под ветерком березки невысокие, по берегам росли ракита и тальник. Между ними паслись коровы с выменем до самой травы, козы и почему-то только белые куры с алыми как кровь гребешками. В стороне от коров бегали добрые на вид маленькие и большие собаки, не помнящие своих пород, а по-над бережками, под тальником играли в карты мужички без маек, в закрученных до колен штанах и босые. Была среда. Рабочий крестьянский день. Перед окном мелькнула большая табличка на столбе: «Пос.Нижние Вязовые». Посёлок просматривался насквозь. Он был ниже железнодорожной насыпи. По пяти улицам ходили люди с ведрами, лопатами и топорами. Ездили тракторы «Беларусь» бесцельно и хаотично, что-то пылило за поселком. Наверное, там был ток зерновой. Или кирпичный заводик. Жизнь у реки уводила людей работать на реке. В поселке оставались те, кто Волге был не нужен. Промелькнула деревенька, пошли поля пустые, скошенные, холмы, овраги. Нормальный российский ландшафт. Я глядел на эту бегущую, но не меняющуюся картинку, и тосковал по нашей степи. С ковылём, разнотравьем,  шампиньонами вдоль проселочных дорог и куропатками, вылетающими низко над степью из гнезд, уводя опасность для малышей за собой.

      Пошел в купе. Муж и жена спали. Было чуть больше полудня. На столике лежала всякая дорожная еда и колода карт. Я аккуратно встал ногами на противоположные нижние полки, снял с ниши портфель. На вторую полку выложил из него всё и стал неторопливо жевать крошки от пряника. Жевал долго и задумчиво. В бутылке оставалось воды глотка на три.  Сделал глоток. Остальное приберег. Ехать было ещё долго. Сутки. Заглянула Наталья.

      –  Может, тебе газет разных принести? Почитаешь. По дороге больше ничего такого интересного до Урала не будет,  – она поправила постель на второй полке.  – Ложись сюда. Теперь до Кустаная никто ничего проверять не будет. Ложись. А я сбегаю за газетами в восьмой вагон к Рашиду. У него этих газет библиотека целая. Со всех вагонов после смены ему сносят. Любитель он почитать всякие советские сказки про светлое будущее. И уверен, что он его тоже строит на своём рабочем месте. Чудик, короче.

      Она ушла, оставив после себя лёгкий запах угля из бойлерной и терпкий аромат неизвестных мужчинам духов. Я взял подушку, бросил её к окну, растянулся на простыне, укрылся одеялом тонким и сразу провалился в  мертвый сон без сновидений и реакций на окружающую, несущуюся по рельсам в Казахстан, действительность.

      –  Эй, вставать пора!  – Наталья стояла прямо перед моим лицом и будила меня свежим ветерком, исходящим от пачки газет, которой она как веером махала у меня перед носом.  – Ты почти сутки спал. Мы с Урала свернули уже. Пять минут до границы с Казахстаном. А там первая большая станция – Тобол.

      –  Тобол…– Повторил я. Значит, проснулся.  – Уже Тобол? Как это? Так я же дома почти. Сто километров.

      Руки сами стали упаковывать валявшиеся на полке бумаги, вещи мелкие, камеру. Наплыло суетливое волнение. Руки почему-то мелко дрожали и портфель мой, набитый до упора, не защелкивался никак. Видно, я  неправильно всё туда затолкал. Открыл. Высыпал всё на простыню и снова стал укладывать всё, но уже не спеша и соображая, чем занимаюсь.

      –  Умылся бы,  – посоветовала Наташа и ушла.

      Я нашел в нише выпавшую из кармана пачку «примы», спички и пошел в тамбур. За двадцать минут выкурил четыре сигареты. До лёгкой тошноты. Пошел в туалет, умылся холодной, пахнущей смолой со шпал водой и не вытираясь, опять выскочил в тамбур, к окну. За ним лежала моя любимая степь. Она убежала до горизонта и лежала на земле мягко и ровно, как  пуховая мамина шаль, когда она её стирала, а потом аккуратно и бережно расстилала сушиться на скобленный дощатый пол. Я почти три года не видел степь. Поэтому вглядывался в неё, стараясь раскачиваться в резонанс с вагоном, чтобы разглядеть детали. Уже высох ковыль, пожухли мелкие фиолетовые и желтые цветки, островками растущие на более влажных местах. Бурой была трава, среди которой бугорками высовывались темно-зеленые тощие кустики арчи, степного можжевельника. Над степью высоко-высоко в сером небе не летели, а стояли в воздухе, опираясь крыльями на встречный ветер маленькие хищные кобчики. Мелкие соколы, у которых, правда, крылья в размахе были больше семидесяти сантиметров, как у настоящих соколов балобанов. Кобчики высматривали в траве мышей со стометровой высоты. Этих птиц нигде не видел я больше. Только в Казахстане. Ниже порхали ласточки и степные рыжие почти воробьи. А между ними нарезали круги до десятка диких голубей. Они летали просто для удовольствия. Корм их – любые семена любых трав лежай на земле в таких количествах, что спешить к еде у голубей просто не было повода. Я стоял у окна, которое вообще не открывалось, но, казалось, чувствовал все запахи этого серого, до одури любимого простора. В нем, просторе этом, была и воля, и свобода, и сила дерзкая, неподвластная никому и ничему. В этом просторе помещалось всё. И жизнь, и страсти все, и любовь к воле, покой, неспешность времени, сила земли и твоя собственная, древний дух всех времен, который остался тут из прошлых веков и тысячелетий, не изменяясь и не позволяя измениться самой степи.

      Заскрипели тормоза. Я перешел на другую сторону тамбура и встретился с родиной. От меня медленно убегали вышки  двух старых водонапорных башен, магазин у дороги, Белые глинобитные дома, которые уже топились. Здесь уже холодно в сентябре. Проскочили автозаправка и шлагбаум на переезде, огороды, обнесенные вкопанным в землю высоким штакетником, проплыли мимо уже почти голые низкие желтые акации и разлапистые северные тополя. А потом, как в замедленной съемке, появилось и поползло в сторону здание вокзала станции, вычурное, с вензелями из лепнины, с башенкой несуразной, на которой вылеплен был круг, а в нём пухлые закругленные цифры – «1961». Вокзал построили в хрущевские времена. Как и многие серьёзные здания вроде поселкового совета, центрального магазина и школы.

        Поезд остановился. Наталья открыла ключом дверь и сказала, что я могу погулять по перрону целых полчаса. Спрыгнул я на асфальт, прошелся метров сто вправо, потом вернулся и ещё столько же прошел в другую сторону. Ни о чем не думая. Ничего не видя. Я просто дышал воздухом.

      Тем самым, который впитал в себя с первым вздохом. Когда родился.

      И стало мне легко и спокойно, будто моя земля только что призналась мне в любви, а я ответил ей взаимностью. Наконец-то мы снова вместе.

      Полчаса ползли слишком медленно. Как зимой от тяжести медленно и плавно сползает с крыш наш большой снег. Но и они всё же прошли. Закончились. Мы ехали прямиком в Кустанай. Я сидел на корточках в тамбуре, курил сигареты одну за одной и думал только о том, какого черта я вообще уезжал в Москву? Развестись можно было и не удаляясь от местного ЗАГСа.

      Нет, в принципе, конечно жизнь в Москве и в ватаге на Оке помогла мне понять иначе и людей, и скорость жизни. И то, что существуют ещё простые правила, по которым люди живут, соблюдая и верно понимая веками неизменные и неписанные законы чести, совести, долга, правды и лжи, добра и зла. Но меня не покидало ощущение, что получив полезную долю житейского опыта, я потерял такую же долю бесценного времени, которое могло уйти на нужный мне и читателям газеты тяжелый труд простого разъездного корреспондента.

      Долго я думал обо всем, чего и не перескажешь. Потом поднялся и затаил дыхание. Пошли за окном знакомые дома, дороги, аэропорт  с «кукурузниками» и  большими ЛИ-2, переделанными  «дугласами». И наконец выплыл наш вокзал. Бежевого цвета здание, только покрупнее тобольского. Но тоже с башенкой и лепниной, слабостью архитекторов хрущевских времен. На башенке был лепной круг, в круге этом звездочка пятиконечная, а в ней рельефные цифры «1960» И по центру здания огромные синие буквы, написанные по трафарету и красиво покрашенные.

      Буквы составляли родное слово «КУСТАНАЙ»

      Мы остановились. Наталья дернула на себя дверь и железной «фомкой» сбросила на подвеске две нижних ступеньки. Я сбегал в купе, взял портфель и подошел десятым по очереди к выходу.

      –  Вот телефон мой в Алма-Ате,  – Наташа подошла ко мне вплотную и затолкала свёрнутую бумажку в карман моих когда-то белых штанов. -Приедешь?

      –  Конечно,  – я улыбнулся весело.  – Вот начну тренироваться снова. Может, через год и приеду. А так, без соревнований, вряд ли я к вам скоро попаду. Работы здесь сейчас будет без продыха. Но тренироваться я обязательно начну. Значит приеду.

        Говорил я уверенно и  она тоже улыбнулась. Потом обняла меня по-дружески и чмокнула в щечку.

      –  Ну, иди.

      Я медленно сошел со ступенек, оглянулся, помахал ей тяжелым портфелем, а она своим желтым флажком.

      И после этого я не выдержал и побежал. Я нёсся как на соревнованиях. Как будто бежал первым и вот-вот должен был порвать финишную ленточку.

      Обогнул здание, сократил путь. И выскочил на привокзальную площадь. Выскочил и застыл как памятник. Отдышался. Осмотрелся. Всё было то же и так же. Справа от меня так же рос старый сквер. Перед сквером несколько клумб в два ряда. А на клумбах – одни только бархатцы. Кустанайские фирменные цветы. Цветы моего детства. Они были у нас самыми главными всегда. А у меня самыми любимыми.

      Я подошел к клумбе. Присел на корточки. Сорвал не сам цветок, а листочек резной от стебля. Растер его пальцами и поднес к лицу. Не помню, чего мне больше захотелось в этот момент – заплакать или засмеяться от счастья.

      Я поднялся, не убирая стебелек от лица, выдохнул и сказал и себе, и бархатцам, и городу.

      –  Всё. Дома!